ОСИП
ЧЕРНЫЙ

МУСОРГСКИЙ

ПОВЕСТЬ

ДЕТГИЗ
1961

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В повести «Мусоргский» О. Е. Черного раскрывается жизненный путь великого русского музыканта. Пребывание в офицерской школе, служба в полку, знакомство и дружба с композитором Даргомыжским, вхождение в балакиревский кружок, объединение молодых русских музыкантов в «могучую кучку», создание Бесплатной музыкальной школы и дальнейшие этапы жизни М. П. Мусоргского, вплоть до его трагической смерти, проходят перед читателем. Автор рассказывает о том, как создавался «Борис Годунов», какие мытарства пришлось пережить композитору, прежде чем его опера проникла на сцену, как были написаны «Хованщина», «Сорочинская ярмарка» и другие его произведения.

Мусоргский предстает в окружении своих друзей – Балакирева, Римского-Корсакова, Стасова, Бородина, Кюи. Кроме фигур кучкистов, автор создал также портреты Антона Рубинштейна, дирижера Направника, певцов Петрова, Леоновой.

Внутренний мир композитора, история его роста, художественные и общественные его идеалы раскрываются по мере того, как мужает талант великого музыканта.

Повесть представляет собой цельное построение, со своим сюжетом и единой драматической линией.

- Осип Черный
  - Часть первая
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
    - XIII
    - XIV
    - XV
    - XVI
    - XVII

- XVIII
- XIX

- Часть вторая
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
- Часть третья
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
- Часть четвертая
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII

- IX
- X
- XI
- XII
- XIII
- XIV
- XV
- XVI
- XVII

- notes
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Осип Черный
Мусоргский

Часть первая

I

В петербургском театре-цирке шло четвертое представление «Русалки». И публики было достаточно, и оркестр играл, в общем, слаженно, и певцы пели исправно, а внимания настоящего в зале не было: переглядывались, шепталась, кашляли – словом, вели себя так, как ведут, когда действие не увлекает. Правда, в первом акте знаменитый певец Петров в роли Мельника заставил всех слушать себя, но, когда акт кончился и началась сцена свадьбы князя, дурные стороны постановки проявились с особенной силой: декорации были затасканны, костюмы бедны и безвкусны, освещение убогое – всего две пары канделябров освещали пиршественный стол. И как ни старался дирижер Константин Лядов поднять интерес к спектаклю, увлечь публику не удавалось.

Особенно были недовольны вылощенные военные, которых в партере сидело много; привыкшие к блестящим руладам итальянцев, до тонкости знавшие все приемы певцов труппы, игравшей рядом, в Большом театре, они небрежно смотрели на сцену, где шла русская опера: блеска нет, все бедно, ничто не трогает сердце. То ли дело «Марта» Флотова или вердиевский «Трубадур»!

Безусые офицеры-преображенцы, занимавшие седьмую ложу справа, испытывали подобные же чувства. Они с трудом снисходили, казалось, до слушания и эту свою снисходительность по-мальчишески старались выставить напоказ: поглядывали больше по сторонам, упорно лорнировали ложу напротив, рассматривая сидевших там барышень, охраняемых двумя пожилыми дамами.

Впрочем, двое из них не вполне разделяли мнение товарищей, но вступать в спор не решались. О чем спорить? О достоинствах русской оперы? Но обладает ли она ими? Можно ли защищать то, что так неуверенно заявляет пока о себе?

– Нет, все же скучно, – заключил офицер, ближе других сидевший к барьеру, – и с итальянцами я не сравню: там изящество, мелодичность, огонь, а тут…

– Мелодичность, положим, есть.

– Какая же, друг, помилуй!

– И Мельника Осип Петров играет отменно.

– Да петь там чего? Нечего же: сплошная простонародность.

В антракте офицеры из ложи не вышли. Усевшись удобнее, друг против друга, они угощались апельсинами, шоколадом, шутливо спорили насчет того, улыбнулась ли барышня в ложе

напротив и кому именно. Один, желая щегольнуть своими знаниями, заявил:

– Известно ли вам, что мы смотрим сегодня не самостоятельное сочинение, а всего только переделку? – Видя, что товарищи ждут пояснений, он продолжал: – Была прежде опера «Леста, или Русалка днепровская». Сочинил ее немец Кауэр, шла когда-то на сцене. Вот с нее-то свою «Русалку» Даргомыжский и списал.

Тут спор чуть было не разгорелся:

– Нет, это сочинение оригинальное!

– Вот и ошибаешься.

– А я говорю, да!

– Не возражай, Ванлярский, не стоит: ну оригинальное, а толку что?

– Автор сам сказывал: он сочинял по Пушкину.

– Ну и что же? Все равно плохо.

Когда действие возобновилось, офицеры с той же небрежностью стали слушать. Только появление Мельника заставило их, как и в первом акте, отнестись к сцене внимательнее.

Осип Петров играл старика, рассудок которого помутился от горя, искренне, просто, без театральных преувеличений; глубина человеческого страдания ощущалась в каждом жесте, в каждой фразе.

Юные офицеры затихли и призадумались. Иной раз, правда, то один, то другой пожимал плечами, словно не понимая, по какому праву горе маленького человека занимает внимание зала. Что сидящей тут публике до страданий какого-то мельника? Ответить на это не сумел бы никто, и только Осип Петров своей благородной игрой как бы отвечал всем, кто испытывал недоумение. Но в ответе его было нечто оскорблявшее достоинство императорской сцены, и это вызывало даже беспокойство.

– Странно, странно, – заметил прапорщик Оболенский.

– А как поет, игра какая! – опять возразил Ванлярский.

– Мукомол в роли героя, подумать только! Разве ж это оперный персонаж? Помилуй!

Последний акт, и особенно картина подводного царства, дал повод хулителям посмеяться в полное удовольствие: вместо русалок появились какие-то чучела со странными лицами, с хвостами и туловищами окуней. Один из спорщиков стал уверять, что русалке наклеили бакенбарды:

– Всмотритесь-ка, господа: форменная карикатура! Ведь это шарж на Гедеонова из театральной дирекции. Уверяю вас: он,

истинно он! Ха-ха-ха, как забавно!

Сосед Ванлярского, самый юный, худощавый, затянутый в мундир офицер с задумчивым взглядом, молчавший все время, на этот раз сказал:

– В музыке шаржа, однако, нет. Она мелодична и трогает.

– Вот и слушай. Это, Мусоргский, по твоей части, а нам больше невмоготу.

Мусоргский не отозвался. В душе его что-то восставало против суждений товарищей: музыка оперы по временам заставляла настораживаться, волноваться, следить с сочувствием. Определить свое впечатление было, вследствие неопытности, нелегко, но оно, во всяком случае, не совпадало с впечатлением товарищей.

После того как спектакль окончился, с верхних ярусов стали требовать исполнителей. Особенно часто называли имя Петрова. Когда певец появился и, посмотрев наверх, на друзей, давно полюбивших его, прижав руку к сердцу, с достоинством поклонился, аплодисменты усилились. Они перешли в бурю восторга, когда Петров появился во второй, в третий раз. Аплодировали и с галереи и с других ярусов. Казалось, русская опера тоже имеет своих горячих сторонников и вовсе не все являются тут приверженцами изысканных, сладких итальянских рулад.

Не дожидаясь, пока опустят занавес, преображенцы вышли из зала.

– Нет, совсем не то, что в Большом, – упрямо повторил Оболенский. – Бедно и скучно.

– Да ведь денег на русскую труппу мало дают, – возразил снова Ванлярский. – Откуда тут быть богатству?

– Этакую оперу да еще пышно ставить – сам посуди, стоит ли! Я понимаю, беллиниевских «Пуритан», флотовскую «Марту», а тут история обманутой мельниковой дочки!

У вешалки толпилось много народа; капельдинер, завидев преображенцев, вынес им шинели, и они, одевшись, вышли.

На площади было сыро. Огни масляных фонарей слегка колебались, огражденные стеклянными колпаками от ветра. Перед зданием театра стояли рядами кареты и экипажи, а дальше большая часть площади тонула в темноте.

Заметив группу остановившихся офицеров, подъехали два извозчика.

– Куда прикажете, ваша милость? В ресторан?

Оболенский, обернувшись к товарищам, предложил:

– В самом деле, к Доминику, что ли? Там поужинаем.

Мусоргский, проявив неожиданное упорство, отказался, и

Ванлярский присоединился к нему.

– Что же это вы компанию ломаете? Нехорошо.

– Пожалуйте, – повторил извозчик, картинно натягивая вожжи и удерживая рысака.

– Я домой отправлюсь: устал, – повторил Мусоргский.

– Как хочешь, но это не по-офицерски.

– Пусть их, оставь: и без них проведем время недурно. Давай! – крикнули извозчикам.

Толпа, выходившая из театра, быстро редела. Экипажи, оставшиеся после разъезда, перебирались поближе к Большому театру в надежде на публику, которая должна была появиться оттуда. Перед главным подъездом прогуливались полицейские. Будочник стоял возле полосатой будки; рядом с ним сидела собака.

Город строго и холодно принимал толпу, шедшую из театра, и вскоре она вся растаяла на его темных, плохо освещенных улицах.

– Так ты Даргомыжского знаешь? – спросил, оживляясь, Мусоргский. – Каков он, интересно? Я ведь композиторов никогда не видал.

Ванлярский отозвался:

– Как тебе его описать?… Самолюбив, даже бывает язвителен. Когда «Русалку» весной поставили, такая же неудача была, как сегодня. Естественно, он раздражен: ждал лучшего – думал, прием будет хороший.

– Ты как же с ним познакомился?

– В одном доме встретились. Я стал про романсы его толковать, он и позвал к себе. Народ у него бывает занятный: собираются, музицируют.

– А из себя он каков? – с тем же интересом продолжал Мусоргский.

Ванлярский рассмеялся:

– Про него, если не знать, никак не скажешь, что он композитор. Ростом мал, голос высоконький, а усы зато важные, как у казака. Однако держится хорошо, даже светскость в нем есть, хотя сам из чиновников… Да я сведу тебя как-нибудь, вот и увидишь… Ну, прощай, Модест, мне сюда.

Он пожал руку товарищу и, свернув в переулок, через минуту исчез, скрывшись в нем, как в высоком, узком ущелье.

II

День стоял пасмурный. Часам к десяти заладил мелкий дождь, и стало еще темнее. Пришлось зажечь лампы.

Новых больных было нынче немного. Обойдя палаты, попробовав на кухне готовящуюся еду, ординатор заглянул от нечего делать в дежурную комнату. За столом, возле лампы, сидел молоденький, изящный, худой офицер и что-то записывал. Ординатору показалось, что тот пишет на нотных линейках, и это его удивило.

Присланный в госпиталь из полка на дежурство, Мусоргский в самом деле пытался сочинять. Прежде он если что и придумывал, так за роялем, а тут, благо свободного времени оказалось достаточно, решил испробовать свои силы, не прибегая к помощи инструмента. Дело ладилось поначалу, мелодия, звучавшая в сознании, была слышна во всей своей гармонической полноте. Мысль, что он работает, как истый композитор, придала ему бодрости: день уже не казался таким однообразным, и пустынная пасмурность помещения перестала угнетать.

Ординатор заглянул сюда и исчез. Через некоторое время он появился снова. Это был статный человек, с правильными, немного восточного типа чертами лица, с румянцем во всю щеку и красивыми большими глазами. Увидав его, Мусоргский оставил работу.

Тот подошел ближе.

– Это вы записываете свое? – со скрытым интересом спросил ординатор.

Мусоргский смущенно отодвинул листок с нотными строчками.

– В прошлый раз, когда пришлось тут дежурить, я весь день проскучал. Вот и пробую. Хотя бы развлечься, и то стоит.

– Развлечение соблазнительное, ничего не скажешь. – Ординатор с любопытством бросил взгляд на нотные знаки. – Если бы наш доктор Попов узнал, он бы вас так легко не выпустил. Он охотник до музыки, и дома у него собираются… Вы и на рояле, наверно, играете?

– В этом я, пожалуй, посильнее, – улыбнулся офицер.

– Так вы прямо клад для Попова, сегодня непременно вас позовет.

Ординатор сел и отодвинул в сторону лампу, чтоб не мешала ему видеть собеседника.

Изящество и тонкость черт произвели на него благоприятное впечатление; с другой же стороны, отпечаток ненужного

щегольства, лежавший на внешности юноши, настораживал: слишком он затянут, слишком все у него с иголочки. А в глазах – задумчивость и отражение другой, более глубокой жизни. Словом, офицер его заинтересовал.

– Так вы, выходит, с музыкой в дружбе? – продолжал ординатор и тут же сознался: – Меня самого к ней тянет, иной раз о своем прямом деле забываю. И что за странное увлечение, понять не могу!.. Да, раз уж так, познакомимся… – И, привстав, назвался: – Бородин.

Фамилии, произнесенные обоими, ничего им друг о друге не сказали. Новые знакомые стали толковать о Доницетти, Беллини, Верди, о концертах и опере. Оказалось, что оба плохо знакомы с русской музыкой и даже глинкинских сочинений почти не слышали. При всем том семнадцатилетний Мусоргский, хотя и был лет на шесть моложе своего собеседника, знал больше его – многое переиграл и многое помнил.

– Иной раз так увлечешься игрой, что хочется целиком себя ей посвятить, – доверчиво сообщил Бородин. – Да профессор мой строг: требует, чтоб я все силы отдавал науке. Он ревнив и двум богам служить запрещает. Приходится богу искусства служить тайком и урывками.

Выяснилось, что шеф Бородина, химик Зинин, старается загрузить его так, чтобы времени ни на что больше не оставалось.

– И правда: не будь его, я стал бы разбрасываться. В музыке тоже, пока занимался, хотелось всем овладеть: и на рояле играл, и на виолончели, и даже на флейте. – Вспомнив о флейте, он рассмеялся.

Так же пасмурно было в дежурке, так же лил дождь за окном и пахло карболкой в коридоре. Новые знакомые увлеклись разговором и ничего больше не замечали.

– Смешной случай мне вспомнился, – продолжал Бородин. – Как-то мы с приятелем возвращались домой после того, как помузицировали в одном доме. Время позднее, фонари редки, горят тускло, впереди мало что видно. Шли по Петербургской стороне. Я ступил на мост и не заметил, что перил с моей стороны нет. Шагнул слишком решительно и, оступившись, полетел вниз. А внизу грязь, овражек. Слышу, товарищ зовет, а откликнуться не могу. Перепачканный и ушибленный, я вдруг вспомнил: «Батюшки, а флейта моя где же? Неужто пропала?!» Стал искать и в конце концов нашел в грязи: футляр – в одном месте, флейта – отдельно. Вытер ее рукавом, продул и, хотя ушибся при падении сильно, думал я лишь о том, цел ли мой инструмент. Чтобы проверить, стал в темноте под мостом пассажи разные выдувать. Товарищу даже жутко стало, когда до

него сквозь ветер из темноты донеслись непонятные звуки. Мы с ним долго потом смеялись, когда он мне в этом признался… Вот какова моя привязанность к флейте, – шутливо закончил он. – А вы? Какие жертвы приносите богу музыки?

Единственно, что товарищи по полку заставляют, когда ни соберемся, играть. Я и тапер, и импровизатор, и аккомпаниатор. Так привык, что даже не спорю, когда попросят. Только скучновато и надоедает.

Бородин согласился:

– Пожалуй, такая игра чересчур легковесна. У меня к легкой музыке неприязнь – больше интересует серьезная.

Вскоре его позвали в палату.

– Вечером еще встретимся у Попова, – сказал он уходя. – Так приятно со сведущим человеком потолковать о музыке! Это редко когда случается.

Мусоргский попробовал было заняться вновь сочинением, но сосредоточиться ему не удалось: мысли возвращались к недавнему разговору. В полку товарищи тоже иной раз говорили о музыке, но было что-то неприятное в их разговорах – налет поверхностности и пшютовства. А тут впервые встретился человек, для которого она составляла, видимо, важную часть его жизни.

В этих мыслях провел Мусоргский остаток дня. Дежурство его кончалось. Он выходил в коридор и возвращался, глядел в окно, как однообразно хлещет дождь, вспоминал, что записано на линованых строчках, думал невесть о чем.

Вечером явился вестовой от доктора Попова с приглашением пожаловать на чай.

– Я уходить уже собирался, милейший. Мне время.

– Не извольте отказываться, ваше благородие, у нас так заведено. Прошлым разом, когда ушли, господин начальник даже расстроились. Тем более, разговор такой, что вы самолично играете. У нас дочка-с, они тоже музыку уважают.

Доктор Попов жил на госпитальном дворе; к нему вела отдельная лестница, широкая, но крутая. Под сводчатым потолком висел фонарь, тускло освещавший тяжелую дверь.

Когда из полутемноты прихожей Мусоргский попал в ярко освещенную столовую и увидел большое общество, он после госпитального полумрака даже зажмурился. Бородина, кажется, не было; во всяком случае, Мусоргский его не заметил.

Хозяин приветливо приподнялся:

– Милости прошу! Я в тот раз сожалел, что мы вас лишились. Сами посудите: заполучить музыканта на вечер к себе – случай не частый. У нас общество скромное, но музыку любят все, а вы, мне

в полку говорили, в этом деле горазды. Не взыщите, ежели попросим потешить нас волшебными звуками, – и от своего лица и от лица присутствующих дам адресуюсь. – Он обвел рукой общество, как бы представляя его вошедшему, а затем представил и гостя:

– Лейб-гвардии Преображенского полка прапорщик, господин Мусоргский.

Мусоргский неожиданно оказался в центре внимания, его обступили дамы. Против воли, сам того не желая, он стал жеманничать и капризничать: заявил, что после дежурства не чувствует себя в силах играть, потом, уступив настояниям, согласился, но за рояль сел не сразу. Его уговаривали, а он повторял, улыбаясь:

– Благодарю вас, благодарю… Позже, если позволите…

Но вряд ли сумею оправдать ваше доверие…

Бородин стоял у окна, за занавеской. Ему казалось странным это кокетство. Перед ним был не скромный, с задумчивым взглядом юноша, любящий искусство. Этот светский молодой человек с напомаженными волосами, избалованный, видно, успехом у дам, был совсем не в его вкусе.

Но, когда Мусоргский сел за рояль, впечатление резко переменилось. Пусть он слишком высоко подымал руки и картинно откидывался назад, – звук у него оказался большой, сочный, певучий, а свобода в игре – необыкновенная. Заурядный человек так играть не сумел бы. Пусть он манерничал, – в игре его было нечто такое, что вело слушателя за собой и подчиняло себе. Бородин слушал со все большим увлечением. И вещи, казалось бы, хорошо знакомые: отрывки из «Трубадура», фантазия на темы Беллини, но исполнял их Мусоргский не только с блеском, но и со зрелостью, точно давно понял, что в них самое главное и что надо в первую очередь подчеркнуть.

Он вошел во вкус и, польщенный шумными похвалами, играл и играл. Хозяин, полный мужчина в очках и в мундире, вставал, потирал руки и, наклоняясь к гостям, шептал: – Ну, что скажете? А? Вот пианист-то!

Гости в ответ кивали.

Наконец, в последний раз вскинув руки, пианист объявил:

Больше, господа, не могу: устал выше всякой меры. – И как его ни просили, был на этот раз тверд.

Видя, что он больше играть не будет, Бородин подошел к нему.

– Я и не знал, что вы здесь, – сказал, смутившись, пианист. – Мне показалось, что вас нет.

При мысли, что тот был свидетелем его жеманства,

Мусоргский почувствовал неловкость; он постарался вновь стать простым и скромным.

Отведя его в сторону, подальше от гостей, Бородин заговорил о своих впечатлениях:

– У вас техника настоящего концертанта. Откуда такая свобода, такой блеск и легкость? Вы меня просто поразили.

Правда, откуда?

Мусоргский смущенно развел руками:

– Может, еще с детства, не знаю. Когда мы переехали в Петербург, мне было лет десять. Отдали меня к Герке, но я играл уже: мать подготовила. Герке был доволен моими успехами и в тринадцать лет выпустил меня в публичном концерте.

Бородин расспрашивал, и Мусоргский с охотой рассказывал о себе: о детстве в поместье Карево, о первых занятиях музыкой, о знаменитом Антоне Герке. Ему было приятно, что собеседник слушает с таким интересом.

Долго побыть вдвоем им, впрочем, не удалось. Подошел доктор Попов и позвал их к столу:

– Не одному вам владеть им сегодня, Александр Порфирьевич. Все жаждут общества Модеста Петровича.

Мусоргский виновато взглянул на Бородина, точно пытаясь объяснить, что он тут ни при чем. Хозяин усадил его за стол рядом с дочкой, опять послышались отовсюду комплименты, и Мусоргский вновь преобразился. Бородин, наблюдавший за ним, заметил, что от похвал тот легко приходит в возбуждение.

«Неужто так ему и назначено остаться паркетным молодым человеком, приятно разговаривающим с дамами?» – подумал он.

При мысли об этом Бородину стало грустно, словно все хорошее, что он уловил в облике юноши, уже растворилось в пустой светскости, не оставив после себя следа.

Он ушел рано, сославшись на недосуг: с утра начинались занятия в лаборатории. О проведенном у Попова вечере Бородин старался не думать, но то блестящий пассаж какой-нибудь припоминался, то яркая музыкальная фраза, и образ самого исполнителя, противоречивый и вместе с тем привлекательный, вставал перед глазами. Что ждет этого музыканта: только ли успехи в салонах или нечто большее?

Ответить на это было трудно. Да и сам Мусоргский вряд ли сумел бы ответить.

Со смешанным чувством симпатии и недоверия Бородин думал о нем, возвращаясь домой.

III

Еще в школе гвардейских подпрапорщиков игра Модеста снискала ему любовь воспитанников и начальства. Генерал Суттгоф, начальник школы, питал склонность к искусствам, музыка в его доме была в чести, и юный воспитанник, так свободно владевший инструментом, явился до некоторой степени находкой.

У Суттгофа нередко устраивались вечера, и Мусоргский был их непременным участником. Когда к дочерям генерала приходил заниматься Антон Герке, юного музыканта вызывали из дортуара, чтобы он своим примером подбодрил не очень усердных девочек.

Роялем ему разрешено было пользоваться в свободные от занятий часы. Рояль стоял в большом темном, с колоннами, зале. Из окон видна была рощица, посаженная во дворе. С другой стороны был манежный двор с конюшнями и обширным плацем.

Застыв у окна, Мусоргский иногда наблюдал за тем, как маршируют старшие воспитанники. Упражнения, перемена шага, повороты, ружейные приемы – все вызывало в нем странную оцепенелость.

Потом он подходил к инструменту. В зале было сумрачно и пустынно. Иногда служитель, услышав звуки рояля, входил и зажигал две лампы, висевшие по бокам инструмента.

Выйти из оцепенелого состояния бывало нелегко. Мусоргский просиживал долго в задумчивости над открытой клавиатурой; казалось невозможным нарушить царившую кругом тишину. Потом он осторожно брал первый аккорд, прислушивался, извлекал следующий.

Только много позже в нем пробуждалась способность к движению. Тогда, забыв о тишине и о том, что его занимало, он начинал играть бравурно и сильно, извлекая полный звук и чувствуя себя так, точно перед ним чутко слушающий зал.

В остальное время он бывал задумчив и тих. Учился Мусоргский хорошо, с товарищами жил дружно. Для того чтобы не выделяться среди них, приходилось изо дня в день, незаметно, совершать над собой насилие; муштра, шагистика, внешний лоск и пустые, грубоватые шутки – ко всему он привыкал. Чтение в школе не поощрялось, мечтательность была не в чести, зато поощрялись склонность к широкой жизни, размах, умение сорить деньгами и кутить.

Мусоргский делал вид, будто все это по нем. К тому, что почиталось добродетелью будущего офицера, он приспосабливался мало-помалу, не сознавая, какой ценой

добывается это согласие со школьной средой. Он был мягок, уступчив: приспосабливаться было легче, чем вступать в спор. Но уступчивость его не вполне удовлетворяла начальство.

Генерал Суттгоф, увольняя воспитанников в город, требовал, чтобы они вели себя там как истые представители гвардии:

– Там, господа, та же школа. Будучи украшением армии, юнкер обязан в городе проверить свою смелость, доблесть и твердость характера. Не вполне удовлетворительную отметку я мог бы простить, к тому, что юнкер вернется не вполне трезвый, я отнесусь снисходительно – молодость есть молодость. Но, если он вернется из города в школу тихоней, это хуже всего. Это значит, что он не почувствовал себя офицером. Это непростительно, нет!

Как раз Мусоргский первое время возвращался тихоней, и Суттгоф, встречая его, качал укоризненно головой:

– Опять задумчивый) Опять физиономия рассеянная? Нехорошо, нехорошо! Офицерские навыки закладываются в отроческом возрасте, надо помнить об этом. Одно дело рояль, музыка – это офицеру нужно, это украшает. Но надо быть, кроме того, отважным, решительным, пускай даже гулякой, зато героем. А ты невесел! Крупный проигрыш я прощу, а этого – нет. Я к тебе питаю расположение, помни. Но тем более прошу в следующий раз доказать, что ты достоин нашей лейб-гвардии.

Мусоргский доказывал, с трудом превозмогая себя. Он отправлялся в компании товарищей и старался ни в чем не отстать от них. При его самолюбии насмешки сверстников, а особенно старших по курсу заставляли тянуться за остальными, вести себя с надлежащей бойкостью и свободой.

После воскресных отлучек он возвращался с затуманенной головой и, не помня себя, валился на кровать. А на следующее утро опять начиналась размеренная армейская жизнь: уроки в классах, занятия на плацу. Юнкера припоминали вчерашние приключения, и Мусоргский поневоле делал вид, будто это его забавляет.

Постепенно он втягивался в такую жизнь и привыкал к ее законам.

Занятия с пианистом Герке, начавшиеся еще до того, как он сюда поступил, продолжались, с разрешения Суттгофа, и тут. Правда, они были не столь частыми, как прежде, но Мусоргский делал успехи очень большие.

Однажды Герке, изменив своей сдержанности, заявил: _. Я горжусь, что такой пианист есть отчасти мое создание. Но больше, чем от меня, у вас от бога, от природы. Вы есть почти виртуоз. Будь вы человек бедный, я сказал бы спокойно, что ваш путь – музыка. Но что можно сказать вам, богатому дворянину? –

И он печально вздохнул.

Тем не менее Мусоргский не бросал занятий. Даже товарищи, с которыми он вместе учился, спал, маршировал и кутил, не подтрунивали над его увлечением. Музыка Модеста вошла в их быт: его можно было увести в зал, он усаживался и играл по заказу танцы, импровизировал так, что легко было вообразить наводнение, услышать завывание ветра, представить просторный зимний пейзаж. Игра его стала неотъемлемой частью всех вечеринок и увеселений. По доброте своей Мусоргский не умел отказывать. Было приятно, что товарищи относятся к нему с любовью, и он старался им угодить.

В своем увлечении светскостью, составлявшей, по мнению наставников, главную добродетель будущего офицера, Мусоргский научился грассировать, стал перемешивать русские фразы с французскими, немного манерничал. Однако он сохранил врожденную отзывчивость и деликатность. Под маской светского угодника и гуляки скрывался юноша с мечтательной, чуткой, художественно одаренной душой. За годы учения маска успела стать прочной, и ее трудно было снимать с себя.

Припомаженным, затянутым в узкий мундир, умеющим вежливо кланяться и вежливо, но рассеянно улыбаться, беспечным и добрым семнадцатилетним юношей Мусоргский вступил в лейб-гвардию. Где бы он ни появлялся, он был желанным гостем: снова, как в школе гвардейских подпрапорщиков, его усаживали за инструмент и заставляли игрой своей забавлять всех. И Мусоргский забавлял: играл разные танцы, импровизации, переложения из популярных итальянских опер, бравурные попурри.[i] Это всем нравилось и приводило всех в восхищение.

О том, что музыка может служить целям более высоким, он пока не догадывался, хотя в душе его жили неразбуженные силы. Нужны были встречи с людьми крупными, яркими, которые сумели бы раскрыть перед ним иные пути.

И встречи эти были не за горами.

IV

В году тысяча восемьсот пятьдесят пятом, примерно за год до того, как поставлена была «Русалка», утренний поезд среди других пассажиров доставил в Петербург юношу в потертом сером пальто и грубых штиблетах, со старым, потрепанным чемоданом в руке. В толпе осанистых и упитанных пассажиров, среди носильщиков, несших на ремне через плечо чемоданы, среди людей поскромнее, без чужой помощи тащивших свои узлы, юноша затерялся бы, если бы не особая, лучистая энергия взгляда, не эти смелые, открыто глядевшие на всех глаза да еще, быть может, решительная походка. Когда он зашагал по перрону, один пассажир, бежавший ему навстречу, на мгновение задержался, другой посторонился, пропуская его, третий, шагавший рядом, искоса посмотрел на него. Молодой человек, бедно одетый, шел по перрону так, точно знал, что ждет его в столице.

Петербург выглядел в это утро как обычно. На вокзальной площади было людно и шумно. Торговцы с корзинами, ящиками и круглыми кадками, ловко державшимися на голове, сновали между приезжими, предлагая разную снедь. Извозчики теснились ближе к подъездам, выбирая людей побогаче. Агенты предлагали приезжим номера в меблированных комнатах. Кучера линеек, или так называемых «гитар», зазывали пассажиров победнее и рассаживали их вдоль линейки спиной друг к другу.

Привлеченный этой шумной разноголосицей, юноша остановился. Он рассматривал незнакомый город. Слева был перекинутый через Лиговку мостик, за ним начинался Невский. Знаменитый проспект, описанный Гоголем, выглядел, по первому впечатлению, скромнее, чем приезжий представлял себе: дома не очень высокие и не слишком красивые; вон в том, угловом слева, кажется, Белинский провел последние годы жизни. Возле будки будочника пожилая полная женщина развешивала белье. Под дробь барабана промаршировала, стуча по мостовой, рота солдат: шаг четкий, ноги у всех негнущиеся, с одинаковым вымахом. Шаг этот как бы напоминал всем, что Россия, такая же негнущаяся и прямая, выдерживает в Крыму, в Севастополе, натиск иноземных войск.

Агент, подбежавший к приезжему юноше, начал привычной скороговоркой:

– Могу предложить, сударь, недорогой номерок. Самовар два раза в день, чай парами в любое время; штиблеты чистит прислуга, платье также. – Проницательный, твердый до резкости

взгляд приезжего смутил вдруг его, и он закончил не так уверенно: – Так поехали, сударь? Прикажете звать извозчика?

Когда тот справился о цене, агент, вновь оживившись, принялся уверять:

– Да вы не беспокойтесь, найдем подоступней! Пожалуйте чемодан.

Извозчик, из тех, что берут подешевле, подъехал, заметив знаки агента, и через минуту Милий Балакирев занял место рядом с услужливым человеком, обещавшим ему все удобства жизни в столице.

Со Знаменской площади, переехав мостик, подстегивая лошадку, извозчик въехал на Невский. Лиговка оказалась мутной, узкой речонкой. Балакирев еще раз, удаляясь, взглянул на деревянный домик на углу Лиговской и Невского, где жил Белинский. Дальше шли дома покрупнее, движение было на проспекте большое. Не слушая, что говорит агент, Балакирев рассматривал незнакомый город, пораженный его величественной и холодной стройностью.

В кармане у него были рекомендательные письма к музыкантам, данные ему нижегородским меценатом Улыбышевым. Богач-музыкант Улыбышев, в доме которого Балакирев провел свои юные годы, обещал, когда сам приедет в Петербург, представить его Михаилу Ивановичу Глинке. Об этом Балакирев помнил, разглядывая по пути афиши на тумбах и читая, как равный о равных, имена гастролеров, приехавших на концерт в столицу.

Несмотря на свои восемнадцать лет, он успел узнать в жизни и горечь зависимого существования и радости творчества; он блестяще владел роялем и уверенно держал в руках дирижерскую палочку; память его хранила великое множество сочинений, и любое из них он мог бы сыграть наизусть. Балакирев приехал завоевывать Петербург и бесстрашно смотрел на этот обширный, стройный, холодный город.

Свернув с Невского, извозчик поехал по Загородному. Вскоре, опять куда-то свернув, он остановился у подъезда меблированных комнат.

Номер оказался в самом деле недорогой, но темный. Окно его смотрело на глубокий и мрачный двор. Во дворе работал жестяник и на круглой болванке обколачивал остов ведра. Гулкие удары заполняли весь двор. Пахло в номере дурно. Самовар, который подали Балакиреву, почти остыл.

Он закусывал тем, что привез с собой, прислушиваясь к шумной и беспокойной речи, доносившейся из коридора: какой-то постоялец зычно требовал, чтобы уняли бушевавшего ночью

соседа, а коридорный терпеливо и вежливо повторял:

– Никак не возможно, поймите-с: за две недели вперед оплачено, нет расчета их выселять. И опять же таких правил нет.

Оставаться тут не было смысла, да и дорого стало бы, а денег у Балакирева было с собой немного – всего выручка с концерта, данного им в Казани и принесшего чистого сбора сущие пустяки.

Напившись холодного чая и почистив платье, Балакирев пустился на поиски комнаты. Он бродил по городу, читал наклейки на окнах, заходил то в одну квартиру, то в другую и уходил ни с чем: необходим был рояль, да чтоб комната недорого стоила, да чтоб шума в квартире не было.

Наконец, по шестой наклейке, он набрел на то, что оказалось, в общем, приемлемым: и рояль в комнате стоял, и плату хозяйка назначила сходную, да и сама произвела впечатление спокойного человека.

Хозяйка остановилась на пороге. Пока посетитель рассматривал довольно бедную меблировку, она присматривалась к нему, желая составить о нем представление.

– Чем же вы, молодой человек, занимаетесь? – полюбопытствовала она. – Из чиновников или студент?

Когда молодой человек назвал себя музыкантом, хозяйка справилась, не на гитаре ли он играет. Узнав, что на рояле, она удивилась:

– Так это ж не кормит! – Под его огненным, темным взглядом она неожиданно оробела. – А вы какой веры, простите? – немного виновато спросила она.

Узнав, что он православный, хозяйка сообщила, что сама она католичка и костел посещает аккуратно, хотя до костела отсюда не близко.

Подойдя к роялю, Балакирев легко тронул клавиши, затем взял несколько грузных, массивных аккордов, пробуя звук.

– Только играть буду много, – предупредил он.

– У меня дочки прежде занимались, да замуж вышли – уехали. С тех пор никто, правда, не играет, да привыкну, ничего. Тут студент прошлую зиму жил, так я все просила, чтоб колбасу на рояль не клал. А вы, раз сами играете, будете аккуратней.

Он строго на нее посмотрел. Хозяйка подумала: жестковат, ну да бог с ним, пускай живет.

– Так вы православный? – не удержавшись, переспросила она. – Из каких же мест к нам прибыли?

– Из Нижнего.

– Торговый город, большой, – одобрила она. – Там, говорят, цыгане на ярмарку приезжают, так по всему городу ходят; даже живут.

– Я русский, – внушил ей снова Балакирев.

Она смутилась:

– Нет, мне все равно, пожалуйста.

Он решил сюда переехать: дал три рубля задатку и объявил, что на следующее утро явится с пожитками.

Увидав на другой день, как мало с ним вещей, хозяйка опять смутилась: жилец показался еще более странным, чем накануне. Он заперся у себя и вскоре сел за рояль. Хорошо ли он играет, Софья Ивановна не поняла: правда, инструмент звучал сильно и вольно – так еще никогда не звучал, – но музыка была не бальная, не салонная, а какая-то чересчур строгая.

Лишь много позже, привыкнув к жильцу и успев полюбить его за твердость характера и серьезность, Софья Ивановна услышала от знакомых, что Милий Алексеевич такой музыкант, какие в России почти не встречаются, и что он самому Рубинштейну под стать как артист.

У жильца появились ученицы в богатых домах. Он уходил утром и возвращался поздно, чаще всего рассерженный впустую проведенным днем. Не для того он сюда приехал, чтобы обучать девиц исполнению Гензельта и Шарвенки. А денег все равно не хватало: приходилось посылать сестрам, заботиться об отце, оставшемся в Нижнем без службы.

Балакирева прижимала нужда, и он, не желая ни перед кем склонять голову, сносил лишения стойко, не жалуясь, не ожесточаясь и твердо решив добиться в конце концов своего.

Нужно было ему многое. Еще в первые дни пребывания в столице его приветил и поддержал Глинка, признав в нем талант незаурядный. Глинка покинул Россию, но Балакирев мечтал продолжить в России начатое им дело; мечтал о тех днях, когда русская музыка перестанет быть гонимой и завоюет для себя театры и концертные залы. Балакирев понимал, что для этого нужна деятельность настойчивая, пламенная и непрерывная.

В казармах Преображенского полка проводил свои дни Модест Мусоргский. В лаборатории до позднего вечера ставил опыты Александр Бородин. В кадетском морском корпусе начинал учение совсем еще юный Римский-Корсаков. В домашнем заточении, ушедший от холодности официального Петербурга, обиженный на неуспех «Русалки», творил Даргомыжский. Полный тревоги за судьбы родины, мучась разлукой с нею, но до сих пор не забывший, как предали забвению его «Руслана», проводил в Германии в напряженной работе последний год своей жизни Глинка. А в это время Милий Балакирев, бегавший по урокам, редко сам выступавший, искал друзей и союзников. Он мечтал о том, чтобы сплотить все самобытное в музыке. В холодном

Петербурге ему нужны были огоньки, которые можно разжечь в костер. Он пытливо всматривался, вслушивался, желая найти людей, готовых пойти вместе с ним и продолжить то дело, которое в России поднялось благодаря усилиям Михаила Глинки.

V

Как-то, возвращаясь вместе с приятелем из полка, Ванлярский предложил:

– Хочешь, Модест, пойдем сегодня в один весьма любопытный дом?

– Чей? – спросил Мусоргский.

Тот выдержал паузу:

– Даргомыжского. Я однажды пообещал взять тебя туда.

– Да ведь ты сказывал, хозяин от всех заперся?

– Но и без людей жить невозможно. Кой-кого принимает из тех, которые ценят его творения.

Мусоргский нерешительно заметил:

– Но я?… Какой ему интерес со мной?

– Ему про тебя говорили. Он сказал: «Приведите, посмотрю, что за музыкант такой». К нему ходят, молодежь его любит.

Искушение было слишком велико, и как Мусоргский ни робел при мысли о знакомстве, он в конце концов согласился. Дойдя до угла Гороховой и условившись, где встретятся вечером, приятели разошлись.

…После выпуска из школы подпрапорщиков Мусоргский поселился вместе с братом и матерью. Брат тоже служил в гвардии и жил, не считаясь со средствами. Оба не догадывались, как трудно их матери и как она каждый раз ломает себе голову, когда приходится добывать деньги. Рестораны, театры, пирушки – все стоило дорого. Но у детей, по понятию Юлии Ивановны, выбора не было: или вести себя так, как ведут в гвардии все, или же уходить в отставку. Когда из псковского поместья Карева, принадлежавшего Мусоргским, приезжал управитель, мать запиралась с ним и подолгу вела утомительные разговоры, соображая, что бы еще заложить, какие угодья сдать в аренду и как уменьшить расходы. Муж ее, Петр Алексеевич, родившийся от брака барина с простой крепостной крестьянкой, усвоил замашки барина. Он и в Кареве жил широко, не по средствам, но после того, как семья была перевезена в Петербург, сыновья определены в гвардейскую школу, а к младшему приглашен педагог по музыке, потому что Юлия Ивановна требовала, чтобы Модест, с которым она начала заниматься сама, непременно учился и тут, отец счел свою роль по отношению к семье законченной. В столице он вовсе вышел из всяких границ. Будучи хлебосолом, он стал жить еще шире и за несколько лет промотал большую часть своего состояния. После его смерти обнаружилось, что жить почти не на что. Юлия Ивановна решила во что бы то ни стало

вывести сыновей в люди и всю тяжесть забот приняла на свои плечи.

Истинного положения дел Модест не представлял себе. Когда мать предлагала деньги, он, хотя и чувствовал по временам неловкость, деньги от нее принимал, стараясь не думать, какой ценой они добыты.

Сегодняшнее предложение Ванлярского было тем еще хорошо, что не требовало вовсе трат: он мог уйти из дому с чистой душой.

В назначенный час Ванлярский явился, и они отправились.

Даргомыжский занимал скромную, небольшую, но удобную квартиру на Моховой. В дома знати его давно уже не приглашали, и он, махнув на это рукой, решил окружить себя теми, кто относился к нему с почтительным интересом. Его посещали не те любители, какие вхожи в дома меценатов: несколько милых девушек, полупоклонниц, полуучениц, с приятными голосами, молодые люди и люди постарше, пристрастившиеся к музыке, составляли его круг.

Уже подходя к Моховой, Ванлярский счел нужным предупредить приятеля:

– Только не думай, пожалуйста, что он с виду особенный, не то разочаруешься с первой минуты. Я описывал тебе его однажды: так вот – вроде того, как описал.

Мусоргский кивнул, соглашаясь. Казалось бы, он не придавал значения внешности, однако сам был затянут в мундир и напомажен.

Дворник, сидевший на тумбе возле ворот, проводил офицеров равнодушным взглядом. Возле него вертелась собачонка, и он отгонял ее от себя метлой.

Когда Мусоргский увидел хозяина, то, несмотря на предупреждение, почувствовал себя несколько разочарованным. К ним вышел человек желчного вида, с нездоровой желтизной лица и водянистыми глазами. Высокий лоб и изящно очерченный подбородок придавали лицу известное благородство, но опущенные книзу усы сообщали ему жесткость. Был он низкого роста, худощав, в цветном жилете и темном сюртуке. Голос в самом деле оказался высоким до пронзительности.

– Буду рад, – начал он, обратившись к Мусоргскому, – если вам не покажется в моем доме скучно. Любя музыку, вы пожелали меня навестить? А я решил уже, что после неуспеха «Русалки» молодежь от меня совсем отвернется.

Говоря, он придирчиво рассматривал гостя: не слишком ли напомажены волосы, не чересчур ли узка, даже для офицера, талия? Заметив это недоверие в его глазах, Мусоргский подумал,

что хозяин в каждом входящем готов видеть противника.

Но в гостиной, где собралась молодежь, царила атмосфера дружелюбия. Заметив, что гость нерешительно осматривается по сторонам, Даргомыжский сказал:

– По возрасту, как видите, больше подходят вам, чем мне. Что поделаешь: тянет меня к ним сильней, чем к иным определившимся индивидам.

В гостиной было просторно и уютно. В одном углу стоял рояль орехового дерева; в другом, противоположном, большой, тоже орехового дерева, удобный, с гнутой спинкой диван. Кресла были такие же спокойные и удобные.

Разговор возобновился: толковали о том, что собираются ставить в Большом театре и что пойдет на русской сцене, в театре-цирке. До слухов хозяин был, видно, охотник: он оживлялся от них, но, выслушав, напускал на себя выражение легкой брюзгливости. О Глинке все говорили с великим почтением и сочувствием.

Когда кто-то о нем упомянул, Даргомыжский, сдвинув круто брови, заметил:

– Опять за границу уехал! И не мудрено. Четырнадцать лет на сцене «Руслана» не ставим – разве не горестно автору? Чем только не балуемся, всякой всячиной, а такой изумруд собственными ногами затоптали! Эх, страна наша…

Речь его стала строже и как будто более певучей, когда об этом заговорили. Не только хозяин, но и все тут считали Глинку первым композитором среди русских и великим музыкантом всех времен.

Сидя в стороне, Мусоргский слушал с затаенным вниманием, удивленный. О музыке тут говорили совсем не так, как в кругу приятелей-офицеров: с любовью, уважением и пониманием.

По просьбе хозяина девушка в голубом платье с оборками и высоким корсажем начала петь глинкинские романсы. За рояль сел молодой человек в форме чиновника. Голос у девушки оказался небольшой, но чистый, и пела она с той выразительной простотой, которая больше всего трогает сердце.

– Вот прелесть-то1 – сказал Даргомыжский. – Ну есть ли что-либо, подобное этому?

Потом пошли в ход романсы самого Даргомыжского, а позже отрывки из «Руслана»: квинтет, дуэт Ратмира и Финна, арии, оркестровые картины. Исполнители находились для всего. Хозяин увлекательно, несмотря на хрипловатость голоса, пел Финна; бас исполнял баритоновую партию, меццо-сопрано – контральтовую, но все, взятое вместе, Мусоргского задело глубоко: впервые в жизни он слышал музыку, сочиненную в Петербурге, непонятую

тут, но открывавшую необъятный мир красоты.

Даргомыжский, казалось, о новом госте забыл и, только вдоволь напевшись, обратился к нему:

– Может, и вам угодно принять участие? У нас тут видите как поют – кто лучше, кто хуже. Спрос с каждого по возможностям.

– У меня опыта вовсе нет, – смущенно ответил Мусоргский.

– Да он отлично играет, Александр Сергеевич! – вмешался Ванлярский, сидевший в другом конце гостиной. – Прикажите ему сесть за рояль.

Круг стоявших около инструмента разомкнулся, и Мусоргский – делать нечего! – подошел.

– Я и не знаю, что сыграть-то…

– У нас неволить не любят, – заметил хозяин. – Что вам угодно, тем и побалуйте.

Молодежь отступила от рояля, чтобы не смущать оробевшего офицера. Перебрав в памяти несколько вещей, Мусоргский решил исполнить польку своего сочинения, затем свой же парафраз на знакомые оперные мотивы. Вначале он волновался и только позже, почувствовав, что его слушают, стал играть смелее. В одном отрывке он в свободной импровизации вздумал изобразить что-то вроде колокольного звона: получилось густо, сочно и полновесно.

– Ишь ты, скажите пожалуйста! – пробурчал хозяин.

Дослушав до конца, он тем же резковатым голосом произнес:

– Талант виден изрядный, но вкуса вашего, простите, не уразумел.

Мусоргский отважился спросить, что именно Александр Сергеевич подразумевает под вкусом.

– Сочинение не может служить прихоти или забаве – оно должно преследовать свою цель. Мы собираемся не для того, чтобы вечера как-нибудь коротать. У нас задача иная, чем, скажем, в концертах Дворянского собрания. Михаил Иванович всю силу своего гения отдал искусству России, и мы по мере сил стараемся служить тому же.

Мусоргский покраснел, лицо его потеряло оттенок юношеской бледности: он вспомнил, как на прошлой неделе чуть не всю ночь услаждал товарищей музыкальной чепухой, бойкими безделушками, и ему стало стыдно. «Ай да Модест! – повторяли в ту ночь товарищи. – Другого такого ни в одном полку нет – только у нас!» Поддавшись на похвалы, он играл мазурки, польки, фантазии.

Сейчас все показалось постыдным до жалости: только что исполняли романсы Глинки, «Руслана», а он, поддавшись на удочку, сел за рояль и показал, насколько нетребователен его

вкус.

Хозяин не склонен был щадить новичка и, когда тот, расстроенный, отошел в сторону, не стал его утешать.

Гости попросили Даргомыжского, чтобы он поиграл «Русалку». Нашлись исполнители для партий Наташи и Мельника, а партию Князя взял на себя сам автор.

В домашнем исполнении все показалось понятнее, чем в театре. Мусоргский точно в первый раз слушал оперу: он ощутил напевность и красоту ее арий, человечность образов, созданных композитором. До чего же неуместными были насмешки товарищей по полку, до чего глупыми и невежественными!

Даргомыжский, как будто его имел в виду, показывая «Русалку», спросил:

– По вкусу вам или нет, господин Мусоргский? Бранят мою оперу, а мне хотелось внести свою скромную лепту в русский оперный сюжет. И казалось мне, что кое-что удалось.

– Все тут, Александр Сергеевич, удалось, – хором сказали гости.

Мусоргский признался, что со сцены он не так понял, как сегодня: теперь ему все понравилось.

В глазах автора мелькнул радостный огонек, и он с удовлетворением опустил голову.

– Только в этом кружке и сознаешь себя музыкантом. Если вам тут по душе – милости прошу: будем рады. Только надо поскорее вам понять, что музыка простой забавой служить не может: у нее назначение более высокое – правду жизни выражать.

Он поднялся. Казалось, самое важное, что надо было сказать, уже сказано, и гости, почувствовав это, стали прощаться.

На улице было тихо. Возле дома никого не было видно. Горел фонарь около ворот, а другой светил где-то за три дома отсюда.

Ванлярский и Мусоргский отстали от остальных.

– Не жалеешь, что попал сюда?

– Все для меня ново, – сознался Мусоргский, – я даже подавлен. Но мне понравилось, и я бы хотел тут бывать… если позовут.

– Так позвали уже, ты слышал.

– Да не очень-то горячо.

– Ты не знаешь его: не понял бы тебя – не стал бы приглашать. А барышням ты понравился, я заметил.

– Оставь!

Щегольской, кокетливый тон, обычный в разговорах молодых офицеров, на этот раз покоробил Мусоргского.

– Неуспех «Русалки» очень его огорчил, – продолжал Ванлярский. – До сих пор еще Александр Сергеевич не пришел в

себя, поэтому и кажется подозрительным. Но, если идешь к нему с искренним чувством, ты для него желанный гость. Я, Модест, видать, оказался твоим крестным отцом в этом доме. Что же, рад: давно надо было тебе сюда. Ну, прощай. – И он пошел своей стороной.

На следующий день, освободившись от строевых занятий, Мусоргский прямо из полка отправился на Невский, в магазин Бернарда, и спросил сочинения Глинки. Владелец магазина, с сильной проседью в бороде, предупредительный и спокойный, справился:

– Для себя, господин прапорщик, покупаете? – Видя недоумение покупателя, он объяснил: – В вашей среде, я заметил, интересуются другой музыкой.

Мальчик подставил лестницу. Хозяин сам полез наверх и достал с последней полки запыленную пачку.

– Тут всё: может, что подойдет, прошу посмотреть.

Мусоргский просматривал романс за романсом. Иные он откладывал в сторону. Большая часть была ему незнакома даже по названию, но вот попался один, услышанный им вчера, затем еще один.

Хозяин магазина наблюдал за ним с молчаливым вниманием.

– Есть и более доступные сочинения, тоже русских авторов, – сказал он. – Дюбюк, Дютш…

– Нет, я из этой пачки отберу.

– Давно взял за правило удовлетворять разнообразные вкусы, а то бы не стал это держать у себя – дохода не приносит. – И он вздохнул.

– Да мало ли в Петербурге музыкальных кружков! – возразил Мусоргский.

Нотный торговец с достоинством погладил бороду:

– Кружки есть действительно. Но, если дело вести, думая только об их вкусах, пришлось бы закрыть торговлю. – Он показал наверх. – Там клавиры «Жизни за царя» и «Руслана» лежат, а сколько продано за год? Один или два. Вот какова картина, господин офицер!

Он насупился и с выражением молчаливой строгости отошел, предоставив покупателю самому разбираться в запыленной пачке.

VI

В гостиной, окруженный молодежью, стоял высокий человек в мундире военного инженера. В прошлый раз Мусоргский его не видел. Бачки оставляли нижнюю часть подбородка открытой, глаза у него были близорукие, но живые. Разговаривал он чуть не со всеми в одно время – легко и насмешливо.

При появлении нового гостя он обернулся не сразу, точно желая, чтоб тот успел полюбоваться им – его непринужденностью и свободой. Затем, прищурившись, взглянул на вошедшего:

– Мусоргский – кажется, не ошибаюсь? По описанию узнал. Что ж, давайте знакомиться: Цезарь Кюи.

Оба были в военных мундирах. Их одинаково отличала некоторая изысканность манер, но Кюи вел себя так, точно хотел показаться в обществе занимательным или забавным, а серьезные мысли считал нужным держать при себе. К Мусоргскому он отнесся, впрочем, с интересом и тут же принялся расспрашивать, пишет ли тот что-нибудь.

– У меня самого романсов немало, да и для рояля кое-что задумано. Больше всего, правда, меня занимает опера. «Кавказского пленника» сочиняю.

Подхватив Мусоргского под руку, он прошелся с ним по гостиной. Разговаривал он с легким акцентом – не то французским, не то польским, но выбором слов не затруднялся нисколько.

Когда проходили мимо хозяина, сидевшего в кресле, Даргомыжский счел нужным предупредить их:

– Сегодня, господа, запряжем вас в одну упряжку. Попробуйте-ка поиграть в четыре руки.

– С удовольствием, – отозвался Кюи.

На положении более опытного он взял Мусоргского под свою опеку. Тот принужден был вскоре признаться, что мало что знает о Шумане и Листе, а уж о Берлиозе и вовсе ничего не слыхал. Кюи заметил снисходительно:

– Это все еще впереди. Вас ждет множество превосходных открытий.

Слушая его, Мусоргский старался запомнить названия незнакомых произведений, впитывал в себя новые суждения; он вступал в мир незнакомый, заманчивый, необозримо большой.

Даргомыжский был сегодня задумчив. Он сидел в кресле в углу и, казалось, не замечал, чем заняты гости. Поглаживая большим пальцем усы, он что-то обдумывал. Когда один из гостей заговорил о «Русалке», Даргомыжский с горечью произнес:

– Разве эти господа допустят, чтобы на сцене была представлена простая русская девушка или обыкновенный мельник? Вы вот хвалите, а они ругают. Граф Виельгорский уж на что просвещенный ценитель, а Михаила Ивановича все старался уверить, что его «Руслан» – чистейшая неудача. Так куда уж мне! Меня он просто не замечает и на собрания к себе звать перестал… Ну, авось без них как-нибудь проживем. Новые силы взойдут в России.

Он поджал губы и замолчал. Некоторое время молодежь развлекалась разговорами; затем, словно вспомнив, хозяин спросил:

– Что ж мы сегодня послушаем?

Кюи, остановившись против его кресла, сказал:

– Мусоргский симфониями Шумана заинтересовался. У вас, Александр Сергеевич, ноты найдутся? Мы бы с ним в четыре руки попробовали.

Опершись на подлокотник, хозяин выбрался из кресла. Он запахнулся получше в халат, в котором принимал сегодня общество, чувствуя себя нездоровым, и пошел к этажерке разыскивать ноты.

Мусоргский со страхом подумал: «Я ж не справлюсь! Как быть?»

– Вот-с, переложение на четыре руки. Прошу, действуйте, а мы послушаем.

Небрежным движением уверенного в себе человека Кюи полистал тетрадь, затем подвел своего партнера к роялю:

– На первую партию сядете или на вторую?

В его глазах Мусоргский прочитал не то ожидание, не то насмешку. «Погоди, голубчик, сейчас увидим, что ты за птица и много ли стоишь», – говорил его взгляд.

– Лучше вторую: я думаю, полегче.

– Как угодно.

Вскоре после того, как начали, Мусоргский сбился: пришлось вернуться назад. Немного погодя он сбился снова. Он уже было совсем приуныл, но дело начало налаживаться незаметно: строчки перестали плясать перед глазами, и даже партия соседа попала в поле его зрения.

То, что аккорды совпадают так хорошо, было необыкновенно приятно: в четыре руки все звучало слитно, как в оркестре. Мусоргский почувствовал симпатию и к Кюи и ко всем, кто слушал. Он не думал, что ему удастся так ловко все схватить; руки его обрели собственную жизнь: они приноравливались к неудобным аккордам, делали скачки, подхватывали пассаж, начатый партнером, и продолжали его.

После того как была сыграна первая часть, Мусоргский вздохнул свободнее и с большей смелостью посмотрел на партнера.

– Браво, браво! – сказал тот покровительственным тоном. – Вы просто приятное приобретение – и для кружка и для меня лично: я очень люблю играть в четыре руки.

– Я ж говорил, – послышался сзади голос хозяина: – молодец молодцом, нашего полка прибыло. Если сей дом располагает к себе, будем вас числить за нами.

Мусоргский чувствовал себя на вершине счастья: тщеславные его мечты, все, что он скрывал даже от себя, разом вспыхнуло и загорелось.

Кюи перевернул страницу и спросил, можно ли продолжать.

Романтическое звучание второй части было полно неизъяснимой прелести. Ах, какие творения существуют на земле, о которых даже не подозреваешь! Мысль, что они ему под силу, что он способен ими наслаждаться, играя сложные вещи с листа, наполнила Мусоргского гордостью.

Уже и симфония была сыграна, и две девушки по очереди спели романсы Глинки и Даргомыжского, и гость высокого роста, с сильно закрученными усами исполнил неизвестную ему вокальную партию; уже сели пить чай и за чаем зашел разговор о женском высшем образовании, а Мусоргский все еще переживал свою радость.

– Нам с вами не грех музицировать и приватно, – обратился к нему Кюи через стол. – Какого вы мнения?

– Ну что ж, – храбро ответил он, – я с охотой.

Возвращаясь домой, Мусоргский вспомнил, что приятель, позвавший его сюда, сам не пришел почему-то. Признаться, сожаления он не почувствовал: Ванлярский больше принадлежал не к тому кругу, в который он сам вступил теперь, а к старому, привычному, и этот старый впервые показался ему таким пошлым. Неужто ж опять на потеху товарищам придется ночи напролет зубоскальничать на рояле?

Кончилось младенческое состояние души, и юность, быть может, скоро пройдет. Подходит пора большей зрелости, но в воздухе пахнет весной. Он повторял себе, что совершит еще на своем веку многое. Вспомнились похвалы Антона Герке; тот, бывало, брал его за руку и, мягко похлопывая по ладони, повторял:

– О-о, эти пальчики умеют многое! Большой толк отних может быть, о-о!

Что музыка полна такой прелести, что она заключает в себе пламя, способное обжигать, он узнал только теперь. Дом

Даргомыжского, разговоры о выдающихся людях, новые произведения и новые имена – все пришло неожиданно, и ко всему этому он, кажется, приобщился.

Впечатления от вечера вставали перед ним с живостью необыкновенной, и Мусоргский возвращался домой, полный радостного возбуждения.

VII

Однако жизнь шла своим чередом, и требования, какие она ему предъявляла, оставались прежними.

После спектакля поехали всей компанией к корнету Орфано. Молодежь уселась вокруг стола, денщик и две горничные быстро уставили стол закусками и бутылками. Начался обычный шумный и беспорядочный разговор.

Хозяин признался гостям, что увлечен одной балериной. Он стал описывать, как она хороша собой, какая у нее улыбка, какие глаза, какая поступь.

Такие разговоры были в чести: друзья стали расспрашивать, кто она, где танцует. Оказалось, что девушка учится в театральном училище.

Оболенский заметил внушительно:

– Надо, Серж, действовать. Мечта не может почитаться добродетелью офицера. Ты со своей танцовщицей встречаешься?

Речь пошла о том, как устроить свидание Орфано. Товарищи предлагали подкупить в училище сторожа, просунуть записку в форточку, взобравшись на крышу училища, похитить, наконец, девушку, когда она в закрытой казенной карете поедет на Каменный остров на дачу.

Планы отличались смелостью, даже дерзостью. Почиталось делом чести помочь в таком затруднительном положении товарищу. Друзья готовы были сделать всё, чтобы облегчить ему встречу с балериной.

Тема эта занимала офицеров долго, и в обсуждении ее принимали участие все, кроме Мусоргского. Он сидел задумчивый и безучастный.

Сначала на него не обращали внимания. Потом Оболенский заметил:

– Модест, господа, невесел. Модест скучает. Может, и у тебя, дружок, сердечное увлечение?

– Да нет, какое там, он ко всему безразличен! – крикнул с другого конца стола прапорщик Соковнин. – С той самой поры, как мы смотрели «Русалку», с Модестом что-то неладное происходит.

Оболенский произнес назидательно:

– А все потому, что нарушил правила офицерской компании. Ты в тот раз с нами не поехал и с тех пор стал чуждаться общества. Так, Модест, нельзя, не положено: мы молоды, веселы и беспечны, и в веселой беспечности наша добродетель. Ведь и ты прежде был неутомим в развлечениях.

– Он музыкой слишком увлекся, – примирительно вставил Ванлярский. Потом наклонился к сидевшему рядом Модесту и тихо сказал: – Я тебя понимаю. Но той это – вещи разные.

– Может быть, – пробормотал Мусоргский. – Я ведь не возражаю.

– Да, но ты скучен.

– Пускай поиграет нам, – заговорили товарищи, – и хандра пройдет.

Прежде чем усадить его за рояль, снова налили всем вина. Мусоргский выпил уже несколько бокалов, в голове немного шумело. Он настроен был примирительно, но вести пустые, надоевшие ему разговоры не желал. Уж лучше было играть.

Он направился к инструменту. Товарищи продолжали шуметь за столом: разговор шел уже не о танцовщице, а о певцах и, разумеется, о певцах итальянской труппы.

– Нет, господа, – стараясь перекричать всех, гремел подпоручик Миронов, – настоящий шик у них, и только у них. Я в музыке ничего ровным счетом не смыслю, но за их рулады жизнь готов отдать. Возьмите вы их певиц: какая техника, какие трели! А высокие ноты? А ферматы?[ii] Ведь это уму непостижимо, как они долго тянут звук!

Мусоргский начал играть. За столом разговаривали по-прежнему. Потом, притопывая в такт, подошел Оболенский, за ним потянулись остальные.

Друзья обступили Модеста:

– Веселей, Модя, веселей! Ну-ка, развей свою меланхолию, сыграй что-нибудь бурное.

Модест готов был их позабавить. Находясь среди друзей, он мирился с их вкусами, взглядами, хотя на самом деле иные вкусы и взгляды складывались в его сознании. Он был скрытен и никогда с друзьями об этом не говорил.

Ушел Мусоргский под утро хмельной, умиротворенный и грустный: еще одна беспутная ночь проведена. К счастью, сегодня вечером Кюи обещал прийти, и они снова сядут играть. Это другой мир, особенный, и в него Мусоргский никого не впускал.

Когда Кюи являлся, Юлия Ивановна обычно уходила из гостиной, предоставляя молодым людям свободу. Старший брат, Филарет, тоже чаще всего отсутствовал. Он жил своей жизнью – интересами полка, службой.

Усаживались за рояль, проигрывали пьесу за пьесой. Что ни новое сочинение, то открывалось такое, чего Модест не знал, о существовании чего даже не догадывался. Мир музыки был, оказывается, безграничен. Кюи знал этот мир гораздо лучше, но замечания, какие он делал, мало что задевали в душе

Мусоргского.

Иногда во время игры, и особенно позже, когда гость уходил, что-то похожее на прозрение приходило к молодому музыканту. Хотелось уйти из той пошлой среды, которая его окружала, порвать с нею и создать в музыке свое, новое, никем не созданное. Если музыка представляет собой безграничный мир, значит, и на его долю может выпасть что-то еще никем не открытое.

Он начинал нервно шагать по гостиной, полный беспокойных и гордых мыслей.

– Что с тобой, Модя? – спрашивала мать. – Ты как в лихорадке.

И правда: еще задолго до того, как жизнь подвергла его жестоким испытаниям, он успел узнать, как велика сила душевных потрясений и нервного порыва.

Мать озабоченно спрашивала, не послать ли за каплями, не надо ли льда к голове, а он, не умея объяснить, что с ним, только отвечал:

– Не тревожьтесь, все пройдет… Ничего не надо, мне уже лучше.

– Я замечаю, дружок, на тебя музыкальные занятия действуют слишком сильно. Как придет Цезарь Антонович и вы поиграете с ним да поговорите о музыке, с тобой начинает твориться неладное.

– Нет-нет, ничего, пустое, – повторял Мусоргский.

– А в полку нет у тебя неприятностей?

Он отвечал кратко: о службе и вовсе не хотелось теперь говорить. Мусоргский заметил в себе охлаждение к тому, что прежде его привлекало. Все меньше охоты было думать о своей офицерской жизни. Мать пробовала доказывать, что надо бросить на время музыку, раз она так сильно действует. Объяснять ей, что существование его вне творчества невозможно, Модест не пытался.

Юлия Ивановна вспоминала, как она сама давала сыну в детстве уроки игры, как следила за тем, чтобы он правильно ставил на клавиши пальцы. Уже тогда ей казалось, что способности у него из ряда вон выходящие. Но она не думала и не могла думать, что придет день, когда Модест увлечется и решит посвятить музыке всю свою жизнь. Да и теперь она не допускала подобной мысли. Ей казалось, что путь сыновей определился и оба должны остаться военными. Забота ее была о том, как бы обеспечить их средствами для того, чтобы они могли находиться в гвардии.

В семье часто вспоминали про мужиков, про их леность или,

наоборот, старательность: мужики были источником благосостояния Мусоргских. К подобным разговорам брат Модеста, Филарет, относился так же, как относились отец, дед и все в роду. Воображение Модеста же рисовало в таких случаях товарищей по детским играм, ребят, с которыми он вместе ходил за грибами, купался в озере, играл в городки. Ваньки и Петьки, о которых шла дома речь, представлялись ему не теми работниками, на труде которых держалась семья, а друзьями. Деревенский мир возникал вместе с запахами луга, с ветерком на воде, с наезженной пыльной колеей, с песнями, которые под вечер пели в деревне. Легко вставали в памяти образы нянюшки, сказочника, побирушки-нищенки, юродивого. Разговоры об оброке как-то не задевали Модеста, и он относился к ним безразлично.

Разве же мог Мусоргский знать, что когда-нибудь эти нищие, горемычные люди станут ему ближе всех и он будет списывать с них своих бродяжничающих попов-расстриг, Митюх, хожалых, юродивых и попрошаек?

VIII

Лето стояло жаркое. В каменном городе было трудно дышать. Во двор забредали торговцы, снизу то и дело раздавалось:

– Сбитень-сбитенёк, пьет щеголёк! Кому горячего, кому вкусного?

Точильщик, обведя медленным взглядом все окна, неторопливо произносил:

– А вот ножи-ножницы кому?… Точить во время поры топоры! Пройдет пора – не надо и топора.

Шарманщик, поставив шарманку на деревянную ногу, начинал вертеть ручку, извлекая из нутра шарманки то арию Доницетти, то жестокую песню о злосчастной девичьей судьбе.

В эту душную пору богатые петербуржцы спасались на дачах, а те, кто были связаны с городом, искали тени или терпеливо ждали, когда придет наконец прохлада вечера.

Мусоргский вернулся из полка усталый. Юлия Ивановна приказала Дуняше подать чистое белье, а ему посоветовала облиться холодной водой.

– Нынче повсюду, говорят, духота. «Санкт-Петербургские ведомости» пишут, будто в иных местах жара до сорока градусов доходит, а в какой-то деревне случаи бешенства скота были и двух коров пришлось пристрелить. На хороший урожай, Моденька, нынче рассчитывать не придется. Многие поместья придут в расстройство…

Мать печально вздохнула. Надо бы Филарета послать в Торопец, чтоб он на месте во всем разобрался, но и он о будущем думает мало. А уж Модя – тот, кроме музыки, ничего не желает знать. Сейчас поест и отправится в гости к Кюи. Кюи хоть с сельским хозяйством не связан, заботами землевладельца не обременен – тому музыка пристала больше. А ей, имея двоих сыновей, приходится в одиночку ломать себе голову и без конца думать, как вести дело дальше.

– Ну и духотища! – крикнул Модест, проходя с полотенцем через столовую. – Вы чем встревожены, матушка?

Он посмотрел на нее с выражением полной беспечности. Не желая его огорчать, Юлия Ивановна ответила:

– Да нет, Моденька, ничего. Урожай вот, пишут, плохой ожидается.

– Ничего, каревские наши поднатужатся: они народ славный и в обиду нас не дадут.

Юлия Ивановна отодвинула газету и покачала с сожалением головой: душа у него добрая, а понятия о жизни он не имеет

вовсе.

Разговор этот напомнил Модесту про деревню. И, глядя в окно, он вспоминал картины детства. Восемь лет, как оттуда уехали, а все милое сердцу связано до сих пор с нею.

Шарманщик, игравший внизу, увидав в окне офицера, стал упорно смотреть на него, а Мусоргский его не замечал и даже музыки не слышал. Потом, заметив, завернул две монеты в бумажку и кинул во двор.

Надо было идти. Духота не прошла, но жаль было терять время. Сегодня условились проиграть в четыре руки последнюю симфонию Бетховена. Мусоргский в предвкушении этого радовался заранее. Шарманщик играл фантазию из «Нормы», а он не слышал, находясь в другом мире.

Вернулся домой Филарет. Увидав брата, стоящего возле окна, он спросил:

– В Павловск, Модя, не собираешься? – Когда тот обернулся, он добавил: – Музыка будет, а потом большое гулянье. Мы сговорились поехать.

– А мы с Кюи условились помузицировать.

– У тебя теперь всё Кюи да Кюи, ты ни в чем меры не знаешь, – недовольно заметил брат. – То в ресторанах просиживал до утра, с опухшими глазами потом вставал; то в оперу вздумал ходить, да тоже без меры; теперь ансамбль придумал…

– Мы незнакомые произведения играем. Многое уже переиграли.

– Позволь узнать: для чего сие тебе?

Филарет, державший в руке полотенце, перекинул его через плечо и высвободил руку. Он был всего на три года старше Модеста, но выглядел крупнее, шире в плечах и солиднее.

– Тебе, чай, не на клиросе петь и не духовным капельмейстером быть!

Юлия Ивановна вмешалась в разговор и мягко заметила, вступаясь за младшего сына:

– У него влечение к этому, ну и пусть! Только бы не уставал чересчур.

– Да ведь все хорошо, мама, в меру, а без меры оно дурно. Жара, духота, люди стремятся за город, а он – к роялю! Преображенцы в Павловск едут, а он – заниматься! Впрочем, дело его, не маленький, чай, сам себе господин.

Шарманщик, кончив играть, терпеливо ждал, не кинет ли еще кто-нибудь деньги. Его молчаливое ожидание смутило Модеста: он завернул монету и снова швырнул, нацелившись так, чтобы она упала к ногам шарманщика. Странная, полная горечи мысль внезапно пронзила его: может, и ему уготовано так же когда-

нибудь побираться со своей музыкой? Еще не сделавшись окончательно музыкантом, он сознавал, что не умом выбираешь профессию, а влечением и страстью.

Мысль эта, как тень, скользнувшая на воде, скрылась тут же, и Мусоргский снова почувствовал себя гвардейцем, молодым офицером, живущим спокойной, обеспеченной жизнью.

Но с Филаретом сидеть за столом не захотелось: опять тот заведет разговор о Кюи! Отговорившись тем, что с товарищем зашел по пути в ресторан, Модест отказался от обеда. Он надел летний мундир и вышел.

Мимо проезжал извозчик, и, хотя у пролетки вид был неказистый, Мусоргский окликнул его. Сукно на сиденье нагрелось за день, лакированные крылья пролетки накалились. Пыль въелась в лак, сделав его тусклым. А извозчик, несмотря на жару, был в синем плотном армяке, подпоясанном красным шарфом.

– Жарко ведь так? – заметил с сочувствием Мусоргский.

– Оно хоть верно, да что поделаешь, барин: другой одёжи нет. По жаре, конечно, надо бы другую… На корм для лошади и то денег не наберешь. Люто все поднялось в цене, а господа платят так же. – Он согнулся, точно под тяжестью разговора и вызванных им мыслей. – Господа ездят в Павловск, железная дорога хлеб отбивает, с ней не поспоришь, а оброк платить надо все равно. Так вот оно, ваше благородие. – И он помахал кнутом над крупом лошади, убеждая ее бежать пошибче.

Доехав, Мусоргский дал извозчику лишний пятиалтынный, и тот, почтительно сняв картуз, сказал:

– Разные господа бывают. Которые даже сердце имеют и сочувствие, вроде вас. Я тут на угле стоять буду. Если обратно поедете, так уж найдите меня, сделайте милость!

Мусоргский с сожалением сказал, что он должен будет тут задержаться.

– Да я могу ждать сколько прикажете.

– Нет, скорее всего, до самой ночи пробуду.

– Жалко такого седока терять, да что поделаешь, ваше благородие! – Он медленно завернул за угол и подъехал к извозчичьей бирже.

Мусоргский, посмотрев ему вслед, стал подниматься по широкой лестнице.

Комната у Кюи была большая, с драпировкой у входной двери и коврами на стенах и на полу. Письменный стол украшали массивные канделябры из розового мрамора. Бронзовая фигура женщины поддерживала лампу под колпаком.

Кюи был не один: на диване сидел незнакомец.

– Вы, однако, поздно. Мы заждались.

– Извозчик попался лихой, – сказал Мусоргский, смотря на незнакомого человека.

Лицо у того было удивительной белизны, лоб высокий и умный. В выпуклых лучистых глазах было и ожидание и вместе с тем требовательная пристальность. Что-то от старообрядческого благообразия и старообрядческой непреклонности почудилось Мусоргскому в его облике. Незнакомец был совсем молод и, видимо, чтобы казаться солиднее, отпустил бороду.

Кюи познакомил их. Своего гостя он назвал полным именем:

– Милий Алексеевич Балакирев. А это Мусоргский, про которого я вам рассказывал.

С первой же минуты между ними установились отношения неравенства: Балакирев рассматривал Мусоргского внимательно, без стеснения, как будто раздумывая, стоит ли заводить с ним серьезный разговор, а тот разглядывать его пристальнее не считал удобным.

Видно, решив, что разговор все-таки можно затеять, Балакирев произнес:

– Цезарь Антонович сказал мне, будто вы приохотились к музыке. Какую же цель вы ставите перед собой) – Видя, что собеседник несколько опешил, он добавил: – Такие вещи необходимо знать каждому, кто строит свою жизнь сознательно.

Он обхватил колени руками и задумчиво посмотрел на нового знакомого. Уверенность, твердость были во взгляде такие, точно он знал с непреложностью, что ожидает стоящего перед ним юношу в офицерском мундире.

Мусоргский, удивленный и озадаченный, не нашелся что ответить.

– Я в Петербурге уже скоро два года и успел его раскусить. Что тут за музыка! Рутинерство, чиновный дух! Гольдмарков, Шпоров исполняют, а про Листа не знает никто. О Глинке не вспоминают, Даргомыжского при жизни забыли! Я потому и спрашиваю, какие вы цели для себя ставите. Любить музыку – одно, а служить ей – нечто совсем другое.

Не видя надобности отвечать, Мусоргский слушал. Он уже понял, что собеседник его из числа тех, кто выше всего ставят собственное мнение, а чужим интересуются лишь в той мере, в какой оно не мешает собственному. То, о чем тот говорил, было сродни слышанному у Даргомыжского, но напор, азарт, энергия, точно он в бой сейчас кинется, придавали словам Балакирева характер непримиримый.

Безбоязненно назвал Балакирев людей, мешающих росту русской музыки. Тут оказалась неведомая Мусоргскому немецкая

партия во главе с княгиней Еленой Павловной, оказался Антон Рубинштейн, которого Мусоргский до сих пор почитал богом искусства. Хотя он ни в чем пока не разбирался, но, как ни странно, всему сочувствовал, сознавая себя союзником говорившего.

Кюи тоже поддакивал. Мусоргский, слишком впечатлительный и доверчивый для роли простого слушателя, спросил, точно нуждался в немедленном руководстве:

– Что же нужно делать тем, кто любит родное искусство?

Балакирев ответил, не задумываясь:

– Не смотреть сложа руки на то, как господа, которым до искусства России дела нет, держат его за горло.

Значит, Рубинштейн, выступая с концертами, только мешает? Значит, Мендельсон-Бартольди – всего лишь автор поверхностно-изящных мелодий? В этих суждениях была непримиримость фанатика. Когда Мусоргский попробовал вступиться за Рубинштейна, Балакирев недовольно ответил:

– Не путайте пианиста и деятеля. Как пианист он не имеет себе равных, как общественный деятель насаждает чуждое нам. Народ живет в бедности и унижении, но он силен духом и горд. Русская музыка такова, что нам ни перед кем стесняться не приходится. А мы? «Жизнь за царя» признали, потому что дурак барон Розен про верность престолу в либретто толкует. А что вся музыка – о духе народном, сие нам неведомо. «Руслана» освистали, «Русалку» провалили… Что же, Рубинштейн за это искусство борется? Нет! Он Мендельсона насаждает. А ведь влияние его громадно, его слушают все… Вот-с, – резко закончил Балакирев, – если слова мои вам непонятны, лучше от музыки отойти и маршировать с солдатами на плацу.

Он потянулся, хрустнул пальцами и потребовал:

– Покажите-ка, что вы за музыкант. Может, и разговор вообще бесполезный.

Это было произнесено с такой решительностью, что Мусоргский не посмел отказаться и последовал за говорившим. Балакирев сел на вторую партию, а он без возражений – На первую.

– Не попробуете ли Девятую симфонию? Мы с ним сегодня собирались играть, – предложил Кюи.

Балакирев хмуро согласился. Он посмотрел на соседа, и тот почему-то встал, хотя ноты были уже открыты. Не заботясь о нем, Балакирев принялся играть: он наизусть исполнял отрывки из бетховенских оркестровых творений: аллегретто из Седьмой симфонии, финал из Четвертой, скерцо из Героической.

С первой же минуты Мусоргскому стало ясно, что перед ним

музыкант силы необыкновенной. Со все возраставшим удивлением он слушал, как свободно и смело воплощает играющий бетховенскую музыку.

Кюи неслышно расхаживал. Он улыбался, довольный тем, что приготовленный им сюрприз произвел такое сильное впечатление на Мусоргского: забыв все на свете, тот отдался слушанию и наслаждался. Да и горячность Балакирева была не случайной: встреча, которую Кюи задумал, по всему было видно, удалась.

Наигравшись, Балакирев вспомнил:

– Что ж вы? Садитесь.

Взгляд его, когда обернулся, показался Мусоргскому теплей и яснее: этот нервный, неровный и горячий человек привлек его к себе еще больше.

В чтении нот Мусоргский не был больше новичком, и хотя он, сидя рядом с таким пианистом, волновался, дело шло с каждой минутой все лучше. Балакирев тоже почувствовал в нем партнера гибкого в исполнении, чуткого на оттенки и свободного в технике.

Продолжая играть, он заметил:

– Это вы, надо признать, умеете.

Изредка он бросал скупое замечание, относившееся то к форме, то к неожиданно сложной гармонии. Темперамент исполнителя не мешал ему быть в то же время аналитиком.

– Да, вот это – творение! – произнес он, когда кончили играть. – В последних своих вещах Бетховен поднялся до высот недосягаемых.

Видя, с какой готовностью слушает его Мусоргский, Балакирев вернулся к прерванному разговору. Он пересел на диван, однако в пылу беседы вставал и подходил к роялю. О чем ни заходила речь, он тут же проигрывал все, не требуя нот от хозяина.

Наговорившись всласть, он вспомнил, что Мусоргский ничего своего еще не сыграл.

– А ну-ка, покажите, что у вас есть.

– Да у меня, кроме полек да детских воспоминаний и импровизаций, ничего нет, – сказал со смущением Мусоргский.

– Импровизации тоже бывают разные.

Снова, как в первый раз, он обхватил колени руками, приготовившись слушать. В иную минуту глаза его начинали блестеть сильнее, потом блеск потухал, и Балакирев недовольно отворачивался.

Дослушав до конца, он сделал свое заключение:

– Способности большие, но умения разрабатывать мысль ни на грош. Претензии видны, а техники нет. Без нее сочинителем

стать невозможно. Учиться надо, сударь мой, иначе толку не будет.

– Я уже это понял.

Отстранив автора и помня все, что тот играл, Балакирев стал показывать, где и что надо было развить и дополнить. Это была новая импровизация, основанная на только что прослушанной, но более яркая и стройная по форме.

Кюи, сидя в кресле вытянув ноги, поддакивал и со всем соглашался. Его присутствие мешало Мусоргскому до конца почувствовать себя учеником. А учиться захотелось сильно – хоть бы сейчас, сию минуту сесть за работу!

На улице чуть смерклось, жара поубавилась; в комнате все посерело. День не угомонился совсем, но стал тише и глуше. И разговор утратил прежнее свое напряжение. Поговорив горячо с новым знакомым, Балакирев готов был уже видеть в нем своего союзника.

– Итак, надо учиться, учиться, – закончил он. – Вопрос в том, у кого.

Кюи, захватив в руку свои бачки, другой, свободной, показал на Балакирева:

– Да у кого же еще, кроме как у вас, Милий Алексеевич?

Балакирев нахмурился и отвернулся. На минуту в комнате возникло неловкое молчание.

Мусоргский спросил неуверенно:

– А вы взяли бы меня к себе в ученики?

Тот искоса смерил его взглядом.

– На определенных условиях – да. – Он повернулся и посмотрел на Мусоргского испытующе, почти с неприязнью. – Быть в искусстве полезным – дело нелегкое, на это способен не всякий. К жертвам вы готовы? – резко спросил он. – Вам в музыке свой путь назначен, а вот сумеете ли до него добраться?

Мусоргский готов был в эту минуту на все, но он не знал, чего требует от него Балакирев. А тот так и не сказал, о каких жертвах идет речь.

– В вас развинченность есть, вот что меня смущает. Впрочем, подумайте обо всем, тогда и решим.

– Нет, я решил, – просто ответил Мусоргский. – Я согласен на все, что ни потребуется.

IX

Хозяйка Софья Ивановна, встречая гостя, таинственно предупреждала:

– С утра работал, а теперь читает… Осторожнее входите, а то он не любит, когда мешают.

К своему жильцу она начала относиться с почтительным расположением. Чем полюбился ей Балакирев – талантом ли, твердостью ли характера или скромностью, – трудно было сказать, но она не сердилась, когда он играл поздно, и мирилась с тем, что ей редко разрешалось производить уборку в комнате.

Беспорядок в комнате был изрядный: книги большими и малыми стопками лежали на столе, на подоконнике, на стульях и даже на кровати. Читал Балакирев лежа, сразу несколько книг и любил, чтоб нужная была всегда под руками. Прежде чем лечь, он набирал их из разных пачек: философские, исторические, экономические, тетради нот – и клал рядом с кроватью. Поглощалось все без разбора: Балакиреву необходимо было побольше знать о мире, в котором он существует, и пытливость его распространялась на разные области знания. Кроме того, Балакирев вел большую постоянную переписку со знакомыми и друзьями; но жил он так бедно, с деньгами бывало так туго, что приходилось иногда экономить на марках и ждать оказии, чтоб не посылать письмо по почте.

Когда нарядно одетый молодой офицер явился в квартиру и опасливо справился, не занят ли Милий Алексеевич, Софья Ивановна, уловив в его облике что-то симпатичное, расположилась к нему с первого взгляда.

– Голоса не подает, но не спит, – ответила она шепотом. – Вы пройдите. Он, думаю, не рассердится.

Балакирев лежал, положив ноги на стул. Все, что купила утром заботливая хозяйка: колбаса, крутые яйца, два калача, – лежало на другом стуле, и в случае надобности можно было до еды дотянуться рукой.

Увлеченный чтением, он посмотрел на вошедшего лучистыми своими глазами и с неохотой отложил книгу, спустив ноги на пол.

– Мазурку небось принесли?

– Нет, скерцо,[iii] Милий Алексеевич.

– Что ж, поглядим, что за скерцо… – И только он успел заглянуть в ноты, как стал ворчать: – Что вы тут набедокурили? Да ведь это совсем несуразно!.. А вот тут ловко! И этот ход тоже хорошо сделан. Дальше все чепуха, и надо выбросить.

Жажда вмешательства бушевала в нем. Балакирев готов был по-своему переделывать сочинение, переставлять в нем куски, менять гармонический план.

То же повторилось и во второй приход и в третий. Мусоргскому такое отношение учителя нравилось: то, что он писал, повинуясь влечению и не отдавая себе отчета в том, где случайное, а где настоящее, где хороший вкус, а где сплошные банальности, – под руками Балакирева как бы высветлялось. Тот не боялся перехвалить то, что Мусоргскому удалось, и делал убийственно смешными его неудачи.

Обычно он просматривал принесенное глазами и аттестовал еще до того, как садился за рояль:

– Плохо. Отвратительно… А вот это отлично придумано. И эту тему можно бы развить лучше.

Разделав ученика как следует, он подходил к инструменту. Он знал уже вещь почти целиком.

Повторялось почти то же.

– Ну конечно! – произносил Балакирев с искренним отвращением. – Это место надо выкинуть, оно портит пьесу. Сидит в вас прапорщик, бравый гусар с подкрученными кверху усами!.. Да гоните вы вон эту светскость из своих сочинений!

– Стараюсь, Милий Алексеевич.

– Какое же это старание? Тут надо, как ножницами, отхватить с маху… А вот тут свежо придумано: по-своему, оригинально. Ну, умница! Не напрасно я с вами вожусь.

– Я сам замечаю успехи. Только, Милий Алексеевич…

– Знаете что? – Балакирев задержал руки на клавишах. – Лучше без отчества. Учеников у меня и без вас хватает, мне от них тошно. Вас я прочу себе в единомышленники, а охотников играть Гензельтов да Дюбюков и среди барышень найдется достаточно. С сего дня я для вас просто Милий.

– Мне будет трудно, я не привыкну. – Но, видя, что тот недоволен, Модест сказал: – Постараюсь, Милий Алексеевич.

– И потом еще: денег с вас брать за уроки не стану.

– Нет, так я не могу!

– Вопрос решенный, не спорьте. Получать плату за то, что я где-нибудь обнаружу неграмотный гармонический ход или слабость формы, мне не к лицу.

Мусоргский стал доказывать, что он всего-навсего ученик и в товарищи пока не годится, а потому рассматривать его надо как ученика, но Балакирев был тверд в своем решении:

– Ну, с этим покончили, давайте думать о другом. – Перевернув страницы принесенной рукописи и как бы подытожив все, он сказал, вслух соображая, как ему следует обращаться с

учеником: – Я не люблю водить шаг за шагом, как учат ходить ребенка. Упадете, разобьете нос в кровь, что из того? Узнаете зато лучше свои силы. Надо за крупное что-либо приниматься. Попробуйте сонату написать или симфонию.

– Да разве ж я справлюсь!

– Захотите – справитесь, а дурака будете валять… – Он развел руками.

Предложение его Мусоргский принял с восторгом. Хотя он сам не сумел бы сказать, что ему хочется больше делать – писать ли симфонию или сонату, – желание было большое, и то, что Балакирев подогревал это желание, окрылило его.

При кажущейся своей податливости, Мусоргский на самом деле был не очень послушен. Иной раз, после того как учитель отвергал все, что он принес, Мусоргский, вернувшись домой, опять начинал делать по-своему: в балакиревскую логику, выглядевшую логичной на уроке, работа его не укладывалась никак; приходилось возвращаться к варианту, который учитель отверг.

В следующий раз Балакирев напускался на неподатливого ученика:

– Чего тут упрямиться и что, собственно, защищать? Неграмотность свою? Дурной вкус? Да это же никуда не годится, поймите! Это надо или выбросить, или переделать.

– Пробовал: не получается. Пускай уж так будет, как есть, – просил Мусоргский.

– Да нельзя же, смысла нет!

– Ну пусть… Я ничего другого не соображу.

– Но я-то за вас могу сообразить? Как вы полагаете – мне видней или нет?

– Ну, пусть моя непутевость, – виновато говорил тот.

Под его деликатностью скрывались упрямство и даже строптивость – Балакирев понимал. Будучи горячим, желая переделывать все по-своему, педагог с неудовольствием замечал, как, при кажущейся мягкости, ученик мало-помалу вырабатывает свои взгляды на многое. Балакирев был уверен, что это пустое, незрелое и что до самостоятельности Мусоргскому еще далеко. Он забывал при этом, что сам тоже нигде не учился и то, что выдается им за устои музыкального мастерства, взято из собственного опыта или анализа чужих сочинений. Со свойственной ему страстностью, Балакирев придавал обязательный характер всем своим замечаниям. Когда Мусоргский, выглядевший в сравнении с ним неоперившимся птенцом, возражал, это начинало злить его: он бегал по комнате, бранился и готов был поссориться.

Затем он остывал. «Переиначить человека на свой лад невозможно», – думал он трезвее и спокойнее. Надо же признать, что личность у ученика незаурядная и богатая. Ну, не соглашается – пусть: когда-нибудь сам поймет.

Иной раз какая-нибудь вариация, сочиненная Мусоргским, заставляла Балакирева радоваться с бескорыстием человека, много вложившего в ученика. Радовался он так же неумеренно, как и бранился.

– Вот это дело, вот это придумано! – говорил он. – Походка богатырская прямо! По одной такой страничке я бы вас признал, при всех глупостях, которые вы делаете… Эх, мало нас, – как-то произнес он в такую минуту, – а то бы весь мир перевернули!

– И перевернем, – осмелился сказать Мусоргский.

Балакирев покосился на него и, решив, что тому похвальба не пристала, сухо отозвался:

– Сам не люблю увлекаться и вам, дружок, не советую. Раньше времени нечего говорить, а время покажет, да-с.

X

Как-то у Даргомыжского пели романсы – не только глинкинские, мечтательно-поэтичные, но и другие, проникнутые иронией и сарказмом. Даргомыжский, их автор, вдоволь наслушавшись похвал от гостей, обратился к обществу:

– А ну, кто со мной поспорит? Кто горазд – выходите! Вот вы, Модест, себя еще в этом не пробовали. Ну-ка, дерзните.

– Боюсь, Александр Сергеевич.

– Бояться нельзя, тем более офицеру. Не засмеём, если не выйдет, – мы народ добрый, да и к вам хорошо относимся.

– Решайтесь, Модест, – стали требовать гости, – нечего упираться! В своем кругу можно попробовать. Раз Александр Сергеевич бросает вызов, надо принять.

– Сдается мне, – продолжал Даргомыжский, прищуривая глаз и смотря на Модеста так, точно дагерротип с него делает, – что у вас получится. Есть в вас, при неподвижности лица, скрытая подвижность черт и богатство оттенков. Вы не думайте: я за вами давно наблюдаю. Иной раз такое на лице прочтешь – ой-ой-ой!.. Ну-ка, давайте.

– Подбодрить хотите, Александр Сергеевич?… А впрочем, если так, извольте: попробую.

И, отважившись, он решительно пошел к роялю.

Девушка, аккомпанировавшая хозяину, метнула на прапорщика любопытствующий, быстрый взгляд. Она готова была участвовать в исполнении, а получится у него или нет, была не ее забота.

– Только об одном прошу, – продолжал Даргомыжский. – Довольно меня на сцене уродуют: уж вы, Модя, корёжьте, да не чересчур – надо старость мою пощадить.

На офицерских пирушках Мусоргскому приходилось изображать события в лицах, и всем нравилось. Но тут, оробев, он подумал, что берется совсем не за свое дело. Ну, была не была! Что-то в нем забродило, поднялось со дна души и потребовало для себя выхода.

Он преобразился так, точно его подменили: все, что он подметил, подсмотрел, подслушал в жизни характерно острое, неожиданно сплотилось в одном ощущении. Ему страстно захотелось вылепить в звуках образ, показать, как толкует музыкальные образы он, Мусоргский.

Приниженность, готовность к лести, угодливость отразились в чертах лица, неожиданно изменившегося. Перед зрителями возник портрет забитого, привыкшего с беспредельным

почтением взирать на начальство чиновника; затем в интонации Мусоргского услышали благородную горечь старого капрала; потом пьяный мельник вступил в объяснение со своими сапогами.

– Браво, Модест! – завопил Даргомыжский. – Да у вас талантище на изображение!

Он даже в ладоши захлопал, и вслед за ним захлопали все. Мусоргский, упоенный возможностью воплощать с помощью голоса, мимики, жестов живые портреты, чувствовал себя на верху блаженства.

– Ну, что-нибудь еще! Или хоть это еще раз спойте, – просили его.

Дремавшая в нем способность обнаружила себя в полной мере. На вечеринках, забавляя товарищей, он не давал себе труда отделить шутовство от юмора, паясничанье от пародии. Тут судьи были строгие, он впервые держал такой экзамен и, оказывается, выдержал. Модест слушал похвалы, улыбался на аплодисменты. Никто не мог бы сказать, когда он успел подсмотреть и так хорошо понять этих маленьких, смешных, забитых людей, где видел их, каким образом схватил самое характерное. Ведь не такой уж богатый путь успел он пройти!

– Вот находка! – сказал Даргомыжский, вытирая платком глаза. – Насмешил до слез. Ну, теперь без вас ничего петь не станем. Первое место за вами, Модест.

Успех был полный, но в гостиной не было человека, мнения которого Мусоргский боялся больше всего: ни сегодня, ни в прошлый раз Балакирев не присутствовал. Возможно, оно и к лучшему, потому что, при своей непримиримости, Балакирев заругал бы его и назвал бы это карикатурой на искусство. Понять его бывало трудно: в иных случаях он от шутки какой-либо смеялся, как ребенок, в других – смотрел насупившись, как будто желая испепелить человека взглядом.

Да и Ванлярского не было тоже. Все реже он стал тут появляться. В кружке на Моховой улице словно происходил незаметный отбор единомышленников и союзников. Ванлярский имел к кружку лишь косвенное отношение, но Балакирев – без него трудно было представить себе живое собрание. Почему его нет? В последний раз он жаловался на недомогание – уж не заболел ли?

На обратном пути Мусоргский думал, что же такое правдивость в музыке: сегодня он на собственном опыте понял, как важна интонация и какую роль играет в ней любой, верный или неверный, оттенок. Ему показалось, что он способен постигнуть тонкости человеческой интонации, проникнуть в ее сердцевину. Когда-нибудь он докажет еще, что не только

фантазии и мазурки способен сочинять.

Мысли его снова вернулись к отсутствовавшему Балакиреву. Мусоргский решил зайти к нему завтра и узнать, что с ним.

Он застал его в постели, замотанного в шарф и укутанного так, как будто в комнате очень холодно. Балакирев захворал.

– Смерти боюсь, – сознался он. – Не то простуда сильнейшая, не то заражение.

– Да полно, – сказал Мусоргский, – через несколько Дней встанете.

– Нет, – отозвался тот сумрачно. – Меня во всем преследует рок. Заболеть и то не могу по-простому: все непонятно, таинственно, сложно.

Он был мнителен, и его мучили разные опасения. Лежал он раздраженный, полный мрачных мыслей. Даже Софью Ивановну, когда та вошла с чашкой чая, встретил хмуро.

– Сколько же я вам должен? – с неприязненной деловитостью спросил Балакирев.

– Будет вам, неугомонный! Сочтемся еще, лежите.

– Вы сухари для меня покупали, а еще что?

Она посмотрела на Мусоргского, как бы призывая его в свидетели: ну что поделаешь с таким человеком? Болеть и то не умеет!

– Еще я за сахар, кажется, задолжал. Вы фунт пиленого купили и два фунта баранок…

Софья Ивановна махнула рукой и вышла. Балакирев смущенно заметил:

– Два месяца не плачу за комнату, да еще всякую всячину теперь покупает. Терпеть не могу одолжаться! Уроки пропускаю вторую неделю, от сестры пришло слезное письмо, и все, что было, отослал ей. Глупое положение, мерзкое!

Мусоргский потребовал, чтобы он взял деньги у него, но тот и слышать не хотел об этом:

– Не говорите, а то рассоримся. Как-нибудь выкручусь.

– Да ведь я ваш должник, Милий! В какое же вы меня положение ставите?

– Нет, бросьте, оставьте. Есть вещи, за которые деньги брать невозможно. – Но, видя внимание друга, он смягчился: – Ничего, я так верчусь постоянно, привык… Давайте о другом чем-либо разговаривать. Как работали? Что-нибудь новое есть? – И, не дожидаясь ответа, заговорил сам: – Еще один вроде вас появился – Гуссаковский. Талантлив, но другим делом занят. Прямо беда: вы – с солдатами, он – с какими-то вычислениями.

Мусоргский воспользовался подходящей минутой и стал жаловаться:

– Каждое утро, как мне собираться в полк, чувствую отвращение, идти не хочется.

Он рассчитывал встретить сочувствие, однако Балакирев переспросил с удивлением:

– Как «не хочется»? Что же делать, в таком случае?

– Я бы оставил службу совсем.

Наступило молчание.

– Дело ваше, конечно, – сухо сказал Балакирев. – Но мне все же непонятно: а существовать на что будете? Уж я за музыку крепко держусь, она меня кормит еще с тех времен, как у Улыбышева начинал. А что толку? Живу без денег, в нужде, и никогда, наверно, из нее не выбьюсь. Для русского музыка – хлеб горький. А вы холеный и балованный – куда вам!

Мусоргский сам плохо себе представлял, на какие средства мог бы жить: дома дела шли все хуже. Но он твердо знал, что офицерское существование становится ему все более ненавистным.

– От земной почвы отрываться нельзя, – продолжал Балакирев, заворачиваясь плотнее в одеяло и беспокойно поглядывая на окно, из которого, ему казалось, дует. – Ну, из полка уйдете, а что делать станете? Разве писать, находясь на службе, нельзя? Замашки у вас широкие, претензии большие, а почерк свой уже выработали? Нашли себя в музыке?

Мусоргский слушал невесело, и смелые мысли, с какими он шел вчера от Даргомыжского, тускнели сами собой.

– Вам народа надо видать побольше, читать больше, работать. Без горизонтов широких нельзя стать композитором. Вот я с двумя братьями дружбу завел: образованные, умные, даровитые. Не музыканты, а музыку знают как свои пять пальцев. Особенно один.

– Где вы только их находите, Милий!

– То-то, надо уметь. Познакомлю с ними: вам будет поучительно и полезно. Может, и блажь пройдет.

– Да я-то им не подойду, – самолюбиво заметил Мусоргский.

– Что ж, сумейте… Заставьте чем-нибудь окно, а то тянет оттуда.

Позже, видя, как Мусоргский сник, Балакирев заметил:

– Странное вы существо! То на все отзывчивы, а то ни с того ни с сего выдыхаетесь, и ни за что потом вас не расшевелишь. Где ваши мысли, о чем они – непонятно. Ну как вас знакомить с людьми? Посмотрят в такую минуту и решат, что вы меланхолик.

– Аттестация лестная, спасибо, – безучастно отозвался Мусоргский.

– Я-то в вас разобрался, а как другие – не знаю… Может, и

разберутся.

Он умел так – и себе и другому испортить настроение: как начинал допекать, остановиться вовремя был не в силах. Он, столько раз вышучивавший маршировки, парады, нелепую нарядность одежды, издевавшийся над дурным офицерским душком, не сумел и не захотел поддержать Мусоргского, когда дело дошло до решения.

Ушел Модест от него расстроенный и дал себе слово долгое время к Балакиреву не ходить. Но мысль, что тот болен, один, так беспокоила, что через несколько дней он явился снова.

Балакирев чувствовал себя несколько лучше. О роке и смерти он на этот раз почти не вспоминал. Шарф лежал на стуле и, видимо, больше не был нужен. Опять появились возле кровати книги; он был более оживлен и не требовал, чтобы закрыли окно плотнее.

Когда Софья Ивановна появилась, он сказал ласково:

– Поставьте, голубушка. После возьму.

– Я вам каши сварила, беспутный вы человек. За жизнь боитесь, а лечиться как следует не умеете!

Балакирев отозвался сумрачно:

– У меня к врачам веры нет. Лечат-лечат, а что с больным, не понимают. Глинка тоже в них разуверился – к гомеопатам стал обращаться. Вот и мне надо бы к ним.

– С вашим характером, – сказала она, – здоровым не будете. Вас собственное беспокойство донимает да страхи разные.

– Ну, пошла!.. Это ее любимая тема, – объяснил он Мусоргскому. Когда Софья Ивановна ушла, он добавил: – Золотой человек. Только напрасно я ее мучаю.

– И меня мучаете, Милий.

– А вас надо, иначе не расшевелишь. Вас необходимо тормошить, иначе вежливым офицериком так и останетесь. Вы чего в прошлый раз приуныли? Что я вам аттестата на композитора не выдал? Так это надо еще убедить меня. Докажите, тогда признаю. А с теми, про кого рассказывал, познакомлю вас непременно. Приходите завтра об эту пору. Посмотрим, клюнут ли на вас. Вы, Модест, на любителя, но мне кажется, что они раскусят.

– Да что вы во мне нашли странного?

Балакирев улыбнулся одними глазами. На этот раз он сказал вовсе без раздражения:

– Всё – от выражения ваших оловянных глаз, за которыми черт знает сколько всякого скрыто, до ваших дурацких композиторских опытов, в которых бездна таланта. Не знаю, понимаете ли вы сами свой талант, но я-то его раскусил.

– В прошлый раз вы мне в нем почти отказали.

– В звании композитора пока отказываю. Потому что от таланта до истинного композиторства – дистанция огромная. Вам еще, как мужичку в лаптях, пылить и пылить по дорогам… Ну, там будет видно, – оборвал он себя. – Сыграйте лучше что-нибудь, а то я скучаю без музыки.

Он сел повыше, подложил под спину подушку и, пока Мусоргский рылся в нотах, нетерпеливо руководил им:

– Да нет, ту снизу, вторую… Не в той пачке ищете… Какой вы, Модест, бестолковый!

Наконец Мусоргский нашел нужную тетрадь. Это были пьесы Шумана. Слушая и наслаждаясь, Балакирев думал и о том, кто играет: откуда такая решимость? Со службы намерен уйти! Может, в самом деле в душе его заложено что-то такое, чего он не разглядел? Ведь с вдохновением исполняет, прекрасно, как истый артист.

Многое пришло на ум Балакиреву, но он ничего не сказал.

– Ну, спасибо, Модест: утешили. А знаете? Я, может, и не помру: выкарабкаюсь.

– Кто ж в этом сомневался? – сказал, засмеявшись, Мусоргский. – Это ваша постоянная мнительность.

– Думал уже: всё, отхожу… Как-то ночью схватило – жар, дышать нечем, воздуха не хватает. Ну, конец! Я почему боюсь умереть? Многое надо сделать, а кажется, не успею, сорвусь на полпути. Меня мысль о катастрофе преследует.

В минуты, когда Балакирев бывал доверчив и прост, Мусоргский любил его больше всего. Он долго убеждал его, что все это – одно лишь воображение и катастрофы не может быть.

– А верно, Модест, с вами как-то легче, – под конец сдался больной.

Мусоргский обещал прийти завтра.

В дверях его остановила Софья Ивановна и шепотом спросила:

– Как вам кажется: поправляется? А то несколько дней толковал о смерти, я уж испугалась. И к кому пойти, не знаю, никого нет у него.

Она долго удерживала Мусоргского и шепотом рассказывала, какой необыкновенный человек ее жилец: какой он скромный и деликатный, только мнителен и легко впадает в отчаяние.

На следующий день Мусоргский застал у постели Балакирева незнакомого человека, высокого, с длинным, тонкого склада лицом и узкой густой бородой. Каждое его движение отличала энергичность. На стуле стояли стаканы и чайник. Оба, видно, выпили чаю много, и оба успели прийти в возбуждение от

горячей беседы. Гость, бывший значительно старше Балакирева, казался тем не менее очень молодым. Возраст его определяли блеск глаз и живость движений.

Указав на вошедшего, Балакирев представил его:

– Птенец моего, что ли, гнезда. Летает пока нетвердо, но взлететь все же обещает. Се Модест Мусоргский, а се Владимир Стасов, орел.

Стасов подхватил непринужденно:

– Не орел, Милий, а петух. Но задиристый. – Затем обратился к Мусоргскому: – А что вы умеете делать, молодой человек?

– Говорят, будто роялем малость владею.

– Э, нет! Сие меня не интересует: я про сочинительство спрашиваю. Он мне про вас рассказывал, и то, что вы пианист отменный, я знаю. Что ж вы сочиняете?

– Если бы тюфяком не был, все бы шло у него ладно, – вмешался Балакирев.

– Тут беды нет, – заметил Стасов с живостью. – Можно быть флегматичным с виду, но обладать темпераментом скрытым.

– Вместо темперамента у него упрямство.

Стасов легко снялся с места и на ходу погладил бороду. Казалось, он немного любуется ею и холит ее.

– Так вас, выходит, немало народа? Вы, Кюи, он… Кого же вы атакуете, какие редуты пытаетесь брать?

Балакирев стал обматывать шарфом шею и потянулся за платком. Он спросил недоверчиво, как будто в первый раз этот вопрос возник:

– А неприятель, по-вашему, где?

– Полно, Милий! Всякие там итальянки с их безжизненной техникой, высочайшие покровители музыки, господа Гедеоновы… Их у нас без счета. Я по старым ежегодникам полюбопытствовал, что у нас выдают за русское в музыке: «Сусанин» Кавоса, истинное чучело в сравнении с глинкинским, «Параша-Сибирячка» Струйского, «Ольга-сирота» Бернарда… Прямо страх берет, если год за годом просматривать. И это при том, что, кроме «Аскольдовой могилы», мы обладаем творениями Глинки, «Русалкой» Даргомыжского! Кто ж даст наконец бой, спрашиваю я? – Решительно повернувшись, он остановился против постели больного.

Мусоргский следил с увлечением за этим горячо жестикулировавшим человеком: в нем поражало изящество при таком росте, стремительность и легкость движений.

Побегав по комнате, Стасов сел.

– Литература наша после Пушкина и Гоголя имеет таких, как Тургенев, как молодой Островский. Сколько бы ей ни мешали,

она шагает вперед безостановочно. Не знаю, попались ли вам не так давно «Детство» графа Толстого и его «Севастопольские рассказы», бесподобные по правдивости и прямоте? А в опере нас теснят глупцы, ретрограды и не дают крылья расправить.

Слова его задели Мусоргского глубоко: он сам мечтал об опере и потихоньку подбирал сюжет для нее. Как тут было не взволноваться!

Стасов разворачивал картину неминуемого подъема русской музыки, он так свободно, с такой горячностью судил о ней, о живописи, о литературе, что Мусоргскому искренне захотелось стать под его знамя. И когда Стасов спросил под конец: «Так как, господа, драться с противниками намерены?» – Мусоргский отозвался, поскольку и к нему это относилось:

– Я готов, Владимир Васильевич.

– То-то, Милий. А вы говорите, мала армия! Армия есть, только воодушевить ее надо.

XI

Балакирев продолжал болеть, и Стасов навещал его часто. Всякий раз вместе с ним врывались в комнату новые интересы. Он, подобно ветру, распахивал окна и двери, и казалось, что с его приходом жизнь раздвигается, границы ее становятся шире, и виден мир, в котором должны действовать энергичные люди.

Со снисходительностью здорового человека, которому недоступны тягостные переживания, Стасов поглядывал на хозяина.

– Долго вы собираетесь прохлаждаться? – спрашивал он. – Этак всё прозеваете. Вы мне нужны, вот ведь в чем дело. Хватит валяться, давайте действовать, Милий!

– Как же действовать-то? Концерт, что ли, прикажете дать? Так публика опять не соберется. Нет, на отвесную стену не полезешь. Только и пользы от меня, что с ним занимаюсь, – он указал на Мусоргского.

– А про Ломакина что-нибудь слышали? Вот с кем я вас сведу. Надо его заполучить в ваш стан: большая силища.

– Кто ж такой этот Ломакин? – с деланным безразличием спросил Балакирев.

Он был наслышан о Ломакине и сам интересовался его деятельностью, но, раз уж зашел разговор, предпочел узнать, что расскажет Стасов.

Усевшись со всеми удобствами, вытянув длинные ноги, тот стал с обстоятельностью сверхобразованного и все знающего человека рассказывать своим новым друзьям:

– У Шереметева был управитель. Сын этого управителя с ранних лет обнаружил такое яркое дарование, что граф решил поручить его попечениям своего регента-итальянца. Тот занимался с мальчиком настолько усердно, что через несколько лет ученик уже крепко стал на ноги и смог помогать регенту в его занятиях с хором. А когда учитель умер, никого лучше не нашлось на его место, как сей юноша. Было в то время Гавриилу Ломакину всего восемнадцать лет. Нужно сказать, что и тогда уже шереметевский хор представлял собою довольно слаженный коллектив, однако молодой регент задался дерзкой целью – сделать из него нечто из ряда вон выходящее.

– Так вы про шереметевскую капеллу рассказываете?

– Ну разумеется. Приходилось вам ее слушать?

Для Мусоргского это прозвучало чем-то новым, а Балакирев, хотя и знал о капелле, ни разу не слышал ее.

– Ведь это прелесть что такое, на удивление всей Европе! Кто

из знаменитостей ни приезжал в Петербург: Виардо, Лист, Берлиоз, – старались послушать выступление хора. Иностранцы в один голос признают, что это чудо из чудес.

– И вы видите в этом заслугу Ломакина?

– У нас, господа, хоров много, но такого, как шереметевский, нет ни одного. В ком или в чем тут секрет? Хор, подобранный из мальчиков, вывезенных из графских поместий, звучит так, как ни один, пожалуй, в мире: чистота безупречная, звучание такое, какого нигде больше не услышишь, – мягкое, а когда нужно, мощное, потрясающее своей мощью. Малолетние певцы, за которых родителям платили мизерную сумму, попади они в другие условия, ничего особенного не достигли бы. Глинка тоже пробовал обновить придворный хор, вывезя из Малороссии способных крестьянских детей. И добился бы, если бы не помешал вреднейший Львов. А Ломакин добился, потому что сил на воспитание талантов не пожалел: сам следил за развитием голосов, сам обучал всем предметам. Это руководитель заботливый, строгий и добрый. С течением времени он выработал такие приемы, которые дали удивительнейший результат. Словом, господа, Ломакин – образец русского самородка, достигшего высочайших вершин хоровой культуры. Вот я с кем хочу вас свести, Милий… Чего вы так на меня глядите?

Балакирев во время рассказа привстал. Он слушал с напряженным вниманием, точно пожирая глазами собеседника.

– Мне подходит, – сказал он. – Мне такой человек нужен для некоторых моих планов.

– Ведь в чем горе-то? – продолжал с горячностью Стасов. – Концерты даются редко, публика проникает только избранная. Стало быть, те интеллигентные люди, которые сумели бы по достоинству оценить хор, не знают его. Из такой капеллы сделали тепличное растение!

– Познакомьте меня с Ломакиным, – повторил Балакирев. – У нас с ним, может, что и получится.

– Клюнуло, так я и думал! Вы вот что: выздоравливайте поскорее, довольно хворать. На той неделе, кажется, должно быть выступление. Я тем временем получу для вас разрешение послушать. Познакомитесь с хором, а там поразмыслим, как дальше действовать.

На следующей неделе Балакирев стал уже выходить; он, Стасов, Кюи и Мусоргский отправились в шереметевскую церковь на духовный концерт.

Небольшая церковь была полна – собрались военные, аристократия, петербургская высшая бюрократия; были среди публики и музыканты. Стасов вполголоса называл товарищам то

одного, то другого. Под сводами церкви он чувствовал себя так же свободно, как и в маленькой комнате Балакирева. Только из уважения к тому, что вокруг настроились на торжественный лад, он говорил несколько тише и не так широко жестикулировал. Кюи, рассматривая публику, иронически щурился; Балакирев сумрачно и недоверчиво посматривал по сторонам. Что привело сюда это блестящее общество? Любовь к музыке? Нет, скорее любопытство, слава, которой пользовалось шереметевское детище. Раз иностранцы почитали своим долгом послушать его, стало быть, им тоже следовало узнать хор поближе. Нет, Балакирев не верил вкусу публики, собравшейся на концерт.

И вот началось исполнение. Полный, с округлым лицом, высокого роста регент вышел из левого придела, а вся масса хористов – из правого. Они разместились полукругом, один ряд над другим: внизу – мальчики, выше – подростки, наверху – взрослые певцы. Ломакин сделал скупой жест, и в церкви все вдруг преобразилось. Могучее звучание понеслось над толпой к сводам. Гармония была дивная по чистоте, оттенки – полные необыкновенной мягкости и послушные руке регента. Даже на лицах светских невежд появилось выражение сосредоточенного внимания.

– Каково? – зашептал Стасов, наклонившись к стоявшему рядом Балакиреву. – Силища какая! А отделка? Прямо ювелирная!

Чем-то почти нереальным, сохранившимся от далеких воспоминаний детства, повеяло на Мусоргского. Слышал ли он что-либо подобное в свои ранние годы? Наверно, нет. Но ему казалось, что именно в детстве до него доносилось такое же звучание – могучее, тончайшее по нюансировке. Эта музыка заставляла думать о том, что мог бы сделать он сам, имей он свободу и распоряжайся собой вполне. Ах, как ему захотелось создать нечто такое же полнозвучное!

Балакирев, сосредоточенный, суровый и бледный, следил за каждым жестом руководителя хора. Он был так напряжен и так прикован к исполнению, точно каждый взмах исходил от него и пение рождалось от его движений. Ему приходилось видеть за дирижерским пультом Рубинштейна, Карла Шуберта и вообще всех, кто выступал в Петербурге, но ни один из них не задел его так сильно и не был так близок к тому, как понимал роль дирижера он сам. Казалось, в Ломакине многое должно было быть ему чуждо: и направление музыки, и этот высокий церковный стиль, – но искусство, видное в каждой фразе, законченность и красота были выше преград, стоявших между исполнителями и слушавшим их Балакиревым. Он вспомнил то воодушевление, с

которым дирижировал сам, еще юношей, в Нижнем. Он почувствовал, как ограбил и сковал его холодный Петербург. Слушая в исполнении хора кантату Баха, Балакирев мысленно дирижировал берлиозовским «Осуждением Фауста», глинкинским «Славься».

Концерт, в который были включены произведения Палестрины,[iv] Орландо Лассо,[v] Бортнянского, состоял из одного отделения. Перерыва не было. Слушатели, не теснясь, сохраняя ту же строгость, что и во время исполнения, выходили из церкви. Поневоле Балакирев прислушивался к тому, что говорилось вокруг.

Хвалили музыку, хвалили капеллу, но на всех суждениях лежал оттенок барственной снисходительности. Точно все были уверены, что именно для них потрудились певцы, именно их признание хотел получить регент. И они признавали так, как избалованный хозяин признает искусство собственных поваров.

– Все же о хоре, – заметил Стасов вполголоса, – говорят с большим уважением, чем об опере. И не потому, что тут слаженно и хорошо, а там дурно, – ведь и там много отличного. Но моды на национальную оперу у нас нет, поэтому можно слушать ее кое-как, с этаким полунебрежным видом. Модест, – обратился он к молчавшему Мусоргскому, – а вы почему безучастны? Или концерт не понравился?

Тот посмотрел удивленно, не понимая, как можно об этом спрашивать.

– Кюи – тот даже шутить перестал; Милий, я вижу, задет за живое; а у вас вид совиный.

Мусоргский ответил с усилием:

– Посмотрел я, как господа офицеры слушают, и стало мне тошно: неужто и я такой же никчемный?

– Вы? – откликнулся Стасов. – Музикус среди музикусов? Да зачем вам себя с ними сравнивать? И к чему эта мерихлюндия? Я бы на вашем месте после такого концерта еще злее засел за писания.

Вскоре они разошлись. Балакирев и Стасов пошли вместе. Разговор снова зашел о концерте: друзья деловито обсуждали достоинства исполнения.

– Вот, Милий, оправитесь после болезни совсем, тогда станем думать о деле. Я вас не без умысла сюда привел.

– Да и у меня умысел есть, – отозвался тот коротко, – но об этом толковать прежде срока не хочется. Мусоргский меня сегодня огорчил.

– Он, правда, какой-то вялый.

– Не пойму, что с ним. Как увижу меланхолию на лице,

застывшее выражение, зло даже разбирает. Побить его иногда хочется, честное, слово! Я сегодня раза два на него взглянул: точно и не слушает, а посторонним занят.

– Ну, уж наверно, слушал, – заступился за него Стасов. – Дошло, не думайте. Да он молод еще, не определился.

– Я в его годы был другой. Флегматичность его мне просто противна.

– А я, Милий, первому впечатлению верю. Мусоргский мне, как у вас в первый раз его увидел, полюбился. Нет, я многого от него жду.

Балакирев с сомнением, точно тот его не убедил, пожал плечами:

– Не знаю, выйдет ли толк из него. Не уверен.

XII

Мусоргский был достаточно чуток: он заметил, что друзья недовольны им. Объяснить, почему он иногда выглядит таким ко всему равнодушным, ему было трудно. Его отягощало теперь другое. Сегодня во время концерта Модест почти решился на то, что другим покажется неоправданным и смешным: уйти из полка, перерезать нити, связывающие его с офицерской средой. Посоветоваться было не с кем. Он знал: друзья его шага не одобрят, мать взволнуется, устрашится, но отговаривать не станет, а брат будет решительно против.

Друзья готовы хвалить его за успехи, но того не понимают, что служить в одно время двум таким богам, как музыка и офицерская гвардия, невозможно. Он слишком слаб, чтобы, находясь в офицерской компании, не выполнять ее требований. И он слишком горячо любит музыку, чтобы не следовать ее предписаниям.

Пока что он и не композитор. Балакирев сколько ни хвалит, а в будущность его до сих пор не поверил. Единственное, что за ним признают, это рояль; где бы ни собрались музицировать, без него дело теперь не обходится. Балакирев и тот рад поиграть с ним в четыре руки. Что ж, на худой конец, станет пианистом, но из полка уйдет все равно. Сколько ни говорил себе Мусоргский, что решать надо самому, ему хотелось, чтоб друзья одобрили его шаг.

– Как, маэстро? – обратился к нему в следующую встречу Стасов. – Потешиться в четыре руки согласитесь или я вам не пара?

Мусоргский без разговоров подошел к инструменту. На пюпитре лежала «Фауст-симфония» Листа.

– Меня пустите на вторую партию, – попросил Стасов, – а то я тут наковыряю.

На этот раз Мусоргский был в ударе и играл особенно хорошо. Стасов, не скрывая своего восторга, то и дело приговаривал:

– Ну и молодчина! У вас какая-то хватка особенная… Вот ведь какой пассаж подцепил, а я чуть было не сорвался!.. Аккорды как будто вытачивает! Один только Милий выше, а других, равных вам, нет.

Балакирев тоже хвалил его во время игры.

Мусоргскому показалось, что минута самая подходящая.

Когда сыграли «Фауста» до конца, он обратился к друзьям:

– Мне ваш совет нужен, – начал он независимо. – Хочу уйти

из полка.

Балакирев посмотрел на него удивленно, затем обратился к Стасову:

– Знаете, Бахинька, он помешался.

– Нет, это твердое мое заключение, иначе не могу.

Стасов сделался строже. От восторгов его не осталось и следа.

– Да много ли времени берет этот дурацкий полк? Ну несколько часов, ну полдня! Чем он вам так мешает?

– Мешает, – упрямо ответил Мусоргский.

– Чем, скажите? Общество пустое и бездельное? Да плюньте вы на него! Вам писать надо, ну и пишите и ни на что больше не оглядывайтесь.

– Так я не умею. Сама мысль о полке противна. Невозможно мне быть композитором и офицером.

Балакирев язвительно заметил:

– Был в России поэт не из последних – Михаил Юрьевич Лермонтов. Он ваше подпрапорщицкое училище кончил и до последнего дня жизни ходил в офицерах. Ну чем вам не пара?

Защищаясь не столько доводами своими, сколько упрямством, Мусоргский независимо возразил:

– Что мог позволить себе Лермонтов, того я позволить себе не могу.

– Да что вы делать будете, если уйдете? Сами же говорили, что дома туго приходится и мать из последних сил поддерживает семейное благополучие!

– На что-нибудь я все же горазд? Вы хвалите меня за игру: ну, аккомпанировать где-нибудь стану, в таперы пойду.

– На благотворительных вечерах – пожалуйста, отбоя от просьб не будет, – сказал Стасов с расхолаживающей трезвостью, – а чтоб за деньги – не знаю, Модест. Сомневаюсь.

Мусоргский стоял на своем, хотя убедить их не удавалось. Он понимал, что они не настолько верят в его даровитость, чтобы согласиться с таким смелым шагом.

Ушел Мусоргский расстроенный вконец. По пути он зашел в ресторан. Задумчивый, обиженный и печальный, он долго тянул из бокала вино, думая, как же быть дальше: может, в самом деле они лучше разбираются в жизни и знают, что его ждет? Но что бы ни ждало, Мусоргский готов был ко всем испытаниям, только бы доказать свое право стать музыкантом.

Домой он пришел поздно, грустный, но примиренный.

Юлия Ивановна еще не спала. Увидав, что сын странной, нетвердой походкой вошел в столовую, она заботливо справилась:

– Что с тобой, Моденька? Да ты и печален, я вижу.

Невыразимо грустно было видеть, что сын, которого она по-прежнему считала маленьким, хотя ему уже девятнадцать лет, привыкает к вину. Пусть это потачка товарищам, полковым привычкам, но ведь оно отражается на характере. Как соединить пагубную привычку с его душевной чистотой?

Никто так не знал Модеста, как мать: она видела всю его деликатность и прозрачную чистоту. И вот он, добрый, виноватый и грустный, смотрит на нее, а на ногах стоит нетвердо.

– Милый, – сказала Юлия Ивановна мягко, – поди, голубчик, спать.

Модест кивнул, но не отошел. Он смотрел на мать, ему хотелось в чем-то признаться и что-то ей высказать.

– Что, Моденька? – спросила она.

– Из полка, маменька, ухожу.

В нетвердости, с какой это было сказано, была тем не менее упрямая нота – Юлия Ивановна почувствовала.

– Модя, а как же жить тогда? Филарет думает о женитьбе, ему нужны средства, а средств мало.

– От вас, маменька, я просить ничего не стану. Потребности у меня скромные.

– Ведь ты слабый, – продолжала мать с сочувствием и тревогой, – тебе будет трудно. Как же ты станешь существовать?

Модест поцеловал ей руку и повторил:

– Мне немного надо. А так будет лучше: для меня свобода выше всего.

Он ушел к себе, несколько успокоенный тем, что мать не осудила его. При мысли, что он в эту минуту не одинок, стало легче. О друзьях Мусоргский думал сейчас без обиды: разве ж они могут знать, о чем он мечтает? Разве вправе он требовать, чтобы другие проникли в его душу и поняли, что с ним происходит? Ведь он пока не утвердил себя в их мнении. Мать – та проникла чутьем в его помыслы. Что ж, спасибо за это ей: накануне такого решения пусть хоть один человек признает, что иначе ему поступить нельзя, – свобода должна быть превыше всего.

С этими немного грустными, но утешительными мыслями Мусоргский уснул в ту ночь.

XIII

И вот не стало стеснительного мундира. Не нужны больше ни гвардейская выправка, ни дежурная офицерская вежливость. Вместе с привычками и кастовыми правилами Мусоргский постепенно освобождался от нелепых воззрений среды. Многое, впрочем, осталось: слишком прочно вошло оно в натуру Модеста. Друзья иногда подтрунивали над ним, уверяя, что и вежливость у него чрезмерная, и лоск и щеголянье французской речью неискоренимы. Но что в нем происходит перемена, это видели все.

Менялся Модест неровно, странно, но менялся в лучшую сторону. Быть может, в движениях появилась ленца, зато в высказываниях он стал независимее и смелее и читать начал значительно больше.

Он приносил домой книги охапками – по истории, философии, естествознанию – и глотал с жадностью новообращенного. Бывая у Стасова, он встречался с литераторами, публицистами, людьми науки и тоже набирался знаний.

Нескладность его сохранилась. Случалось, сказав что-нибудь не очень понятное и довольно многозначительное, он ловил на себе чей-нибудь насмешливый взгляд. Будучи гордым и скрытным, Мусоргский втайне думал: «Погодите, придет еще время – я себя покажу!»

Но там, где дело касалось рояля, его признавали все. Повсюду он был желанным гостем: собирались ли у Даргомыжского, или в комнатке у Балакирева, или у Стасовых, или у невесты Кюи, Бамберг.

Его любили не только за игру, но и за нрав – деликатный и мягкий. Мусоргский платил тем же. Особенно он привязался к Балакиреву. Пускай тот ругал его, когда Модест приносил неудачный отрывок, пускай навязывал свои мнения и вкусы, – Мусоргский всё сносил: стоило Милию сесть за рояль, как Модест подпадал под его влияние. Балакирев был требователен, обидчив, мнителен, нетерпим, но он умел быть нежным другом и в дружбе бескорыстно отдавал всего себя.

В семье Мусоргских его полюбили. Хотя Юлия Ивановна видела руку Балакирева в том, что карьера Моди испорчена и что он так увлекся музыкой, но, когда Милий Алексеевич приходил к ним, она тоже подпадала под его влияние.

Иной раз, послушав, о чем они говорят, мать, вздохнув, произносила:

– Ну, помогай вам бог, а я вам всем желаю счастья.

Если Балакирев бывал болен, она через сына передавала ему привет и посылала варенье.

– Как цыган твой? – спрашивала она. – Все горячитесь? Господи, силы какие, порывы какие, а на что все уйдет! Может, она не нужна, ваша музыка, и общество ее не оценит? Я по газетам да по афишам сужу: больше иностранное любят, на это падки, а до своего… Не знаю, Модя, не знаю…

Сделав решительный шаг, пожертвовав обеспеченным существованием, Мусоргский вскоре почувствовал, что духовные силы его прибывают. Что ни вечер – то музыка и беседы о ней. Что ни утро – работа над новыми сочинениями. В летнюю пору его послали бы со стрелковым полком в лагеря и обрекли бы на бессмысленное существование без книг и друзей, а теперь он оказался хозяином своего времени и своих мыслей.

Написано было «Скерцо» для оркестра, затем «Скерцо» для фортепьяно, соната, первые романсы. Еще прежде он пытался писать оперу по мотивам «Ган-Исландца» Гюго, теперь же обдумывал музыку к «Царю Эдипу» Софокла.

В том кругу, где вращался Мусоргский, говорили много о грядущих успехах именно русской музыки. Между тем Кюи задумал писать «Ратклиффа», Балакирев сочинял увертюру и антракты к «Королю Лиру», да и он сам увлекся античной трагедией. Может ли русский композитор полностью выразить себя в этих сюжетах? Вот о чем иногда думал Мусоргский, возвращаясь домой с музыкального собрания. Правда, Глинка тоже многое создавал на сюжеты нерусские, но бессмертная его слава неотделима от «Сусанина» и «Руслана». Даргомыжский тоже дорог всем, кто к нему потянулся, не «Эсмеральдой», а «Русалкой». Друзья часто толковали о народном и самобытном, а Мусоргский, слушая их, не в состоянии был провести границу между своим и общим, между народным и ненародным. Вот Балакирев, не выдержавший петербургской нужды, отправился к себе в Нижний. Проезжая через Москву, он бродил по ее улицам, заходил в Кремль. Москва, о которой толковали так часто друзья, которую называли в шутку Иерихоном, предстала в балакиревских письмах в ином свете: со своей стариной, с изумительной красотой соборов, монастырей, зубчатых стен и узких, стрельчатых сводов.

Прочитав его письма, Мусоргский тоже захотел ощутить вкус древней столицы, почувствовать силу ее традиций и ее старины. Петербург, город странный, причудливый, строгий, показался ему окаменелым. Он стал мечтать о поездке.

Вскоре обстоятельства сложились так, что поездка стала

возможной.

Среди поклонниц Даргомыжского была миловидная женщина, Марья Васильевна Шиловская. Она охотно пела на вечерах и обычно имела большой успех, хотя иногда фальшивила. Если кто-нибудь шепотом говорил про это хозяину, тот отвечал:

– Помилуйте, быть не может! Такая хорошенькая – и вдруг фальшивит!

Обстоятельствам было угодно, чтобы Марья Васильевна, выйдя замуж за Шиловского, стала владетельницей богатейших имений. Привязанность к музыке она сохранила и в своем поместье под Москвой продолжала традиции петербургских кружков: артисты и певцы съезжались в Глебово; тут устраивались музыкальные вечера, на которых пели хозяйка и гости.

Когда Шиловская приезжала в Петербург, она всякий раз наведывалась к Даргомыжскому. Среди новых его друзей Марья Васильевна особенно заприметила Мусоргского: хорошо воспитанный, приятный с лица, изящный, он играл с такой свободой, так блестяще импровизировал, что трудно было пройти мимо него. Да и кое-что из сочиненного им уже получило признание.

Встречаясь с Мусоргским на собраниях, Марья Васильевна посылала в его сторону ласковые взгляды, а то и беседовала приязненно, добиваясь его похвал. Голос у нее был красивый, густого тембра и низкий, хотя не совсем чистый, зато обладательница этого не совсем чистого голоса была хороша собой, весела и приветлива. Она кокетничала охотно со всеми: мысль, что ее окружают люди большого таланта, льстила ее самолюбию. Мусоргский поддался на кокетство и немного увлекся Шиловской.

Как-то, собираясь уже уезжать, она предложила:

– А что бы вам, Модест Петрович, приехать в Глебово? Вы человек свободный. Там мы бы и дружили с вами и музыкой занимались.

Он смутился.

Шиловская капризно заметила:

– Когда интересная женщина приглашает к себе погостить, отказываться невежливо.

– Я не отказываюсь, что вы! – ответил он торопливо. – Но, право же, могу быть вам в тягость.

– Вы несносны, Мусоргский. Молодому офицеру не пристало кокетничать.

– Если вы от души приглашаете…

– Не приглашаю, – сказала она, – а требую.

Вскоре, раздобыв кое-какие деньги, снова прибегнув к

помощи матери, Мусоргский отправился в путешествие. Впервые с тех пор, как его мальчиком привезли из Псковской губернии, он выехал из Петербурга. С той поры многое переменилось и показалось новым: поезда, на которых он никогда не ездил, кроме как в Павловск; кондуктора в касках, похожие на военных; господа, неторопливо пьющие в вокзальных ресторанах, и мужики в лаптях, которых не пускали в вагоны. После столицы противоречия русской жизни бросались заметнее в глаза. В вагоне публика толковала о постройке новых дорог, о том, что без мужика ничего не построишь и что пора дать мужику свободу, а то предприниматель, желающий принести благо стране, не сможет достать рабочих. Рассказывали о железнодорожных спекуляциях, о гнилых шпалах, о балласте, не выдерживавшем тяжести поездов, о богатых подрядах.

Мир, до сих пор незнакомый, живой, алчный, настойчивый, сытый, вставал перед глазами Мусоргского. За ним где-то был мир разутых, голодных людей. И не то чтобы тот мир он знал лучше и ближе, – скорее совестью, чем опытом и знанием он воспринимал его. В разнообразии дорожных разговоров и наблюдений приоткрывались неустройства русской жизни. Ему хотелось побольше подслушать, узнать, запомнить повадку и говор людей, с которыми он впервые столкнулся.

В Москве побыть долго не удалось. Лишь мельком он взглянул на город, проезжая на извозчике с вокзала на вокзал. Его удивило несходство с чопорным Петербургом. Извозчики, торговцы, разносчики, хлопотливая теснота улиц, сутолока и пестрота – все показалось скорее купеческим, чем дворянским. Мусоргский сказал себе, что непременно приедет сюда, чтобы взглянуть на ту Москву, которая рисовалась ему по письмам Балакирева.

До Глебова он добрался к концу дня. На станции его ждал экипаж. Серые в яблоках, резвые лошади, одной масти обе, легко взяли с места.

После короткого замощенного отрезка пути поехали по песчаной дороге. Экипаж попал на мягкую колею, и вокруг все затихло. Солнце садилось за дальний лес. Носились стрекозы, высоко в небе летала ласточка.

– Хороший день завтра будет, – сказал, не оборачиваясь, кучер и легонько свистнул в воздухе кнутом.

Лошади побежали быстрее. Мусоргский, ощущая простор и предвечернюю тишину, видя над собой ясное небо, почувствовал себя свободным от забот человеком, которого радуют и поездка, и собственное благополучие, и предстоящая встреча с хозяйкой.

Шиловское имение было не чета Кареву, поместью матери.

Там все выглядело бедновато, а тут – на широкую ногу: и аллеи деревьев, и газоны во французском стиле, и ровно подстриженные кусты, и хорошо подобранные по краскам цветы. Садовник и несколько женщин занимались поливкой. Увидав проезжающий экипаж, он приподнял соломенную старую шляпу. Мусоргский даже привстал с сиденья, чтобы тот, чего доброго, не подумал, будто он пренебрег поклоном.

Экипаж подкатил к большой, застекленной разноцветными стеклами террасе. Навстречу высыпало дачное общество: девушки, студенты, артисты. Мусоргский опешил в первую минуту, и только привычная светскость выручила его. Он пожимал руки, кланялся. Марья Васильевна знакомила его с гостями: вот это сосед по имению, эта дама прибыла с утренним поездом из Москвы, это певец, а кругом стоит молодежь, приехавшая сюда погостить. Тут всем весело и все живут беззаботно.

– Мы музицировать вечером собираемся, – объявила хозяйка. – Переоденьтесь, Модест Петрович, отдохните с дороги и приходите ужинать. А после займемся искусством. У нас и певцы свои, и хор свой, и даже капельмейстер есть.

Она представила гостя стоявшему в стороне плотному, невысокому человеку в желтой соломенной шляпе. К смущению Мусоргского, тот оказался знаменитым капельмейстером Лядовым.

– Теперь отпуска вам от рояля не будет, так и знайте, – предупредила Шиловская. – Прогулки совершать вам дозволительно только с моего разрешения и, главным образом, в моем обществе.

Мусоргский охотно подчинился требованиям хозяйки: он превратился в ее спутника, партнера, аккомпаниатора и поклонника. В доме, где главной целью жизни было удовольствие, он, с его услужливостью, деликатностью, с его талантом, пришелся по вкусу всем. Любую партию он мог исполнить, в любом ансамбле мог принять участие. Хозяйка дома была с ним нежна. Аромат легкой жизни наполнял усадьбу: нетрудно было забыть о том, что в мире существуют нужда и бесправие. Тут все было отмечено печатью изящества, и Мусоргский беспечно отдался чувствам, которыми жили тут окружающие.

XIV

Но мысль о Москве не покидала его. Спустя несколько дней, дав слово хозяйке, что вечером он вернется, Мусоргский отправился из Глебова.

В поезде все оказалось решительно непохожим на то, что окружало его в усадьбе: озабоченные пассажиры тяжело вздыхали и вытирали пот со лба, томясь не то от жары, не то от навязчивых забот. Снова перед ним был полный лишений, натруженный мир. Тот, из которого он только что уехал, теперь казался почти призрачным.

В Москве, наняв извозчика, он велел ехать ему не спеша. Здания с колоннами по фасаду чередовались с деревянными, в два этажа. В старинных церквах перед киотом теплились свечи. Извозчик, сообразив, что седок интересуется всем, что встречается по пути, давал свои пояснения. В одном месте он сообщил, что это вот здание построено всего три года назад:

– Пять этажей, домина громадная. И воровства тут было, ой-ой!

В другом месте, указав на отгороженный старым забором пустырь, сообщил:

– Тут, вашество, церковь начали строить, да полиция не дозволила – место, говорят, торговое, благости не будет. А я так соображаю: где больше торговли, там доход церкви больший. Начальству, конечно, видней, нас не спрашивали.

Доехав до центра, Мусоргский отпустил извозчика и пошел дальше пешком. Когда он стал приближаться к Красной площади, им овладело неведомое раньше чувство: все, что он прежде читал про нее, живо встало в памяти. Совсем близко был Кремль, левее возвышалось необыкновенное по совершенству и стройности сооружение – Василий Блаженный. Все было удивительно. Ощущение истории, событий, происходивших тут, охватило Мусоргского. Он осмотрел Лобное место, несколько раз обошел вокруг храма. Все поражало, и на всем лежала печать великого прошлого. То, о чем толковали не раз в доме Стасовых, теперь приобрело такую зримую полноту, точно совсем недавно происходили события, связанные с этими местами.

Мусоргский прошел через Спасские ворота и оказался в Кремле. Еще сильнее охватило его ощущение чего-то очень большого. Переходя из собора в собор, от памятника к памятнику, он жил прошлым; в воображении вставала история народа.

Насладившись тишиной, величием, торжественной пустынностью храмов и келий, он вышел наконец из Кремля.

Но и в самом городе, на его шумных улицах было много неожиданных впечатлений. Наблюдая за толпой, за торговцами, наслушавшись в трактире у Самарина разговоров, привыкнув к новому для него московскому говору, Мусоргский продолжал жить в той же атмосфере старины, истории. И как знать: может, именно в тот день впервые родилась, пусть еще не осознанная, идея создать когда-нибудь произведение, в котором прошлое России и ее народа были бы увековечены.

В Глебсво Мусоргский в тот день не вернулся. Отсюда глебовская жизнь показалась пустой и нестоящей; наедине с собой он хотел пережить все увиденное им сегодня. Но надо было с кем-нибудь поделиться впечатлениями, которые его переполняли.

Сняв номер в меблированных комнатах, Мусоргский попросил чернил. Коридорный принес в стакане теплую воду и налил в чернильницу, достав оттуда несколько дохлых мух.

– Отойдет, ничего-с, – сказал он. – Засохли-с, а их там было много. Потерпите, сударь, минуточек пять, и вполне можно будет пользоваться. Я и другому жильцу так же приготовил, недели тому две. А то ведь у нас народ какой-с? – Он улыбнулся деликатно. – Не пишут-с. Потому и засыхают, пребывая в бездействии. – И он старательно вытер тряпкой края чернильницы.

Кому было посылать письма? Кто ближе всех подходил к его настроению?

Мусоргский прежде всего вспомнил о Балакиреве.

Коридорный ушел, помешав палочкой жидкость в чернильнице. Он удалялся осторожно, на цыпочках, давая понять, что к людям, которые намерены писать, относится с полным почтением.

Мусоргский ждал, пока окажет свое действие на засохшие чернила теплая вода.

Хотелось и про храм Василия Блаженного рассказать, и про Успенский собор, и про мысли свои при виде усыпальницы царей. Необходимо было сказать, что прежде, в туманном каменном Петербурге, среди французских книг и итальянской оперы, сочиняя разные «сувениры», он был, в сущности, человеком без корней, без глубокого ощущения родины, и только теперь, прикоснувшись к старине, к истории, ощутив ее величие, вспомнив глинкинского «Сусанина», он впервые умом и сердцем почувствовал себя художником, мечтающим всей силой данных ему возможностей служить родному искусству.

В Глебово Мусоргский вернулся на следующий день. Ни одного из поручений, данных хозяйкой, он не выполнил, однако

возвращался по пыльной дороге усталый, но очень довольный.

Узнав о его прегрешениях, Шиловская сказала с притворной строгостью:

– Теперь отсюда пускать вас больше не будем. Не видать вам больше Москвы! Весь вечер вчера мы прождали, музыка из-за вас была сорвана. Нет, Модест Петрович: теперь только при мне будете, и от меня – ни на шаг!

Мусоргский, выслушав этот приговор, вежливо поклонился. Он обещал впредь быть послушным во всем.

XV

Жизнь идет своим чередом. В таком городе, как Петербург, люди, случайно познакомившись, могут долго потом не встречаться и даже друг о друге забыть. Но если интересы их совпадают, если интересы эти устойчивы и живучи, – рано или поздно людей, случайно встретившихся, прибьет к одному берегу.

Придя на вечер к своему знакомому, профессору Ивановскому, химик Бородин застал среди других гостей человека, с которым случай свел его года три назад на дежурстве в госпитале. Мусоргский был на этот раз не в мундире офицера, а в штатском. Перед Бородиным оказался не изящный, одетый с иголочки юноша – молодой музыкант возмужал, окреп, даже полнота какая-то появилась, но узнать его было нетрудно. Светскость сохранилась; при этом Мусоргский стал увереннее, тверже, и жеманства не осталось вовсе. Он словно остепенился, отбросил излишества светского поведения, отказался от вычурности манер.

Они обрадовались встрече и, отойдя в сторону, стали расспрашивать, что с одним и другим за это время произошло. Бородин, выросший в ученого, по-прежнему был занят в лаборатории, работал со студентами, собирался с научными целями за границу, но что было ему рассказывать о себе? В этом зале не он один представлял мир ученых: вокруг были профессора, люди точного знания. А вот Мусоргский – тот, оказывается, далеко продвинулся в области, которая влекла к себе Бородина с прежней силой. Суждения его об искусстве стали более зрелыми, знания – глубже и шире. Он переиграл за это время так много произведений, что куда там было Бородину с ним состязаться!

И все же Бородину показалось странным, что молодой офицер покинул военную службу и посвятил себя только музыке.

– Стало быть, вы вполне уверились в своих силах? – спросил он.

– Всякое решение требует смелости, – ответил Мусоргский рассудительно. – Уж очень не совпадали интересы моей компании с моими. Шаг был рискованный, спору нет, зато я, по крайней мере, могу свободно собой распоряжаться.

– Завидую вам, – вздохнул Бородин, – хотя к науке привержен сильно.

Все, чем он обладал: уважение ученых, любовь студентов, интерес к исследованиям, – не заглушало его любви к музыке.

Однако каждый шел тем путем, который сам для себя избрал.

Чем больше он расспрашивал, тем больше убеждался в том, как далеко шагнул Мусоргский в своем развитии. Прежде обоим нравился Мендельсон – теперь другие имена были на его знамени; среди них, наряду с Глинкой, одним из первых стояло имя Шумана, которого Бородин не знал вовсе. С ревнивым интересом прислушивался он к словам музыканта. В суждениях Мусоргского почти не было ничего показного, он не старался поразить собеседника и высказывался основательно и убежденно.

Профессор Ивановский давно поглядывал в их сторону: гости надеялись послушать музыку, а беседе не предвиделось конца. Наконец Ивановский не выдержал.

– Извините, господа, – сказал он, подходя, – на вас все смотрят голодными глазами. Побалуйте нас, поиграйте.

Бородин, давно знакомый с хозяином, встал.

– Только я нот с собой не захватил.

– А может, в четыре руки поиграете? Я слышал, вы о Мендельсоне толковали: у меня как раз переложение его а-мольной симфонии есть.

– От средней части увольте, – капризно отозвался Мусоргский. – Не переношу ее: какая-то песнь без 'Слов, тягучая, как все его песни… Увольте, право.

– Это, Модест Петрович, музыкантская нетерпимость, – ответил Ивановский. – Наш брат любой хорошей музыке рад, и Мендельсон для него композитор по вкусу. – Он дружески подхватил обоих под руку и повел к роялю. – Всегда бывает приятно удалиться от привычного: нас окружают точные величины, а тут некая туманная красота…

Сыграли две части, первую и третью. От второй Мусоргский все-таки отказался. Сыграли еще несколько вещей, приятных гостям. Потом снова завели разговор.

Заметив, что гости больше не обращают на них внимания, Мусоргский стал негромко наигрывать отрывки из шумановской симфонии. Свобода исполнения, умение оттенить самое важное и при этом не упускать из вида боковые, полные очарования мысли, замечания, которые он делал, – все поразило Бородина. Видя такого благодарного слушателя, Мусоргский был рад возможности показать себя. Точно после узды, в какой его держали Балакирев и Кюи, нашелся наконец собеседник по нем – знавший меньше, но воспринимавший искусство так же, как он.

Все казалось необычным в том, что слышал Бородин. При мысли, что музыканты где-то собираются, обсуждают новые сочинения, он почувствовал сожаление: может, лучшие его годы проходят вдали от музыки и потом будет поздно наверстывать?

«Не примкнуть ли, пока не упущен срок, к ним?» – подумал он.

А Мусоргский, наигрывая, продолжал делать свои замечания: иной отрывок он называл сухой математикой, в другом находил поэтическое начало: третий хотя и считал изящным, но осуждал за отсутствие глубины. Уверенность, с которой он судил, положительность, способность проникать в замысел произведения больше всего удивили Бородина.

Их беседа, перемежавшаяся игрой, была непонятна присутствующим. Сначала еще слушали, что наигрывает Мусоргский, потом перестали слушать и занялись чаепитием.

Ивановский два раза уже приглашал:

– Господа музыканты, прошу вас за стол, всего не переговорите! Это как в науке – чем дальше, тем глубже, а дна все равно нет.

Но те продолжали, находя в этом разговоре особенную прелесть.

Бородин попросил Мусоргского сыграть что-нибудь свое. Для вида тот сначала отказался, однако долго уговаривать себя не заставил:

– Я вам «Скерцо» свое покажу.

Когда Мусоргский дошел до средней части, он процедил сквозь зубы:

– Тут у меня колорит восточный…

Как будто считал нужным предупредить, что если кое-что покажется слушателю несообразным, так это потому, что замысел был таков. Но именно несообразность, а вернее, новизна больше всего и поразила Бородина. Естественность, реализм, правдивость, с какими была трактована восточная тема, заставили вспомнить о Глинке и его отношении к восточному материалу. Бородин опять с огорчением подумал, что он в музыке отстает, в то время как группа талантливых смелых людей неудержимо шагает вперед. Имя Балакирева было ему и прежде известно, но атмосферу балакиревского кружка он впервые почувствовал с такой явственностью. Еще сильнее захотелось присоединиться к ним, найти для себя поддержку в их обществе.

Впечатление от встречи было неизгладимо большое. Хотя и на этот раз в мелочах, в том, как Мусоргский вел себя за столом, видна была его склонность порисоваться, за этим стояло нечто более серьезное, крупное и многообещающее. Больше всего поразило то, что молодой музыкант рассматривает искусство как важное и общее дело многих людей.

Пожалуй, именно в тот вечер Бородин понял, что нельзя творить в одиночку, прячась от других и ничего никому не показывая. Он почувствовал, как нужна ему среда людей,

посвятивших себя безраздельно искусству.

XVI

Еще одного человека любовь к музыке привела в балакиревский кружок. Долговязый, нескладный, застенчивый и молчаливый, он появился там совсем еще юношей, почти подростком.

Когда Римскому-Корсакову исполнилось двенадцать лет, его поместили в морской корпус. Мальчик несколько лет изучал там науки, относящиеся к мореходству. Ему пришлось плавать и на шлюпках и на кораблях. Однажды он чуть было не утонул, стоя во время тяги вант под марсом бизань-мачты и сорвавшись оттуда.

Подросток был тих, скромен, но храбр. Когда его, как новичка, попробовали подчинить себе кадеты постарше, он сумел себя отстоять и показал свою независимость. Всеми своими чертами подошел бы воспитанник к морскому делу: старательностью, выносливостью, упорством, – если бы не особенная, страстная приверженность к музыке.

Занятия музыкой начались еще дома. По желанию родителей, во время пребывания в корпусе для занятий с мальчиком был приглашен педагог. На рояле тот, впрочем, играл слабо, потому что по профессии был виолончелистом. Тем не менее кадет ходил к нему заниматься и выполнял все его указания.

Жизнь в корпусе текла однообразно, муштра была не из легких. По субботам кадетов выстраивали и за хорошие отметки, полученные в течение недели, награждали яблоками, а за плохие пороли публично.

Субботние вечера подросток проводил в семье у знакомых, где с интересом относились к музыке. Его часто водили с собой в театр, на оперные представления. За две-три зимы он прослушал Флотова, Верди, Россини, Глинку, Мейербера. Посещали больше итальянскую оперу – русская была не в чести. Слушая, как превозносят Россини и как дурно говорят о «Руслане», Римский-Корсаков из детского послушания поддакивал.

Заниматься музыкой его заставляло необъяснимое влечение. Он пробовал перекладывать оркестровые произведения для рояля, сам подбирал вариации к готовым темам. Учитель, виолончелист Улих, был слишком слаб, чтобы помочь ему в этих попытках. Но у него хватило добросовестности объявить однажды, что делать с мальчиком ему больше нечего и следует обратиться к более сведущему педагогу.

Сам же Улих и отвел Римского-Корсакова вскоре к пианисту Канилле. Это был музыкант другого масштаба – образованный, тонкий и чуткий. В подростке он угадал способности незаурядные

и решил, что вести его надо не обычным путем, а другим, более отвечающим его дарованию.

В присутствии юного музыканта часто говорилось, что Россини гениален, а Глинка слаб: «Сусанин» еще туда-сюда, а «Руслан» никуда не годится. Но, попробовав поиграть тайком ото всех отрывки из «Руслана», Корсаков испытал чувство, близкое к восторгу. Ему говорили, что Бетховен скучен, а он послушал в университетских концертах его симфонии и так ими увлекся, что стал сам перекладывать для рояля.

Собственными извилистыми путями приходил Римский-Корсаков к пониманию того, что такое истинное искусство. Оно влекло к себе все больше, и все свободное время он просиживал за нотами, переписывая то, что понравилось, перекладывая фортепьянную музыку на оркестр. При этом об отдельных голосах оркестра он не имел понятия.

Канилле решил, что важнейшая цель занятий с учеником вовсе не в том, чтобы сделать из него пианиста. Он посоветовал кадету заняться сочинением и, когда тот принес первые свои опыты, поддержал его. Высокий, худой, в очках, Канилле, казавшийся суховатым с виду, на самом деле был артистом с пылкой душой. Когда ученик с сомнением рассказал, что вокруг говорят о Глинке, Канилле, не задумываясь, объявил, что Михаил Глинка, сколько бы его ни ругали, есть великий композитор России, а «Руслан», непризнанный и почти освистанный, – едва ли не лучшая опера в мире.

Поддержка эта помогла ученику больше поверить в собственный вкус. Она так его окрылила, что за короткое время он сочинил ноктюрн, скерцо, а затем, не имея понятия о том, как пишут симфонию, принялся даже сочинять симфонию.

Давая уроки, Канилле со временем не считался вовсе. Он способен был просидеть два часа и больше, слушая опыты своего даровитого ученика, проигрывая в четыре руки разные произведения или просто беседуя с ним.

Старший брат кадета, тоже моряк, заметил, что занятия эти отражаются на успехах юноши в корпусе. Решив положить конец этому увлечению, он объявил однажды, что больше тот заниматься не будет. Тогда Канилле предложил давать уроки бесплатно. Его привязанность к ученику в конце концов победила сопротивление брата.

В беседах, которые вел на уроках Канилле, ученик услышал имена Балакирева, Мусоргского и Кюи. В одном из концертов были исполнены отрывки из балакиревского «Короля Лира», а в другом – «Скерцо» Мусоргского. Канилле, сам увлеченный работами музыкантов нового направления, не раз говорил о них.

Он даже обещал свести Римского-Корсакова к тем музыкантам, о которых рассказывал ему.

В самом деле, однажды он пришел в корпус и, держа в руке шляпу, торжественно предупредил:

– В воскресенье мы с вами отправимся. Господин Балакирев поручил мне привести вас к нему. Я надеюсь, вы довольны этим?

Скупой петербургский день слабо проникал через высокие окна в коридор. Сквозь них было видно пасмурное ноябрьское небо. Лохматое темное облако неслось прямо на дом.

– Я не знаю, что можно ему показать, – сказал ученик неуверенно.

Канилле поправил очки на носу и с тем же торжественно-значительным выражением произнес:

– Может быть, вы от меня скоро уйдете, господин Римский-Корсаков, но я выполняю свой долг музыканта. Позвольте дать вам совет опытного человека: раз у вас в душе нечто есть, надо больше верить в себя. Возьмите все, что написано за последнее время, – там оценят ваши возможности, как они того заслуживают. Люди, сами полные энергии, имеющие что сказать, честно определят размеры ваших способностей. Мне кажется, я в вас не ошибаюсь.

Он протянул руку, прощаясь, и Римский-Корсаков пожал ее с горячей благодарностью. Он проводил учителя через весь коридор, довел до лестницы. Дальше идти не разрешалось.

Канилле медленно сошел по лестнице. Служитель подал ему пальто. Остановившись перед зеркалом, Канилле надел шляпу и вышел, не оборачиваясь, желая сохранить в памяти ученика ощущение торжественности и значительности встречи.

Дни до ближайшего воскресенья тянулись для Римского-Корсакова нестерпимо медленно. На занятиях он просиживал с трудом. Даже с хором, который сам же организовал, было трудно в эти дни заниматься.

Когда вечером кадеты предложили ему устроить спевку, Корсаков отговорился недосугом. Потихоньку от всех он просматривал свои сочинения: они казались ему слабыми, несостоятельными; он мучился при мысли, что Балакирев высмеет его и больше к себе не позовет.

Наконец долгожданное воскресенье наступило.

Канилле, когда Римский-Корсаков пришел к нему, был уже готов: он стоял в пальто.

– Ну-с, – встретил он ученика, – взяли с собой все, что заслуживает внимания?

Тот показал на сверток, который довольно неуклюже Держал в руке.

– Что ж, пошли, господин Римский-Корсаков. В добрый час!

С залива дул резкий ветер. Он настигал шедших и бил в спину, заставляя идти быстрее. Канилле придерживал шляпу и опасливо поглядывал на кадета. Впрочем, тому было не привыкать к ветрам.

Уже когда подходили к дому, Канилле счел нужным предупредить:

– Господин Балакирев живет более чем скромно. Вы выше этого, я знаю, потому что в душе вы артист, однако я счел полезным сказать, чтоб вы не испытали некоторого разочарования.

Действительно, комната, куда они пришли, выглядела бедно: мебель была старая, недорогая, сиденья на стульях потертые. Зато поразило то, что тут так много книг, нот, что на стене висят портреты музыкантов; наконец само общество, которое он тут застал, поразило Римского-Корсакова.

Длинный человек в мундире военного инженера, в очках и с бородкой оказался композитором Кюи; плотный молодой человек с чертами лица мягкими и добрыми, сидевший около окна, – Мусоргским. Хозяин, тот самый Балакирев, слава о котором понемногу распространялась среди петербургских музыкантов, сидел за роялем.

– Привели? – встретил он вошедшего. – Вот и хорошо, сейчас побеседуем.

Он внимательно посмотрел на долговязого смущенного юношу, затем обратился к Мусоргскому и Кюи:

– Господин Канилле рассказывал мне, что тут есть что послушать.

– Однако он малоопытен, – добавил от себя Канилле, занимая место около двери.

Кюи, державший в руках партитуру, спросил, не обращая внимания ни на Канилле, ни на его ученика:

– Милий, в этом месте, – он ткнул в партитуру пальцем, – полный состав дать или нет смысла? Как вы советуете?

Балакиреву не понравилось, что церемония предстоящего испытания нарушена. Он недовольно потянулся за партитурой.

– Тут вообще у вас много глупостей, – заметил он.

– Какие же глупости? Тему я поручил виолончелям; струнные остаются на одном пиццикато.[vi] Потом вступают деревянные и валторны. А после этого мне нужны гром и ярость: у меня там тромбоны и труба, а вот деревянных парный состав или тройной, я не решил.

Балакирев стал проигрывать. О гостях он тоже, казалось, забыл.

Корсаков так и остался стоять около Канилле. Когда к роялю подошли Кюи и Мусоргский, ему захотелось вытянуться и посмотреть, как выглядит настоящая рукописная партитура. Канилле, прямой и неподвижный, застыл в той позе, в какой уселся.

Возник спор: Балакирев говорил, что инструментовать так не стоит, потому что получится слишком грузно. Кюи ссылался на Листа, у которого такие последования встречаются будто бы часто. Балакирев на память стал играть отрывки из листовского «Тассо», затем из «Мазепы», потом ему понадобился отрывок из берлиозовского «Римского карнавала».

Молчаливый свидетель этого спора, молодой долговязый кадет в форме, с высоким твердым воротничком мундира, словно замер, почувствовав себя в том мире, который до сих пор был ему недоступен.

Когда Кюи и Мусоргский отошли от рояля, хозяин комнаты вспомнил наконец о своих посетителях:

– Извините, мы тут отвлеклись. Может, это и небезынтересно для вас. – Он обратился к кадету: – Ну, а теперь послушаем вас.

Корсаков, робея, подошел к роялю. Воротник врезался в шею, никогда еще ему не было так неудобно, как теперь. И рукава мундира тоже мешали ему. Однако он начал показывать то, что принес с собой. Сохраняя полную неподвижность лица, он сыграл и скерцо, и ноктюрн, и даже начало симфонии.

Балакирев нетерпеливо потирал руки, посматривая в сторону своих друзей. В глазах его был блеск необыкновенный. Он вставал, садился, клал ногу на ногу, как будто усаживаясь надолго, затем вскакивал.

Когда юноша кончил играть, Балакирев обратился к его педагогу:

– Вы, господин Канилле, не обманули наших ожиданий. У вашего ученика есть дар к сочинительству несомненный. – Он обратился к Мусоргскому: – Модест, а вам как это показалось?

– Мне очень нравится, – ответил тот.

Кюи кивнул тоже.

Когда глаза Мусоргского встретились с глазами юноши, сидевшего за роялем, он прочитал в них что-то родственное: словно узнал самого себя – такого, каким был недавно.

Балакирев обратился к Римскому-Корсакову.

– Так вам надо бывать у нас. Мы тут собираемся, играем, спорим, советы даем друг другу.

– Ну уж, друг другу! – заметил Мусоргский насмешливо.

– Они находят, будто я строг, но это неверно: я просто справедлив.

Полагая, что это уже личный их разговор, Канилле поднялся с места:

– Я рад, господин Балакирев, что мои усилия не пропали напрасно. Позвольте надеяться, что в вашем кружке мой ученик найдет поддержку и добрый совет.

Он посмотрел на Римского-Корсакова, как бы приглашая последовать за ним, но Балакирев торопливо произнес:

– Нет, пускай останется. Ему полезно послушать. Вам время позволяет побыть тут еще?

Корсаков, счастливый, сказал:

– Да.

После того как Канилле ушел, все почему-то замолчали. Корсаков, моргая, смотрел на Балакирева и не решался первый заговорить. Мусоргский, подперев лицо рукой, о чем-то думал. Кюи тихонько насвистывал, глядя на свою партитуру.

– Как там у вас вторая тема? – спросил Балакирев и, не дожидаясь, чтобы автор напомнил, стал наигрывать тему из корсаковской симфонии.

Он сыграл ее совершенно точно, ничего не изменив в гармонических последованиях. Потом заметил:

– В разработке вы слабы. Надо было вот как начать. – И он показал. – А вообще именно симфонию и нужно писать. Тут и тени итальянщины нет, вся она в русской манере, вспоена русской мелодией. И обороты речи простые, естественные. Обязательно продолжайте работу. Новые куски приносите сюда. Мы как работаем? Смотрим каждый отрывок и, если что не нравится, говорим без стеснения. Вот у Цезаря Антоновича, – он кивнул на Кюи, – есть в «Кавказском пленнике» такое место… – Балакирев сыграл это место, а потом объяснил: – В первоначальном виде оно выглядело так… – Он снова показал. – Потом автор переделал, и получилось вот что… Но и это было нехорошо, потому что тема звучала тускло. Когда мы этак сцепились с ним и поспорили, он принес то, что есть теперь.

Кюи, изобразив испуг на лице, сказал шутливо:

– Не делайте из меня предмет для разбора, Милий! Лучше возьмите Модеста.

Балакирев вернулся к симфонии Римского-Корсакова не сразу. Но, вернувшись, стал отвергать то одно, то другое, предлагал разные замены, исправлял голосоведение.

Автор ловил каждое его слово. Он уже почти благоговел перед ним. И особенно возросло его восхищение, когда речь снова зашла о работах Мусоргского и Кюи. В этом сообществе, как ни высок был авторитет Балакирева, ощущался дух товарищества и дружбы. Как ни морщился Кюи, когда дело дошло до него, он

согласился с соображениями Балакирева. И Мусоргский согласился, когда тот стал предлагать разные исправления к «Царю Эдипу».

– Работа адова предстоит, если вас послушать, – проворчал он. – Да ладно, переделаю.

– А зачем вы такие глупости написали?

– Сам теперь вижу…

Может, глава кружка был сегодня придирчивее обычного, желая приучить юношу к своим требованиям, но обаяние его было так велико, что Римский-Корсаков поддался ему с первой же встречи.

Он возвращался в корпус, не помня себя от счастья. Ветер еще сильнее дул теперь прямо в лицо, но молодой композитор не чувствовал его резких порывов. Лицо у него горело, ему было жарко. Он думал о том, что с сегодняшнего дня жизнь его получила новое направление.

XVII

Балакирев мог бить доволен: люди, составившие его кружок, обещали многое. Пускай один из них инженер, другой – бывший гвардеец, третий – моряк, четвертый – химик, пускай уже поползли насмешливые слухи об этой, как ее называли, солдатско-матросско-химической группе: при всей ее разношерстности, она объединена была чем-то общим. Они вступили в нее, обладая разными вкусами: кто преклонялся перед Мендельсоном, кто выше всех ставил творчество Рубинштейна, а кому Россини казался вершиной искусства; один немного знал раннего Бетховена, но почти не слышал его поздних, самых зрелых творений; другой впервые услышал тут имя Шумана; третьему было совсем незнакомо имя Листа. Балакирев объединил их всех. Он сумел оторвать их от того, что прежде им нравилось, и заставил полюбить то, что ему казалось самым передовым и прекрасным в искусстве. Сила его убежденности была такова, что молодые музыканты доверились ему вполне и пошли за ним.

Время было такое, что заниматься композиторством в одиночку было нельзя. Следовало заявить о себе не каждому в отдельности, а сообща, и не только сочинениями, но и требованиями, претензиями, взглядами. Время наступало бурное: в стране ждали преобразований – одни со страхом, другие с надеждой. Россия после Крымской кампании, растеряв то, что должна была увековечить палочная дисциплина Николая Первого, оказалась на распутье.

Немало находилось оптимистов, которые любое скромное послабление, шедшее от правительства, готовы были принять за нечто очень важное. Вот впервые за много лет опять появилось имя Белинского, находившееся до сих пор под запретом. Чернышевский, печатая свою работу о гоголевском периоде в русской литературе, принужден был говорить об одном человеке, без которого понимание того периода невозможно, о человеке, повлиявшем на литературу тех лет сильнее всего. Не имея возможности назвать его, он писал «один критик». Но таким критиком мог быть только Белинский, и потому цензура потребовала замены «одного критика» на «одну критику». Выходило, однако же, что именно эта критика и сыграла решающую роль в оценке гоголевского периода нашей литературы.

И вот имя Белинского вдруг позволили упоминать! Сочинения его перестали быть запретными для читателей! Это ли

не перемены?

Да что там Белинский! Пушкин был под запретом, и его сочинения долгие годы не издавались. И вот они наконец появились вновь. Разве это не являлось знамением времени и не рождало надежд?

Однако были вопросы куда более важные: как ни волновали русское общество судьбы литературы, судьба крестьянства задевала всего больнее и чувствительнее.

Об освобождении крестьян толковали повсюду, его ждали и в столице и в глухих медвежьих углах. Иные помещики уже считали себя разоренными и вопили о том, что правительство хочет пустить по миру их детей. Другие соображали, как бы надуть мужика и при освобождении сохранить всю землю.

Немногие были в те бурные годы так дальновидны, чтобы понять, что реформа, идущая от правительства, будет нищенской, куцей и, освобождая от рабства формально, не подрубит его материальных корней.

Тем временем купечество, ставшее на ноги, занялось новым доходным делом – строительством железных дорог. Их прокладывали на юг, на восток, на запад. Возникали новые районы, где благодаря железным дорогам можно было строить фабрики и заводы. Подряды на постройку министерство предоставляло с торгов. На этой почве разыгралась спекуляция и пошли в ход подкупы; денег на взятки не жалели, зато, получив подряд, строили дороги из рук вон плохо, обманывая государство. Снова шли в ход взятки, чтобы комиссии, принимавшие дороги, отнеслись снисходительно ко всем упущениям.

Страна нуждалась в дешевых рабочих руках, этого требовали интересы предпринимателей. Следовательно, освобождение крестьян должно было быть таким, чтобы нужда и голод погнали свободных крестьян на заработки.

Так выглядела Россия накануне реформ, Россия, скованная по рукам и ногам путами самодержавия, но познавшая героизм народа в дни Севастополя и Крымской кампании. Для лучших людей ее звучал «Колокол» Герцена, проникавший из-за границы нелегально. В Петербурге Чернышевский и Добролюбов доносили до читателей правду.

В балакиревском кружке их сочинениями зачитывались. Стасов, Балакирев и их друзья именно в Чернышевском и Добролюбове видели истинных выразителей дум и требований народа.

Не только о том, кто выше, Берлиоз или Вагнер, Шуман или Шопен, шла речь в кружке, но и о том, что такое идеалы художника и в чем долг его перед обществом. Музыку надо было

спустить с ее недосягаемо высокого пьедестала и приблизить к реальной жизни. Надо было убедить окружающих в том, что простой русский крестьянин Иван Сусанин, выведенный Глинкой на оперной сцене, это не восхваление царя, а гимн народу; что обманутая князем в «Русалке» Наташа – это русская женщина, гордо заявляющая о своих человеческих правах; что именно на этой почве пришли в русский романс титулярные советники, капралы и разночинные герои. Почва, которую Глинка и Даргомыжский подготовили, должна была принять позже героев опер Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина, смело принесших на сцену тему народа.

Мусоргский, чувствительный к правде, нравственно восприимчивый, встретил демократические взгляды, складывавшиеся в кружке, со всей искренностью человека, мечтающего о счастье для всех, а не для себя одного.

К событиям 1861 года, к так называемому освобождению крестьян, он, двадцатидвухлетний человек, оказался подготовленным всем тем, что говорилось в кружке и что писали Чернышевский и Добролюбов.

Отправляясь в деревню, куда переехала мать и где она не могла сама разобраться в делах, Мусоргский не сознавал себя ни помещиком, ни помещичьим сыном. К этому времени он уже стал художником, для которого его идеалы были важнее и выше узких кастовых интересов и кастовых забот.

XVIII

Было начало весны. Дороги стояли раскисшие, и почтовая карета с заморенными лошадьми, мотавшими на ходу головами и размахивавшими спутанными длинными хвостами, везла Мусоргского в родные места – в Торопец.

На почтовых станциях разговор возникал все о том же. Чиновники и помещики, пившие водку и крепкий чай, толковали о мужиках: одни – со злобой, другие – со страхом, третьи – с лукавством, давая понять, что Россия как держалась на крестьянских спинах, так и будет держаться.

Мусоргский прислушивался ко всему. Мысленно он описывал свои встречи друзьям. Вот эта забавнейшая историйка понравилась бы Милию, а та, которую он слышал на предыдущей станции, привела бы в восхищение Стасова. Вот эту при случае можно изобразить в лицах, а та просится прямо на музыку.

Крестьяне при встречах пытливо смотрят и чего-то ждут, как будто надеясь услышать такое, что сюда, в глушь, еще не дошло. Помещики хорохорятся и дают понять, что тут не глупее петербургских люди живут и устои в глуши не слабее, а покрепче столичных.

Впрочем, за бахвальством помещиков нетрудно было увидеть недовольство. Недовольны были слухами о том, будто власти либеральничают, вольничаньем газет, а особенно своими крестьянами, которых считали жуликами и обманщиками, раз они захотели после патриархальной крепостной жизни на волю. Живя под отеческим попечением помещиков хорошо, они вместо благодарности решили надуть своих благодетелей.

Мусоргский думает: «Эх, вот про этого с кокардой надо бы Милию написать!» Потом другой встречается по пути, и его тоже хочется охарактеризовать поязвительнее. Но впечатлений много, и всего не опишешь; пусть откладывается про запас.

Почтовая карета везет его дальше, однообразно поскрипывая и по временам застревая в грязи. Кучер что-то напевает; хорошо бы попросить, чтобы он повторил запев: что-то послышалось в нем самобытное, здешнее, псковское, милое с детских лет.

Мусоргский хотел было вытащить из саквояжа записную книжку, но в возке трясло и записывать было неудобно.

И вот уже Торопец. На въезде в город встретился экипаж. Сидевший в нем полный и бравый мужчина придирчиво оглядел Мусоргского и, признав, видно, за своего, неохотно приподнял шляпу. Будочник на всякий случай снял картуз. Женщина, несшая на спине тяжелый мешок, сказала:

– Здравствуй, барин.

Все – и номер в здешней гостинице, и трактир, в котором Мусоргский пообедал, – отдавало глухой, заплесневелой стариной. Из бильярдной доносились удары шаров, за ними следовали либо ругательства, либо восторженные крики. Верткий, нагловатый, но при этом почтительный парень с подоткнутой салфеткой сновал по коридору и на все требования отвечал одинаково:

– Прощения просим. Сию минуточку-с.

Вечером в трактире к столику Мусоргского присели незнакомые люди и, узнав в нем приезжего, услышав, что он из самого Петербурга, стали на один манер, однообразно расспрашивать, что там делается и чего можно ждать оттуда. Когда Мусоргский, в свою очередь, спросил, что происходит тут, он услышал от самого солидного из собеседников следующее:

– Вас, сударь, настроения местные интересуют? Можно было бы так на это ответить: дворянство задето в своих святых, лучших чувствах. Оно привыкло видеть в себе оплот монархии и правопорядка, а теперь, извольте, мужик получил права! На него надо смотреть с точки зрения интересов престола: патриотизма он в себе не имеет, обожания особы монарха в нем нет, он неграмотен и темен, как дубрава. Какая может быть от него поддержка обществу? Государь наш Александр Второй, со всем присущим ему милосердием, даровал мужику права, присущие человеческому существу. Но государь, при его доброте, не мог того иметь в виду, что мужик есть жмот и хапуга. Теперь ему землю давай, а что он ее – наживал? Земля есть дворянское достояние, она дарована нам сотни лет назад. Мужик, при его жадности, еще, чего доброго, и пристройки к земле потребует. В нашем уезде, правда, не было, а в соседних отмечались случаи, когда крестьяне пробовали бунтовать и выражали преступными действиями свое недовольство. Приходилось полицию вызывать… Так вот и живем – в ожидании бурь.

Под такие разговоры Мусоргский, немного охмелевший, ушел к себе. Долго слышно было, как в коридоре раздавался то крик грубого постояльца, то бормотанье пьяного человека, то шумное и нестройное пение компании помещиков, вернувшейся из трактира. Они шумели, желая *себе* и другим доказать, что ничего-де не изменилось и как они вели себя, так и будут вести.

На следующее утро к Мусоргскому пришли двое в номер и стали приглашать на собрание местного дворянства. Они откровенно объяснили, что в их среде пошли споры и дрязги и не все, к прискорбию, сознают, что сейчас не только интересы сословия решаются, но и будущее их детей и внуков.

– В тяжкую пору, сударь, прибыли сюда. Наш общий долг друг друга поддерживать. Каждый, в ком течет дворянская кровь, обязан быть на высоте своей сословной задачи. Хотя в жилах Мусоргского текла дворянская кровь, он своей общности с дворянством не ощущал и остался равнодушным к словам посетителей. Любопытство заставило его, однако, пойти на собрание, на которое он был зван.

В коридорах и возле буфета было многолюдно и шумно. Огорченные ходом дел, дворяне лезли поближе к стойке. Добравшись до нее, они не желали освободить место для других. Тут-то и начинались самые жаркие разговоры, тут-то и развязывались языки, и все выкладывалось начистоту. Чего только он не услышал! Это были настоящие живоглоты, плантаторы. Мусоргскому стало тошно, и он пробрался в зал.

Зал, небольшой, с деревянными колоннами, на которых краска облупилась, имел вид неопрятный. Он был набит до отказа. Ораторы выступали все с раздражением. Иные потрясали руками в воздухе, другие брали больше зычным голосом. Все велось бестолково, шумно, и брани было много. Казалось бы, несколько столетий дворянство имело возможность обсуждать свои дела, а ни достоинства, ни даже пристойности внешней не накопило. Шум, взаимные упреки и взаимные оскорбления доходили прямо до неприличия и забвения всех правил.

Мусоргский вышел оттуда одурманенный, с тяжелой головой. Он испытывал чувство, близкое к отвращению. Вернувшись в гостиницу, он недолго думая решил нанять лошадей и отправиться в тот же день в Карево. Ему было все равно, останется ли во владении дворянской касты больше или меньше земли. Хотя он сам к этой касте принадлежал, ни сочувствия, ни уважения к ней у него не было.

Приезду сына Юлия Ивановна крайне обрадовалась:

– Уж я так ждала тебя, Моденька, сказать просто не могу! Тут все в тревоге. Правда, наши крестьяне хорошие и неприятностей не чинили, зато про другие поместья доходят недобрые слухи.

Ему было жаль ее, но вникать во все, что она рассказывала, не хотелось: очень уж он чувствовал себя далеким от этого.

За окнами была мгла и тишина. По-знакомому лаяла собачонка; знакомые, как будто с детства не изменившиеся голоса слышны были во дворе. Мирно горела над столом лампа с белым матовым колпаком, тоже знакомая с детства.

Он обошел комнаты, по внутренней лестнице поднялся наверх. Немного все обветшало, поблекло, и тем не менее с каждым уголком было связано множество воспоминаний. Вот комната, где он когда-то начинал учиться; вот рояль, На котором

мать показывала первые приемы игры; старые охотничьи ружья, медвежья шкура на полу, семейные портреты… Все выглядело покойным и прочным, а вокруг бушевала буря.

Мать застала его в гостиной.

– Поужинай, Моденька, чем бог послал и ложись спать. Шутка ли, такую дорогу проделал! Завтра в честь приезда вкусненькое на обед сготовим. – Заметив, что сын задумчив, Юлия Ивановна добавила: – Не ломай голову, Моденька. Как-нибудь все утрясется. На свете такого не бывает, чтоб не утряслось.

Он думал так же, но мысли о том, как надобно действовать, еще долго одолевали его и мешали заснуть. На новых началах хозяйствовать – значило поднять поместье настолько, чтобы оно верный доход приносить стало. Тут не только в умелости дело, но и кровососом надо себя показать – вытянуть из того же крестьянина, который получил свободу, все жилы. Мысль эта была ему глубоко неприятна, и, так и не зная, что он сделает и чем сможет помочь родным, он заснул с тяжелым чувством.

На следующее утро Юлия Ивановна сказала:

– Наши каревские на сегодня собрание свое назначили. Они от меня не таятся. Сходил бы, Модя, послушал.

– А надо ли? – спросил он с сомнением. – К чему им мешать?

– Нет, ты сходи все-таки.

Ему казалось, что он идет как подосланный. Через силу Модест заставил себя отправиться на собрание.

Но, попав в большую избу, со всеми запросто поздоровавшись, поговорив о том и о сем, послушав, какое тут настроение царит, Мусоргский неожиданно успокоился. Он даже обрадовался тому, что присутствует на их сходке: мужики, пожилые и помоложе, рассуждали, как делить землю и что кому брать, с таким достоинством, что куда там помещикам! Чувство гордости за них, за их спокойную и разумную деловитость наполнило Мусоргского.

В тот же вечер он сел писать Балакиреву письмо. Такое нельзя было упустить – это ведь их козырю в масть и вполне совпадало с их взглядами и симпатиями. Ему казалось, что его симпатии и взгляды определились давно и окончательно.

Началась пора хлопот. Надо было составить договоры с бывшими крепостными. Любую деловую бумагу приходилось оформлять в Торопце. Мусоргский трясся по размытой дороге, ходил по уездным присутствиям, спорил с чиновниками и возвращался домой утомленный и раздраженный.

Когда мать спрашивала, что успел Модест за день, он иногда вместо дела принимался едко описывать людей, которых пришлось встретить: были тут чиновники и помещики. И с таким

сарказмом сын делал это, что однажды Юлия Ивановна спросила с беспокойством:

– Модя, а ты все отвергаешь? Разве земля тебя больше не интересует совсем?

Надо было либо скрыть от нее свои чувства, либо же признаться в них прямо.

И он сказал:

– Нет.

– Как же вы с Филаретом будете? Он семью решил завести, а это требует средств. Откуда средства, Модя, возьмутся, если дело не поставить как следует?

– Пусть Филарет занимается, а мне земля не нужна. Я права свои уступлю ему, только бы крестьяне получили полную норму земли.

– Да что ты, бог с тобой! Как же жить тогда?

– Своим трудом, маменька. Я вижу уродство в жизни сословия помещиков. Желать писать о народе и пить из него соки нельзя в одно время.

Юлия Ивановна смотрела на него с сокрушением. Пусть даже была непонятная ей справедливость в том, что он говорил, но отдать все накопленное, раздарить, от всего отказаться и самому потом сделаться нищим – этого сознание ее не вмещало. Только очень большая любовь помогла ей хотя бы отдаленно понять побуждения Модеста. Но, поняв, она встревожилась еще больше и стала думать о том, что же ждет его впереди.

XIX

А с него точно тяжесть свалилась. Теперь он даже в Торопец стал ездить охотнее. Не было больше унизительной мысли, что, ходатайствуя о том или другом, он что-то выговаривает для себя. Даже уездные типы стали его занимать опять. Мусоргский запоминал сценки, свидетелем которых был, улавливал повадку и говор. Перед ним проходили уездные крючкотворы, обиралы, подхалимы, жуиры и франты, игроки и повесы. Все, взятое вместе, было до крайности поучительно, раскрывая нравы и быт захолустного городка.

Мелкий сутяга, тянувший с ответом по делу и ждавший взятки, занимал его, кажется, больше, чем дело, из-за которого он сюда ездил. Иногда Мусоргский ловил себя на том, что прислушивается к голосу, к тому, как речь чиновника забирается на скрипучие ноты, а потом ползет вниз, на басы.

Недурно бы изобразить в музыке диалог между просителем и чиновником. Даргомыжский и тот одобрил бы!

Вот уже теплые дни высушили дороги, и березки распустились, и блеск озер, не колеблемых ветром, стал ровнее. Солнце медленно заходило, и впереди, когда Мусоргский возвращался, виден был обожженный край неба. Пылила телега, и пыль медленно садилась на землю. Такая благодатная свежесть поднималась над остывавшей землей, такое неизъяснимое чувство покоя, что в душе, полной поэзии и добра, тоже водворялся покой. Забывались хлопоты и невзгоды, и будущее представлялось светлым. Собственное богатство начинало переполнять душу, в воображении теснились различные образы: то дьяк с картины, то уездный стряпчий, то долгогривый учитель двухклассной школы, то купец с нависшими густыми бровями и прямо постриженной бородой, то молодайка в лаптях и идущие друг за другом крестьяне. В сердце проникали звуки заунывной, тягучей песни, и музыка начинала звучать сама по себе.

Эти образы томили его, переполняли, беспокоили и радовали; он еще не умел в них разобраться. Вспомнилось, как однажды у невесты Кюи, Бамберг, он стал играть в гоголевской «Тяжбе» сенатского статс-секретаря Бурдюкова. Создавая образ чиновного сутяги, Модест так увлекся, как будто душу его раскрыл. Все, кто были на вечере: Стасов, Кюи, Балакирев – пришли в восторг, да и сам он подумал, нет ли у него способности постигать характеры и находить для них внешнее выражение. Может, актером надо стать, а не музыкантом?

Но чаще всего образы рождались именно музыкальные: когда

Модест кого-нибудь слушал, сама собой возникала мелодия, характерная для того, кто говорит. Мусоргскому не раз казалось, что воспроизвести движения души, недоступные простому глазу, как раз и есть основная задача музыки.

Возвращаясь домой, он иногда принимался записывать то, что осталось в памяти: тему или два-три такта, пришедшие на ум. Из этого материала никак не получился бы изящный романс. Да он к этому и не стремился: хотелось, чтобы правда, какая она ни на есть, встала со страниц написанного и всех обожгла своим дыханием. Хотелось создать произведение, прямое до резкости и безыскусственное.

Но начатое Мусоргский чаще всего до конца не доводил. То, что теснилось в мозгу, не поддавалось пока дисциплине. Мусоргский говорил себе: пускай побродит, отстоится, очистится от случайного. Он смутно верил в то, что когда-нибудь придет победа и друзья и недруги поймут, что не напрасно он ушел с пути проторенного и пошел своим собственным. Мечтая о победе, Мусоргский видел ее не только для себя одного, но и для всех, с кем шел: для Балакирева, Кюи и других членов кружка.

Он возвращался в столовую возбужденный, и ему хотелось сказать матери что-нибудь хорошее, приятное ей.

Свет от висячей лампы ложился полосами на скатерть: его делили на части бронзовые цепочки, шедшие снизу к ободу лампы. В окна тянуло свежим запахом поля и ароматных лугов. Вокруг лампы кружили, ударяясь о колпак, насекомые. Немного печальным казался в такие минуты мир.

Стараясь перебить тайную грусть, Модест начинал смешить мать. Когда она улыбалась или, поддавшись ему, начинала смеяться, он радовался так, точно ему удалось совершить что-то важное. Тронутая его вниманием и простодушием, Юлия Ивановна думала о том, что он, при своей доброте, совсем к жизни не приспособлен. Разве что талант да живость воображения помогут ему. Но как, боже мой?!

Потом она уходила к себе. Модест в своей комнате принимался писать письма. Оторванный от мира, он даже здесь не в состоянии был жить только уездными интересами. Ему надо было знать, сочинил ли что-либо новое Милий, собирались ли у Стасова, оркеструет ли оперу Цезарь Антонович, нет ли чего примечательного в журналах и не сделал ли очередную пакость критик Феофил Толстой.

Письмо уходило на следующий день. Мусоргский подсчитывал: в Торопец оно попадет к вечеру, там полежит дня Два, а в пути ему быть суток пять; Милий отзовется не сразу, особенно если он не в духе. Сколько же ждать ответа? В

уединении деревенской жизни ему необходима была связь с друзьями. Он ждал, чтоб отголоски волнения, всколыхнувшего Россию, дошли до него; надо было из вернейших рук узнать все о столичной жизни и столичных событиях. А может, и событий нет и вовсе не бурлит так Россия? Разбуженная гулом Крымской кампании и севастопольских пушек, она куда-то двинулась. Крестьяне всей своей огромной массой шагают по неведомому пути, но уже где-то стерегут их новые тяготы и новые унижения. Даже тут, в глуши, становится ясным, что освобождение обернулось не свободой вовсе, а новым видом кабалы. Может, кое-кто и прорвется к достатку, но массы по-прежнему обречены жить в нужде.

Обо всем этом думал Мусоргский, поняв в глуши жизнь лучше. Глядя из окна комнаты в предвечерний закатный час на возвращавшихся с поля баб, на босых мужиков, на покосившиеся деревенские избы и соломенные темные крыши, на бедность и радости простой русской жизни, на милое деревенское солнце, он мечтал для всего найти воплощение в музыке. При этом его ужасно волновало все, что делается в мире. Необходимо было знать, что предпринял Антон Рубинштейн, каковы дела Русского музыкального общества и какие концерты в будущем сезоне оно намерено объявить.

Часть вторая

I

В музыкальной жизни Петербурга происходили в самом деле события немаловажные.

Еще раньше, усилиями Антона Григорьевича Рубинштейна, было создано Русское музыкальное общество. Оно поставило своей задачей пропагандировать музыку, устраивая концерты и организуя музыкальные классы. Петербургские концерты общества возглавил сам Рубинштейн. Своим помощником он выбрал средней руки дирижера Карла Шуберта. Покровительницей общества стала великая княгиня Елена Павловна, после чего не только она, но двор ее и приближенные почувствовали себя хозяевами и вершителями судеб искусства России.

Не в том только была беда этих людей, что в музыке они мало смыслили: не смысля в ней, они имели, однако, свой вкус. Они признавали немецкую музыку и упорно не замечали успехов русской. Рубинштейн, человек независимый, настоящий артист, потому оказался временным их союзником, что сам в ту пору считал, будто русская музыка делает лишь первые шаги. Творения Глинки, Даргомыжского он сумел оценить лишь много позже, а успехов молодых композиторов, балакиревских птенцов, пока не замечал вовсе.

Благодаря его энергии была в Петербурге открыта в 1862 году консерватория. Рубинштейн привлек к преподаванию выдающихся музыкантов Европы и с первых же лет придал делу широкий размах. Но программу ее скопировали с немецких образцов. Литература, какую там изучали, была сплошь итальянская и немецкая. О том, чтобы изучать образцы русской музыки, в то время никто не думал. Да и в западной делался пристрастный отбор: имена Шумана, Берлиоза, Листа звучали здесь почти так же чуждо, как имена Глинки и Даргомыжского.

Балакиревская группа встретила начинания Русского музыкального общества без сочувствия: в лагере Русского музыкального общества без конца твердили, что музыканту или тому, кто им намерен стать, надо прежде всего научиться технике западных композиторов. Разговоры о технике, о правилах голосоведения, контрапункте оттесняли на второй план творчество. В другом же лагере, у балакиревцев, только о творчестве, свободном и смелом, помышляли; все, что относилось к технике, рассматривалось как орудие для решения больших, новых задач. В одном лагере в силу русской музыки, в ее самобытность верили пока мало, в другом именно эта вера

сплачивала музыкантов.

Молодые русские музыканты, которым дух педантской учебы был ненавистен, потому что они видели в нем копирование готовых чужих образцов, сплотились в вольный цех мастеров. Пусть их мастерство было незрелым, – они оттачивали его в совместной работе, в беседах и спорах. У них был признанный руководитель – Балакирев, признанный публицист и трибун – Стасов. Школярство они отвергали, сухую учебу высмеивали. Поддерживая друг в друге дерзость исканий, они рвались к новым берегам.

Будь это люди скромных способностей, они, возможно, на первых же опытах оступились бы, признав свою неподготовленность. Но их выручал талант из ряда вон выходящий. Задачи, которые они для себя ставили, были глубоко национальными, а деятели Русского музыкального общества казались им людьми, насаждающими музыкальное просвещение по западным образцам, вместо того чтобы дать дорогу созревающим силам родного искусства.

Даже Антону Рубинштейну, великому артисту, балакиревцы не могли простить того, что он связал себя с двором Елены Павловны. Именно Рубинштейн, имевший такой авторитет в глазах всех, обязан был протянуть им первый руку, а вместо этого он, наряду с творениями гениев, пропагандировал сочинения грамотные, но лишенные вдохновения, аккуратные, но безличные.

Балакиревцы заявляли о себе все настойчивее, но недостатка в недоброжелателях у них не было. Недоброжелатели доносили Рубинштейну, будто балакиревцы отвергают в западной музыке всё, будто они не признают ни Баха, ни Моцарта, не желают учиться и свою малограмотность ставят себе в заслугу.

Рубинштейн долгое время верил этому и с раздражением отзывался о них, считая их зазнайками, пренебрегшими первой заповедью художника – умением строго относиться к себе.

Так оба лагеря стояли друг против друга. Только время могло их если не примирить, то хотя бы сблизить. Только изжив крайности с той и другой стороны, можно было признать то здоровое и полезное, что заключало в себе каждое направление.

Русское музыкальное общество объявляло каждый год концерты своего оркестра. Оно приглашало дирижеров из-за границы, не жалело денег на иностранных певцов и певиц, скрипачей и пианистов. Концертов в течение сезона бывало немного, но вокруг них шли споры, велась борьба и сталкивались интересы враждующих групп. Положение групп было разное: одна обладала средствами, имела концертные залы, исполнителей, покровителей; другая не располагала ничем, кроме веры в

будущее и жажды деятельности.

Вечера Русского музыкального общества посещались людьми высшего света. Это была публика изысканная, блестящая, но холодная. Люди попроще на концерты в Дворянском собрании почти не имели доступа.

А между тем выросла новая публика, жадная до искусства. Читатели Чернышевского и Добролюбова, студенческая молодежь почти лишены были возможности слушать хорошую музыку.

Вот к этим слушателям мечтали прорваться музыканты балакиревского кружка. Тут они надеялись встретить понимание, поддержку и сочувствие.

Но как завоевать аудиторию? Откуда добыть средства? Где достать исполнителей?

Вот вопросы, которые встали перед композиторами нового направления.

Решить эти вопросы надо было во что бы то ни стало.

II

– Мне с Ломакиным встретиться нужно, – сказал однажды Балакирев Стасову. – Можете вы меня с ним свести?

– Ну, допустим. А для чего он вам?

– Сами вы толковали, что пришло время идти в атаку. А как их прямой атакой возьмешь? Они богаты, у них покровители, средства, залы, а у нас ничего.

– Что же вы предлагаете, ну-с?

Сидели в маленькой комнате Балакирева. Софья Ивановна поставила самовар на стол. Выпили уже по три чашки, но чаепитие было в разгаре. Наливая Стасову и себе, Балакирев привернул кран небрежно: на поднос капля за каплей падала вода. Он видел это, но никак не удосуживался протянуть руку – слишком горячий зашел у них разговор.

– Что ж вы все-таки предлагаете? – повторил Стасов.

Привычным движением, от шеи книзу, он погладил бороду и прищурился, как бы показывая, что не очень верит в то, что предложит Милий. Но ответа он ждал не без интереса, даже от стола несколько отодвинулся, чтоб виднее было, и ноги расставил.

– Ежели б мы поставили благовидную задачу готовить регентов, начальство одобрило бы подобное? Как вы полагаете?

Стасов удивленно пожал плечами:

– С какой стати это вам надобно?

– Церковных хоров много, а регентов не готовит никто.

– Поздравляю вас, Милий: вы в роли покровителя сего дела!

Балакирев строго остановил его:

– Я не досказал, погодите. О благовидности разговор не зря. Можно готовить регентов, а можно под этой внешностью затеять нечто другое.

– Так-так, – заметил Стасов не без сочувствия, – это мне нравится больше. Ну-с, дальше?

– Я все о школе последнее время думаю – общедоступной или бесплатной школе для всех желающих петь в хору. Вот что надо создать.

Стасов прошелся, снова погладил бороду.

– Мысль богатейшая, Милий. И Ломакина надо к этому привлечь, вы правы.

– Но он будто бы несговорчивый человек.

– А мы увлечем его перспективой: пусть почувствует, что дело всей его жизни решается, иначе то, что им создано, будет забыто.

Стасов принялся хлопотать о встрече и уже через несколько

дней сообщил, что с Ломакиным виделся и тот обещает завтра прийти к нему для разговора.

– Он понял, что затея серьезная. Я предупредил, что вы тоже будете у меня.

В многокомнатной, длинной квартире Стасовых народа всегда бывало много: то к Дмитрию Васильевичу приходили по его адвокатским делам, то к Владимиру Васильевичу. Жили одной большой семьей. Жизнь была общая и в то же время у каждого своя.

На нового человека, да еще такого известного, поглядели с любопытством из одной комнаты, из другой. Выглянули сестры, потом мать на минуту приоткрыла дверь. Ломакин пробирался по длинному коридору неторопливо, осторожно и солидно. Он разгладил баки, поправил рукой усы.

Стасов, следовавший за ним, повторял:

– Дальше, Гавриил Якимович, дальше. У нас не квартира, а грот Венеры.

Уже пройдя чуть не весь коридор, Ломакин вспомнил, что в шубе остался его платок. Он вернулся, достал платок и заодно повесил шубу поосновательнее, точно опасался, как бы при таком обилии народа не произошла путаница с одеждой.

– Господин Балакирев прибыл? – спросил он, дойдя до нужной двери; узнав, что не прибыл, покачал с осуждением головой.

Сам Ломакин пришел минута в минуту, как привык приходить на занятия. В глазах его молодой музыкант, с которым он собирался встретиться, кое-что потерял из-за своей неаккуратности.

Впрочем, Балакирев явился почти вслед за ним. Он извинился, объяснил, что его задержали. Ломакин, здороваясь, посмотрел на него пытливо: сильный, пламенный взгляд, энергия, с которой тот вошел, многое сказали его опытному глазу.

Ломакин произвел на Балакирева впечатление человека суховатого и не в меру делового; трудно было сейчас узнать артиста, который так поразил его во время концерта. Голос у Ломакина был глухой, спокойный и плавный, а самая речь обличала в нем человека, много думавшего и до многого дошедшего в жизни своим путем.

– Итак, господа, я вижу, свою роль отчасти выполненной, – начал Стасов после того, как все уселись. – Мне хотелось связать вас, Гавриил Якимович и Милий Алексеевич. Вдвоем вы, по моему глубокому убеждению, создадите дело поистине великое.

Ломакин выслушал это чопорно и строго.

– Я о цели вашего приглашения отчасти осведомлен, – сказал

он. – Признаюсь, она представляет для меня интерес. Но одно дело – цель, другое – как к ней прийти.

– Цель, Гавриил Якимович, – самое как раз важное, – подхватил Стасов. – Талант ваш безмерен, а вот поставили ли вы перед собой задачу использовать его наилучшим образом?

Такой прямой атаки Ломакин не ждал. Он тронул усы, провел рукой по волосам. Он словно выгадывал время для ответа; потом произнес с достоинством:

– Я льстил себя мыслью, что кой-какую пользу родному искусству и русскому обществу приношу.

– Да не в этом же дело! Мы с ним почитатели ваши давние. Но вот что важнее всего: хор, доведенный вами до высшего совершенства, достаточно ли имеет слушателей и ценителей?

– Вы их сами видели, господа.

– Слушать вас должны были бы тысячи и десятки тысяч, а не те двести человек, которых мы видели.

Ломакин грустно улыбнулся:

– Кто ж может этим похвастать? Я таких регентов не знаю.

– Вообразите, что семена, которые вы кидаете, рассеялись бы не на узком участке, а их разнесло бы повсюду; что вы. привлекли бы к искусству новые слои и воодушевили бы их своими идеалами, – что бы из этого могло получиться? Отдаете ли вы себе отчет, Гавриил Якимович?

Ломакин слушал сдержанно, своего отношения к вопросу пока не высказывая. Балакирев тоже не проявлял горячности, и только один Стасов говорил с жаром. Впрочем, Балакирев хорошо понимал, что в этом проекте вся его будущность, все его надежды художника. Да и в душе Ломакина пробудилось сочувствие, когда он представил себе, насколько расширилось бы дело, которому он посвятил свою жизнь.

Стасов, приподняв кресло, оттащил его в угол и там, опершись на спинку, остановился в ожидании:

– Ну-с, что ж вы скажете, господа?

– Вам, Владимир Васильевич, должно быть известно, что, кроме капеллы графа Шереметева, я преподаю в кадетских корпусах, в Смольном, в училище правоведения и силы мои весьма ограниченны…

– Тем более надобно их использовать так, чтобы труд ваш явился памятником всей вашей жизни!

Ломакин помолчал.

– Столько вопросов вы подняли, что одним своим умом уразуметь не могу. И не понимаю, признаться, как вы их разрешите.

– Например? Какие?

– Вот о деньгах, к примеру. Без них начинать невозможно, а откуда взять – источника я не вижу.

Балакирев, до сих пор молчавший, подал свой голос:

– Ваше имя, – сказал он, – привлечет и других. Найдутся благородные люди искусства, которые согласятся работать бесплатно.

– Как бы там ни было, а деньги нужны все равно. Переписка нот, секретарь, казначей, наем помещения…

– Помещение достанем, – перебил его Стасов.

– …покупка нот, пособия, инструменты… Нет, это только кажется, что оно просто, а я по горькому опыту знаю, сколько тут забот и расходов. – Он остановился, как будто прикидывая в уме, сколько все должно стоить; но заговорил о другом: – Вот вы об оркестре еще помышляете. Дело благое, без оркестра нельзя. А музыкантов где добыть?

– Я с университетским кружком любителей музыки связан, – ответил Балакирев. – Есть еще кружок любителей симфонической музыки. Можно бы их соединить в один.

– Стало быть, по замыслу вашему, он должен противостоять оркестру Русского музыкального общества? Но у них дело солидное, крупное, и во главе стоит такой всемирно признанный музыкант, как Антон Григорьевич Рубинштейн.

Нет, всем своим отношением Ломакин показывал недоверие к тому, что они затевали. Это был человек не их мира, не их темперамента и притязаний, но завоевать его на свою сторону было необходимо. Стасов взял это на себя.

– Гавриил Якимович, вы когда-нибудь фортепьянную игру Милия Алексеевича слышали? – спросил он.

– Не имел чести. – Будучи, однако, добросовестным, он добавил: – До меня, впрочем, доходили слухи, очень для Милия Алексеевича лестные.

Балакирев независимо пожал плечами, отвергая эту косвенную похвалу.

– Известно ли вам, – продолжал Стасов, – что в доме Улыбышева был постоянный оркестр и господин Балакирев долгое время им руководил? Только гнусные наши столичные условия мешают ему развернуть свой талант в полную силу.

Ломакин кивнул недоверчиво. Можно было простить горячность человеку, который печется о своем друге, но ему, испившему полную чашу разочарований, не пристало увлекаться и верить, не имея к тому убедительных доказательств.

Тут Балакирев сам обратился к нему.

– Гавриил Якимович, – запальчиво начал он, – хоть вы для нас и образец художника русской складки и, начиная новое дело,

мы хотели, чтоб его украсило ваше имя, но, если не удается убедить вас, будем действовать сами, взяв на себя всю ответственность. От цели своей мы не отступимся.

Казалось, это разрыв. Ломакин встал, выпрямился, задумчиво тронул усы и разгладил баки.

– Я, господа, кажусь вам или расчетливым, или слабым душою. Но поверьте: слишком нелегкий у меня опыт жизни, и обманываться в своих ожиданиях мне приходилось не раз. Вы возбудили во мне сочувствие к вашей идее, но ответа дать пока не могу. Извините.

Видя, что дело может провалиться, Стасов подошел ближе к нему и с обычной своей горячностью заговорил:

– Гавриил Якимович, вы ведь не только мастер хорового искусства, но и артист! Дело, которому вы себя посвятили, отгорожено от мира стенами шереметевского дворца. Мы обратились к вам потому, что ваше участие нам нужно, но в не меньшей степени оно необходимо и вам. Мы, представители нового направления, хотим придать вашей работе подобающий размах. Разве можно от этого уклониться, уйти от такой большой и почетной задачи?

Ломакин, собиравшийся было попрощаться, сел снова. Разговор возобновился. Его убеждали оба, а он, сопротивляясь, стараясь не поддаться на уговоры, уступал медленно и неохотно.

– Не невольте меня, господа, – просил он. – В мои годы не пристало действовать очертя голову. Душою я с вами, но верить в успех начинания не могу: всё пока висит в воздухе и ничего реального нет.

– Хорошо, – решил Стасов, – мы встретимся снова, когда у нас будут более убедительные для вас доводы.

Он проводил его и предупредительно, как заботливый хозяин, подал Ломакину шубу.

– Значит, увидимся непременно, – вдогонку сказал он.

Вернувшись в комнату, Стасов заявил с непререкаемой убежденностью:

– Наш, наш! Пойдет с нами, увидите.

Балакирев мрачно ходил из угла в угол. При этих словах он только недоверчиво покачал головой.

– Ох, и затрещит почтенное Русское музыкальное общество, и жару же мы им зададим! Предвижу, как вы становитесь за пульт дирижера. Предвижу день, когда зазвучат для широкой публики Глинка и Берлиоз, Даргомыжский и Шуман. А Мусорянин? А Кюи? А ваши творения?

Балакирев морщился, недовольно пожимал плечами, но унять Стасова было невозможно. Твердо решив, что дело удается, он

уже соображал, что надо в ближайшее время предпринять и к кому обратиться за помощью.

– Вы оркестром займитесь: наскребите этих ваших любителей, посмотрите, какой прок от них. Помещение, персонал, разрешение начальства я беру на себя. Только действовать надо быстро, не теряя ни одного дня. Важно всех добрых людей зажечь нашей идеей и сделать их пособниками музыкальной школы.

Он в самом деле принялся действовать с превеликой энергией и через несколько дней сообщил Ломакину, что разрешение на открытие Бесплатной музыкальной школы ему, при посредстве влиятельных лиц, обещают. В следующий раз Стасов принес еще одну новость: президент Медико-хирургической академии готов разрешить в классах академии занятия школы. Задержка была за деньгами, а то можно было бы уже приступить к набору.

Видя, что дело продвигается и приобретает более реальные очертания, Ломакин почувствовал себя обязанным, с своей стороны, тоже чем-то помочь.

– Можно бы с графом Дмитрием Николаевичем переговорить, – осторожно предложил он. – Хор, правда, у него бережёный, он никуда его от себя не пускает. Но если концерт объявить в пользу будущей школы…

– Я говорил: вы наш! – заявил Стасов ликуя. – Забрало вас: теперь никуда не уйдете.

– Я к графу редко когда обращаюсь, – деловито продолжал Ломакин. – Он знает, что я ничего для себя не ищу, и до сего дня относился к моим просьбам милостиво.

– Участие в таком начинании только украсит его имя.

– Владимир Васильевич, это хорошо, что вы с такой живостью взялись. Только хочется мне предупредить вас, что трудностей впереди ох как много! И трудностей, и помех, и разочарований.

– Вот как раз разочарований не предвижу. А трудности? Что же, на то и настойчивость наша, чтобы с ними совладать.

– Вообразите, что все пойдет наилучшим путем: и средства добудете, и набор объявите, и людей подберете. А дальше что же?

– Концерт с ними дадим.

Ломакин усмехнулся:

– До концерта сколько же еще трудов! Ведь их научить чему-то надобно – сколько на это уйдет времени?

– Нет, Гавриил Якимович, давайте загодя не подсчитывать. Мне кажется, дело пойдет у вас быстро. Ведь я знаю, какие вы чудеса в других местах делали – в Смольном, в корпусах…

– Какие же чудеса? Тут труд, старательность и упорство.

Немного искусности тоже надобно, разумеется.

Ломакин все же отправился на следующий день к Шереметеву. Просьбу его граф выслушал с удивлением.

– Какой же вам еще хор, если в руках у вас такая капелла?

– Ваше сиятельство, – сказал Ломакин, – тут начинание общественное, рассчитанное на другие слои. Мы и церквам помощь окажем, ежели подготовим регентов, да не только церквам, но и широкой публике, жаждущей музыкального просвещения.

– Рассчитали ли вы свои силы, любезный Гавриил Якимович? Я не могу допустить, чтоб капелла превратилась в вашего пасынка, а новое начинание стало первым.

Ломакин ответил с достоинством:

– У вас, ваше сиятельство, кажется, не было еще поводов упрекать меня в манкировании своими обязанностями.

– Да нет же, нет, – ответил Шереметев мягче, не желая обижать своего регента, – отношение ваше к делу мне известно. Но как же можно собственными руками создавать себе конкурента?

– Капелла культивирует по преимуществу образцы церковной музыки и за эти пределы редко когда выходит. Тут же затевается учреждение светское, демократическое.

При этих словах граф поморщился.

– Только доброе ваше имя, Гавриил Якимович, заставляет меня согласиться на вашу просьбу. Берите хор, хорошо: разрешаю выступить ему с одной программой. Без охоты, искренне признаюсь, да что поделаешь! Видно, крепко вам вбили в голову эту идею новые ваши единомышленники. Уж если вы что задумаете, то тверды в этом, я знаю.

Ломакин поблагодарил его и вышел из кабинета.

Во время спевки он объявил, что ближайшие репетиции уйдут на подготовку программы для светского концерта; что концерт граф милостиво разрешил посвятить будущей Бесплатной школе, которую группа энергичных деятелей музыки решила создать в столице; что он, наконец, вполне рассчитывает, зная своих воспитанников и питомцев, на внимательное их отношение к этой задаче.

И в самом деле, участники капеллы проявили ревностность отменную. Программа была подготовлена за короткое время, репетиции шли день за днем, и вскоре на улицах появились афиши о предстоящем концерте.

11 марта 1862 года зал Дворянского собрания был переполнен до отказа. Шутка ли, выступал знаменитейший хор, редко когда показывавший свое искусство широкой публике!

Задолго до вечера в обществе шли толки о целях концерта, о школе, которую решено создать. Одни находили затею наивной; другие осуждали ее, видя в ней попытку подорвать авторитет Русского музыкального общества; третьи горячо ее одобряли, усматривая в ней залог подъема музыкального просвещения в стране. Но никто из ревнителей музыки не остался к ней равнодушным.

Концерт вполне достиг своей цели. Он не только доставил наслаждение любителям, но и дал большой сбор. Когда дня через два устроители собрались, чтобы подвести итоги, оказалось, что собранных денег достаточно для того, чтобы окупить расходы первых месяцев и кое-что отложить про запас.

– Итак, господа, приступаем к набору учащихся? – торжественно заключил Стасов после того, как подсчеты были закончены.

Ломакин помолчал; затем, вздохнув, сказал:

– Что ж, с божьей помощью. Пожалуй, теперь можно отважиться действовать. А что выйдет из этого, одному господу богу известно.

– Да сами увидите, – весело отозвался Стасов, – Выйдет именно то, что нам надобно.

Тут же составлен был текст объявления, которое следовало поместить в газетах: сообщалось, что организуемая в Петербурге Бесплатная музыкальная школа открывает прием желающих обучаться пению и музыке.

Не только Ломакин, но даже пылкий Стасов не предполагали, какой отклик вызовет объявление. Поднимаясь по лестнице академии, они, точно не веря себе, оглядывались на толпу, без конца шедшую в зал, где назначены были испытания. Озираясь по сторонам, шли наверх скромно одетые дамы и барышни, мелкие чиновники, ремесленники и рабочие. Никогда еще стены мрачного здания не видели такой публики. Швейцар, стоявший внизу, тоже с молчаливым недоумением наблюдал за тем, как идут и идут без перерыва. Наружная дверь хлопала то и дело. Он уже не отворял ее и не придерживал. Он немного отошел в сторону и оттуда дивился на происходящее.

– Ну-с, Гавриил Якимович? Наша берет? – заметил Стасов.

Ломакин, не любивший радужных предсказаний, отозвался:

– Что еще испытания покажут. Может, способных людей и не найдется.

– Боитесь вы верить в хорошее!

– Не боюсь, а не привык.

Когда Ломакин в черном сюртуке вошел в зал, он увидел, что около столика толпятся пришедшие. Девушка, добровольно

вызвавшаяся составить списки явившихся, спрашивала их про возраст, про то, чем они занимаются и какое имеют образование. Балакирев стоял тут же и, пытливо вглядываясь в каждого, кто подходил к столу, искал в нем союзника своему делу.

– Как их обидишь, таких, если они с великой охотой откликнулись на наш зов? – произнес Ломакин вполголоса. Он обратился к Балакиреву: – Может, вы, Милий Алексеевич, скажете несколько слов о целях школы? Пускай поймут, что дело серьезное и принимать будем только людей способных.

– Ваше имя тут всем известно, – ответил Балакирев. – Именно от вас надо им услышать напутствие.

Вскоре народу набралось в зале столько, что сидеть было негде. Стояли в проходах и позади рядов. Рассматривали с нескрываемым интересом организаторов будущей школы, да и друг на друга посматривали с не меньшим любопытством. То, что любовь к музыке могла привести такое множество разного люда, казалось странным, даже немного неловким. Ведь ничего же эта любовь не сулила – ни заработка, ни службы.

Когда Балакирев подал знак и попросил внимания, передние зашикали на стоящих сзади, и вскоре в зале водворилась тишина.

– Господин Ломакин, наверно, известный вам по своей многолетней деятельности, сейчас скажет, господа, несколько слов, – объявил Балакирев.

Ломакин откашлялся, ожидая тишины еще большей. Взгляды присутствующих были устремлены на него: это и есть знаменитый регент, слава о котором идет по всему Петербургу? Он стоял спокойный и терпеливо ждал.

Речь его была негромкая, внятная и неторопливая. Он говорил об искусстве народа, о любви русских к музыке. Он намекнул на то, что школа должна сыграть в будущем свою роль в развитии музыкального искусства России.

Вряд ли сам Ломакин, да и те, кто слушали, способны были представить себе в тот вечер, какое почетное место займет Бесплатная школа в музыкальной истории страны.

Заканчивая свое короткое слово, он сказал:

– Мы сейчас, господа, приступим к испытаниям. Не обессудьте нас: если у кого достаточных данных нет и пользы общему нашему начинанию от него не предвидится, мы в классы его не возьмем. Тут общий наш долг – быть строгими при отборе.

Предупреждение понравилось большинству: решили, что дело серьезное, раз отбирать станут только лучших.

– Мы с господином Балакиревым сами будем определять, чем каждый из вас награжден природой и богом, – добавил Ломакин.

Он надел очки, взял в руки список, поданный девушкой, и

начал вызывать записавшихся. Опытный в этом деле, он быстро определял возможности каждого.

Слушали с затаенным вниманием, как будто пришли на концерт. Потом стали перешептываться. Ломакин предупредил, что им придется выйти в коридор, если порядка не будет. Никто не ушел, все снова притихли.

До позднего вечера слушали, как происходит проверка. Это тоже была школа, новая и непривычная, показывавшая, насколько серьезно то дело, которым намерены тут заняться.

Все были разочарованы, когда им объявили, что проверка не закончена и продолжение ее состоится в четверг, а затем еще в понедельник на той неделе.

Балакирев, сидевший за роялем, встал наконец и потянулся.

– От концерта и то не устал бы так, – заметил он.

Ломакин неодобрительно промолчал. Он, весь день которого был расписан по часам, нашел в себе силы поговорить с каждым и не устал, а человек значительно более молодой пожаловался на утомление! Но на улице он смягчился и даже признался, что сегодняшняя встреча вселяет в него надежду.

– И голоса кой-какие, кажется, подбираются. Посмотрим еще, что покажут следующие дни.

Следующие испытания прошли не хуже. Так же в зале стояла толпа: молча, с глубоким вниманием, следили за ходом экзамена.

Балакирев заметил шепотом:

– А ведь материал, Гавриил Якимович, отличный!

Ломакин покачал головой:

– Это еще полдела, У них развития нет, их учить надобно долго. Вам небось всё подай завтра?

При всей своей гордости, Балакирев сносил упреки старика легко. За эти дни они ближе узнали друг друга и немного друг к другу привыкли.

Наконец участники были отобраны, хор составлен и начались занятия. Два раза в неделю к зданию академии стекалась разношерстная, пестрая, непривычная к строгой тишине коридоров толпа.

С первых же занятий Ломакин стал приучать хористов к тому, что такое тихая, ненапряженная звучность. За чистотой строя он следил ревностно и, случалось, по многу раз заставлял повторять аккорд, пока хористы не начинали ощущать его чистоту и стройность. Он внушал им представление о красоте звука, о его полноте и гибкости.

Работая с ними, Ломакин сам привыкал понемногу к тому, к чему прежде оставался равнодушным: от церковной музыки он переходил к светской, от Орландо Лассо и Палестрины – к Глинке

и Мендельсону.

На лето занятия прекратились, а с осени были возобновлены. Стараниями Стасова и его друзей удалось получить для занятий несколько комнат в здании Городской думы, и Бесплатная школа перекочевала туда. Но за лето многое оказалось забытым. Ломакин, прослушав, только руками развел: звучность стала хуже, стройность была утеряна.

– Что же, судари, этак мы далеко не подвинемся, – сказал он. – Приходится всё начинать сначала.

Они были сами огорчены, видя, как отстали за лето. Но восстановить накопленное удалось за короткий срок: хористы занимались с большим рвением и полны были желания двигаться вперед.

Балакирев тем временем занимался с оркестровой группой. Тут работа оказалась гораздо сложнее: людей подготовленных было немного, а оркестр предъявлял участникам требования еще более сложные, чем хор. Дирижер не щадил своих сил. Каждый успех радовал его чрезвычайно, и ему казалось, что время, когда можно будет выйти на эстраду, не за горами.

– Когда же мы заявим наконец о себе? – торопил его Стасов. – Пора всем показать, что значит свободная ассоциация энтузиастов. В консерватории профессорам платят большие деньги, наивысочайшие особы дарят их своим вниманием, а у нас дело построено на копейках. Зато народ какой – один к одному!

За это время из хора кое-кто выбыл, но костяк сложился, и успехи были ощутимы для всех. Даже удивительно было наблюдать, как за такое короткое время вырос слаженный, уверенный коллектив, послушный во всем дирижеру.

Ломакин отказывался покамест вывести свое детище на эстраду. Случалось, граф Шереметев справлялся о хоре:

– Как там дела идут, Гавриил Якимович?

– Помаленьку, ваше сиятельство, – уклончиво отвечал регент.

– Разговоров-то, разговоров… Слухи доходят и до меня.

– Буду вас просить, ежели концерт ставить будем, разрешите кой-кого на придачу из капеллы взять. Так-то хористы мои ничего, но боюсь, как бы с непривычки не растерялись на публике.

– Уже и о публике помышляете? – удивился граф. – Эх, кажется, я промахнулся: не надо было мне тогда ваш концерт разрешать!

– Вы, ваше сиятельство, уже руку свою приложили и оказали большую помощь: вам теперь не след отступать. И еще вот какая к вам покорнейшая просьба будет: спевки наши стали такими большими, что в комнатах Думы невозможно поместиться. Нельзя

ли перед концертом, если позволите, две репетиции провести здесь?

Шереметев неодобрительно покачал головой. Затея по-прежнему казалась ему нестоящей: ну чего не хватает старому регенту? К чему еще один хор заводить?

– Да ладно уж, если другого места нет.

В воскресный день, когда назначена была первая спевка, Шереметев стоял у окна и наблюдал, как проходят во дворец хористы. Многие тысячи израсходовал он, прежде чем его капелла получила нынешнюю свою известность и славу, а тут что же? Кто они, эти любители? Что их сюда привлекло? Народ шел простой: скромно одетые девицы, мастеровые, люди на возрасте и молодежь, студенты, чиновники…

Рядом с графом стояла старая его экономка. Она тоже с удивлением глядела на идущих.

– Вот небывальщина! – вырвалось у нее.

– Прямо как в церковь валят, – отозвался граф.

Еще раз посмотрев на эти шапки, фуражки, чуйки, шляпки, он отошел от окна, жалея, что ввязался в такое странное предприятие.

III

Хуже обстояли дела у Балакирева. Репетируя с величайшим рвением, он не признавался себе в том, что оркестр его не готов.

Инспектор университета Андрей Иванович Фитцум фон Экстедт, большой любитель музыки, игравший сам на альте, делал все зависящее, чтобы собрать побольше людей: педагоги, студенты, приятели педагогов, игравшие на каком-либо инструменте, были привлечены в оркестр.

Играли они с увлечением и в лице Балакирева нашли руководителя умелого, способного вести молодой коллектив. Но чем ближе к выступлению, тем все очевиднее становилось, что нельзя такой коллектив показывать публике: он еще нетверд в игре, недостаточно гибок в передаче оттенков. Чудеса, которые Балакирев с ним творил, окружающие и он сам иногда принимали за нечто уже достигнутое, готовое. Но стоило вспомнить, как звучит настоящий оркестр, чтобы иллюзия пропала и вырисовалась печальная правда.

Балакирев мучился, сознавая, что дело, затеянное им и Стасовым, может провалиться по его вине. Он понимал, что нельзя требовать от любителей большего: все, что в их возможностях, они дают; да и он вложил в работу с ними много умения. Но вот Ломакин свой хор почти уже подготовил, а Балакиреву в конце концов приходилось признаться, что оркестра для такого ответственного выступления нет.

– Нитшего, Милий Алексеевич, сыграем отлично, – утешал его Фитцум фон Экстедт. – Музыканты под вашим капельмейстерством сделали чрезвычайный успех.

Утешить Балакирева это не могло.

Пришел день, когда он вынужден был показать работу своим товарищам. Ломакин, Стасов и Кюи, прослушав репетицию, согласились с тем, что коллектив недостаточно силен и выпускать его невозможно. Балакирев, бледный, кусал губы. Он не спрашивал, как дальше быть, и ни от кого не ждал помощи или поддержки.

Музыканты-любители складывали свои инструменты и расходились. Группа руководителей, сидевшая в стороне, привлекла их внимание. Музыканты с нескрываемым интересом посматривали на Стасова и его картинную, не по годам солидную бороду, на полного, со строгой осанкой Ломакина, на человека в мундире инженера, с кокетливыми бачками, фамилия которого была им неизвестна.

Фитцум фон Экстедт, подойдя к группе, произнес

поощрительно:

– Браво, браво, маэстро! Сегодня было особенно хорошо. Отлишно успел наш оркестр под вашим опытным руководством.

Балакирев сидел безразличный и не обратил внимания на его слова. Экстедт отошел, и тогда начался решающий разговор.

– Рука у вас, Милий Алексеевич, твердая, – сказал Ломакин тихо, но внушительно. – Темперамент хороший, большой, скажу даже – умный. Мне было радостно открыть вас для себя. Раньше срока, признаюсь, боялся делать выводы.

На лице Балакирева появилась кривая усмешка:

– Мне от этого не легче, Гавриил Якимович. Все равно с ними не выступишь.

Наступило неприятное молчание. Балакирев смотрел вслед расходившимся любителям с раздражением, точно это они были виноваты в сегодняшней неудаче.

– В кассе школы есть некоторые средства, – обращаясь к другим и точно ища их поддержки, произнес Ломакин. – Что бы для нашего выступления опытных музыкантов пригласить? Публика нас не осудит.

Стасов и Кюи подхватили его мысль:

– Вам, Милий, не след себя ронять. На вас и так ножи точат и слухи разные распускают. Выступить нужно так, чтобы никто не придрался. А деньги – чего их беречь?

– Не могу с этим согласиться, господа, – возразил Ломакин. – Беречь как раз надо: дело-то все еще впереди. Я потому только предложил пойти на расходы, что большую часть мы вернем, если концерт пройдет хорошо.

Стасова деловая часть в эту минуту занимала меньше всего. Подойдя к Балакиреву вплотную, он продолжал:

– Мы с кем в спор вступаем? С аристократией, знатью, тузами! Ведь это подумать, кого мы свалить собираемся! Направление наше, программа, личности руководителей – всё противостоит тому, что делают у себя они. У них Карл Шуберт, у нас Гавриил Якимович и вы. Нельзя дело мельчить, Гавриил Якимович прав, и мы с ним согласны. Не в том самое главное, будут ли за пультами любители или профессионалы, – тут поважнее вопросы решаются.

Балакирев сидел опустив глаза. Он нервно вертел пуговицу пиджака. Трудно было ему соглашаться, но он в конце концов поборол свою гордость:

– Хорошо, если вы этого требуете, я подчиняюсь.

Он посмотрел по сторонам. Зал был пуст, оркестранты разошлись, и даже фон Экстедт, ждавший, что его привлекут к совещанию, ушел не дождавшись. Балакиреву казалось, что он

изменяет дружбе, установившейся между любителями и им, и в чем-то подводит их. Но объяснение было впереди – сейчас надо было решать судьбу Бесплатной школы.

– Что же, давайте тогда собирать настоящий оркестр, – сказал он.

– Это дело не трудное, дня за четыре собрать можно, – заметил Ломакин.

Они стали договариваться о дне репетиции.

Балакирев шел на нее неспокойный. Впервые ему предстояло встретиться с избалованными и требовательными столичными музыкантами. Как они к нему отнесутся, какую молву разнесут о нем? Он шел, полный решимости показать свою волю и силу своих замыслов.

Музыканты, когда Балакирев вышел к ним, сидели уже на местах. Они ждали незнакомого дирижера, полные предубеждения. Правда, слухи о том, что Балакирев музыкант отменный, дошли и до них. Да, но рука, умение слышать, умение руководить?

Первые его указания они приняли с вежливой настороженностью, стараясь быть точными и следуя за ним добросовестно. Замечания Балакирев делал короткие, ясные, взмах у него оказался отчетливый.

Во время перерыва старый контрабасист-чех, видавший виды, прежде служивший в Берлине и Праге, сказал, вынимая сигару и старательно обрезая ее конец:

– Тут нет подделки, это высший класс.

Музыканты, стоявшие рядом, согласились с ним. Стали сравнивать с другими дирижерами. С Антоном Рубинштейном, впрочем, сопоставлять не решались, боясь задеть его авторитет, но с помощником его, Карлом Шубертом, который всем надоел однообразием дирижирования, сравнили с особенным удовольствием, и на долю Шуберта пришлось немало обидных слов.

Во второй половине репетиции Балакирев окончательно победил их. Музыканты в один голос признали, когда он положил палочку:

– Это есть настоящая работа, и вы есть маэстро. Браво!

Балакирев ушел с репетиции довольный. Никто не подозревал, какого напряжения стоила ему эта первая встреча.

Много было еще волнений во время следующих репетиций. Он требовал от оркестрантов все большего, а они, чувствуя его властную руку, подчинялись с неохотой. Однако подчинялись, и дело налаживалось.

Волнения были не только у него. Ломакин выравнивал в хоре

оттенки, звучность, фразировку, прежде чем отдать свое детище на суд публики. Стасов согласовывал дни, когда оркестранты могут быть свободными. Неопытных хористов приходилось обучать тому, как вести себя на эстраде, в каком порядке размещаться и как выходить. До последней минуты было неясно, не будет ли провала, непредвиденных осложнений, неожиданного конфуза.

В ответ на похвалы своих новых друзей Ломакин твердил:

– Дело совсем молодое. Ни за что поручиться нельзя, господа. Может так обернуться, что самая легкая для них вещь будет исполнена хуже всего. Нам бы еще полгодика поработать, тогда риска было бы меньше.

Но афиши были уже отпечатаны, и в Петербурге уже знали о первом концерте Бесплатной музыкальной школы – нового, странного учреждения, толки о котором проникли в среду любителей.

В день концерта стоял крепкий мороз. Витрины затянуло льдом, и только там, где горели лампы, лед немного оттаял; сквозь него были видны выставленная за окнами снедь и афиши с именами Балакирева и Ломакина. Извозчичьи саночки проносились по Невскому, оставляя за собой искрящийся след. Город выглядел оледеневшим. Пойдут ли в такой мороз на концерт? Правда, билеты были проданы почти все, и днем, несмотря на стужу, спрашивали в кассе, есть ли места.

Но вечером, хотя мороз покрепчал еще и на улицах разложили костры, а воздух стал туманным, словно заиндевевшим, за час до начала выяснилось, что народу, несмотря ни на что, будет много. Необычную картину представляла собой площадь возле Дворянского собрания. На рысаках подъезжали дамы в капорах и пуховых платках, в ротондах, господа в дохах, генералы в шинелях, чиновники в тяжелых шубах. Собственных выездов, наемных карет – всего было много. К подъездам шел народ, которого в обычные дни Дворянское собрание не видело: студенты, скромно одетые девушки, мелкие служащие. Их было так много, что, попав в пышный, богато отделанный зал, освещенный яркими люстрами, они не затерялись, а составили внушительную часть публики. Именитые дамы и их спутники с недоумением и тревогой оглядывались на них: в чопорном Дворянском собрании повеяло чем-то странным и неспокойным; точно лохматые студенты и стриженые девицы в очках – такими представлялась знатным обывателям радикально мыслящая молодежь, читатели Чернышевского, Добролюбова и иных «совратителей», – оставив свои студенческие мансарды, углы в меблированных комнатах,

решили устроить свое собрание нынче здесь.

Несколько успокаивало, что в первых рядах сидели известнейшие музыканты столицы: Антон Рубинштейн, профессор консерватории Заремба, капельмейстер Лядов и другие. Их присутствие говорило о том, что знатные господа и дамы не напрасно потревожили себя в такой лютый мороз. И вот стали выходить на эстраду исполнители. Появление оркестрантов во фраках никого не удивило – в концертах Русского музыкального общества картина была такая гке. Но, когда вышел хор, глаза всего зала оказались прикованными к нему. Это и были ученики Бесплатной музыкальной школы: одетые скромно, но строго, они шли друг за другом, выдерживая одинаковое расстояние, с выражением достоинства и спокойствия. Они шли и шли, их становилось все больше и больше. Такой массы участников Дворянское собрание, кажется, не видало давно, разве что в зиму, когда приезжал сюда Берлиоз.

Не только это вызвало особенный интерес: вместо прославленного Рубинштейна дирижерскую палочку должен был взять в руки неизвестный столице Балакирев. Будь он гастролер, приезжий, его появление было бы встречено полным доверием, но со стороны молодого русского музыканта принять на себя такую ответственность, занять место, которое до сих пор занимал кумир Петербурга, стать во главе огромного коллектива – выглядело смелостью из ряда вон выходящей.

Балакирева заметили, когда он пробирался среди пультов. Раздались шумные аплодисменты – главным образом тех, кто впервые пришли сюда. Он поклонился публике, оркестру и тут же легонько постучал по пюпитру, не желая парадности и подчеркивая, что предстоит нечто серьезное, не нуждающееся в шумихе.

Программа была большая. Наряду с Генделем и Мендельсоном в ней было отведено много места произведениям, редко исполнявшимся до сих пор, – Глинки, Даргомыжского и самого Балакирева.

Оркестр начал с увертюры к «Ивану Сусанину». Уже первые минуты убедили всех, кто явился сюда без предвзятого мнения, что оркестром управляет не отбиватель тактов, а дирижер, обладающий редкой способностью передавать сокровенное существо музыки.

Рубинштейн первое время холодно наблюдал за ним. Потом, откинув гриву густых волос, обернулся к Зарембе и что-то сказал вполголоса, кивнув одобрительно. В зале это заметили.

Когда стали петь величальный хор из «Русалки», Рубинштейн снова что-то шепнул Зарембе.

Чутьем артиста он должен был уловить в этом чуждом для него начинании нечто большее, чем простое намерение соперничать с ним. Нет, это было строго, артистично, даже прекрасно.

Ломакин за короткое время совершил почти чудо. Хор школы поражал выверенностью строя, чистотой и благородством звучания. Пусть недоброжелатели шептали, что тут чуть ли не вся шереметевская капелла растворилась, – это была неправда: в массе новых, никому не ведомых лиц шереметевские певцы затерялись.

Ревнители Русского музыкального общества думали теперь о Бесплатной школе: если это соперник, то серьезный, если союзник, то многообещающий. Заремба то и дело обращался к своему соседу, шепча язвительные слова, но Рубинштейн сидел наклонив голову и не замечал его.

И вот грянула увертюра к «Руслану». Рубинштейн, как и многие из людей высшего света, считал «Руслана» произведением неудачным. Но под палочкой Балакирева музыка, казалось, ожила: в ней открылась такая пленительная легкость, такая жизнерадостная подвижность, что на минуту Рубинштейн усомнился в своей правоте.

Зал принял увертюру восторженно. Публика, слушавшая впервые эту музыку, полную радости, ликования, изящную, легкую и увлекательную, воодушевилась и долго аплодировала дирижеру.

Когда Балакирев продирижировал свою «Увертюру на русские темы», публика приняла это произведение как нечто близкое ей и как бы перебрасывавшее мост между слушателями и искусством. Рубинштейну, однако, увертюра не понравилась, и он недовольно заметил:

– Как им не надоест – опять в простонародном духе! И вкус есть и музыку чувствуют, а того, что в этой музыке вкуса ни на грош, не видят!

Подчеркивая свое неодобрение, он отрицательно покачал головой; в зале заметили и это.

Тем не менее успех концерта был бесспорен. Ломакина, Балакирева, хор вызывали без конца. Не было той ледяной холодности, какая нередко царила на концертах Русского музыкального общества. Друзья Бесплатной школы неистовствовали и аплодировали, не щадя своих сил.

Не только они – все сознавали, что в Петербурге усилиями группы энергичных, смелых людей создано нечто новое, небывалое и что это новое не может не повлиять на развитие русской музыки.

IV

Не все члены кружка присутствовали на концерте. Балакирев злился и негодовал. Хотя Корсаков и Мусоргский не могли быть, он не желал им простить отсутствия.

Не успел он усадить Римского-Корсакова за симфонию, не успел тот написать половину ее, как выяснилось, что молодому моряку придется отправиться в кругосветное плавание. Напрасно Балакирев пытался отговорить его. Опасаясь недовольства старшего брата, Римский-Корсаков не осмелился отказаться от военной карьеры. Брат его, Воин Андреевич, сам моряк, требовал от Николая дисциплины прежде всего. Он готов был мириться с музыкой, пока она не мешала главному. Главное же, по его убеждению, состояло в морской службе. Выпущенный из корпуса, Николай обязан был отправиться в дальнее плавание.

Нелегко было молодому композитору отрываться от новых друзей. Но делать было нечего, ослушаться брата Римский-Корсаков не решился. Скрепя сердце он попрощался с друзьями, обещав помнить о них все эти годы и сохранить верность дружбе и музыке.

Балакирев принял его отъезд как личный удар. Он успел привязаться к этому нескладному юноше, который был податливее других, старательнее и принимал все его наставления.

И Гуссаковский, даровитый музыкант, появлявшийся в кружке неаккуратно, тоже взял да отправился за границу. Все, над чем он работал и что с ревнивостью наставника выправлял Балакирев, так и осталось недописанным.

Больше всего злило поведение Мусоргского. Тот хотя и писал горячие письма, но вел себя в последнее время загадочно: то к Шиловской в Глебово уезжал, то в Карево к матери, то куда-то в глушь Псковской губернии – не то к родственникам погостить, не то гувернером быть при их детях; то еще надумал поселиться в Москве с радикально настроенными студентами, с которыми сблизился в Глебове.

Эти отъезды Балакиреву изрядно надоели. Он все собирался прибрать Модеста к рукам, надеть на него узду, а тот ускользал. Пусть бы еще дела в Петербурге шли плохо, так нет: сначала в концерте сыграли его «Скерцо»; затем Лядов, с которым Мусоргский познакомился в Глебове, продирижировал отрывки из «Царя Эдипа». Это ли не начало, не обещание близких побед? Теперь бы только писать.

Балакирев понимал под писанием нечто такое, в чем мог бы

принимать участие сам, прикладывая к каждому такту свою руку, вычеркивая неудачное и вставляя собственное. В своей привязанности к ученику он был деспотичен до крайности. А Мусоргский возьми да и возомни о себе невесть что: решил, что сам во всем разбирается, и стал делать, что ему вздумается. В письмах появились нотки независимости: казалось, он деликатно, но настойчиво давал понять, что ходить на собственных ногах научился и в опеке, чья бы она ни была, больше не нуждается.

Правда, случались у Модеста удачи, которые и Балакирев должен был признать. Так, живя в Кареве, он сочинил «Интермеццо». Однажды зимой он увидел из окна, как идут по тропинке мужики и бабы и как, со смехом и песней, перебивая друг друга, они перебрасываются словами. Ему показалось, что голоса движутся то все разом кверху, то катятся вниз, и вообразилась вещь в манере классической, как бы передающая поступь шагающих и проваливающихся в сугробы людей.

«Интермеццо» удалось. Балакирев решил, что, при всей своей безалаберности, Мусоргский быстро движется вперед. Тем более нужна была ему опека, а то, при его мягкотелости, любой, с кем Модест поведется, может дурно на него повлиять.

К дружбе со студентами Балакирев отнесся подозрительно. Модест писал про них, что они народ живой и горячий: собираясь по вечерам, ставят на голову всё – и политику и искусство. Балакирев склонен был считать, что и тут без него напутают и не то внушат его подопечному, что надо, О будущем Модеста он думал с тревогой: от военного круга тот отошел, от помещичьих дел – тоже, а жить продолжал так, точно был по-прежнему обеспечен. Правда, не раз Модест заявлял, что ищет какого-нибудь заработка, но дальше разговоров дело пока не шло. Словом, было от чего раздражаться и из-за чего тревожиться.

Зато утешением служило то, что к кружку примкнул наконец Бородин. Наконец-то удалось приручить его и сделать верным союзником!

Слухи о нем доходили давно, но случая свидеться не представлялось. А тут на вечере у стасовского приятеля Боткина встретились наконец. Узнав, что статный, с красивым лицом человек, привлекший его внимание, и есть тот химик, о котором речь шла не раз, Балакирев решительно подошел к нему знакомиться.

С радостью он вскоре понял, что собеседник его, как он ни занят наукой и как ни твердит, что времени ни на что больше не остается, музыкой увлечен и существовать без нее не может.

– Да что ж вы делаете? – спросил Балакирев, удивленный. – В концерты, что ли, ходите?

– Слушаю, где только удается, и сам стараюсь немного поиграть – то один, то в четыре руки.

– И это всё?

Испытывая неловкость, Бородин покаялся в том, что пробует даже кое-что сочинять:

– Только это больше наброски, намётки… Заниматься мне удается с перерывами, а вернее – урывками.

– Ага, вот наброски вы мне сейчас и покажете, – объявил Балакирев тоном, не допускающим возражений.

– Тут и рояля нет…

– Э, нет, боткинскую квартиру вам полагается знать лучше меня. Рояль стоит в кабинете. Нуте-ка, пойдемте.

В кабинете они застали хозяина, который, услышав, что они намерены музицировать, любезно сказал:

– Да пожалуйста, сколько душе угодно! С охотой послушаю.

– Нет, у нас тут дело особое, – отрезал Балакирев, – нам надо вдвоем побыть.

– Ну, тогда освобождаю поле боя.

Балакирев прикрыл дверь плотнее, сел на диван и требовательно произнес:

– Так слушаю вас. Играйте.

Приятно было видеть, как солидный ученый смущается в его присутствии. Бородин снова предупредил, что это всего лишь наброски: мысль у него о большой вещи, но сил и времени на нее пока не хватает.

Балакирев выслушал его нетерпеливо, желая поскорее составить собственное мнение о нем. Наконец тот сел за инструмент.

Скрестив на груди руки, Балакирев слушал не двигаясь. А когда тот кончил, произнес со всей горячностью, на какую был способен:

– И это отрывки)! Да это симфония, самая настоящая! Я знал, что в вас что-то сидит, давно вас себе наметил! Что ж вы, сударь, – жеманством страдаете)

– Поверьте, это искренне, – стал оправдываться Бородин. – Иногда мысль, что симфония могла бы выйти, появлялась, но я старался свой жар остужать.

– Зачем же остужать? Наоборот, разогреть его надо. Вы симфонию сочиняете – это надо твердо усвоить, симфонию в русском характере, национальную, своеобразную и притом вполне в принципах новой школы.

Голоса гостей доносились сюда глухо. Казалось, они в этой квартире одни и им никто не мешает. Отстранив Бородина, Балакирев сел за рояль и стал наигрывать отрывки из только что

слышанного.

– Как же, сочинив подобное, можно еще сомневаться? Ведь это прелесть что за тема! Надо немедля оставить науку и посвятить себя музыке.

– Не могу, Милий Алексеевич. Слишком глубоко увяз в своем деле.

– Да поймите вы, чудной человек: химиком можно стать, а музыкантом рождаются! Вы музыкант по рождению.

Безоговорочное его признание принесло автору радость безмерную, и все же он сознавал, что пути в сторону от науки не может быть. Разве что попытаться служить тому и другому – химии и музыке.

– Вам среда необходима. Не может музыкант в наше время сам себя образовать. Вы должны приходить в наш кружок. Время теперь не тихое, а боевое. Вы обязаны участвовать вместе с нами в сражении за русскую музыку.

Долго шел у них разговор. Оба забыли о гостях, о том, что через две комнаты от них сидит шумное и веселое общество.

Им было в тот вечер не до общества. Один чувствовал себя так, точно в него силы новые влили. Мысль о симфонии, которую он сочиняет, делала его другим человеком, более в себе уверенным. Другой гордился своей находкой, но в то же время и раздражен был больше, чем всегда. Вот тут бы и действовать, тут бы всем сообща и засесть за работу – Корсакову, Кюи, Мусоргскому, Бородину! Что бы это могло получиться!

Балакирев ушел от Боткина, не попрощавшись с хозяином. Он нахлобучил шляпу, рассеянно продел руки в рукава пальто. Бородин стоял в коридоре.

– Так как – наш или не наш? – спросил напоследок Балакирев, остановив на нем свой требовательный взгляд.

– Ваш, Милий Алексеевич. Приду непременно.

– Помните: медлить невозможно. Вы нужны нам, нужны русской музыке.

Балакирев сунул ему руку и, не глядя на него, пошел к двери. Сердце его сжималось при мысли о том, что надобно сделать, что можно сделать теперь, будь друзья его податливее и послушней.

V

Окна кабинета были раскрыты. Из окон видна была пустынная улица. Проехал извозчик без седока, провезли бочку с водой, прошел разносчик с корзиной на голове.

Три человека сидели за столом и вели спокойный разговор. В квартире было пусто, только в конце коридора возилась прислуга.

– Жарко как! – заметил один. – Воды со льда нет ли, Николай Гаврилович?

– Сейчас спрошу, – ответил хозяин.

Он прошел по коридору и, выглянув на кухню, справился у девушки, нет ли чего похолоднее. Оказалось, что нет.

– Без хозяйки дела идут неважно, – виновато объяснил он вернувшись. – Я сам теперь редко обедаю дома. В ресторан хотите пойти?

– И в ресторан неплохо отправиться, – отозвался один из гостей, по имени Петр Иванович.

Это был давний друг дома, врач. Дела, занимавшие хозяина и другого гостя, были переговорены еще до того, как доктор Боков пришел. Дела были литераторские: как поступить с прочитанной рукописью, что дать в ближайшем номере журнала. Теперь же разговор шел о вопросах более общих: о политике властей, о реакции и притеснениях, какие чинит правительство печати. Толковали об этом так, как могут толковать хорошо друг друга знающие люди.

Хозяин то подходил к высокой конторке и, беря гусиное перо, делал заметки на листе, то опять возвращался к письменному столу. Мысль его работала напряженно, и на узком бледном лице отражалась внутренняя работа. Иногда он кидал прозорливые, острые замечания. Собеседники больше слушали. Они привыкли к его манере думать вслух, к мыслям, как будто брошенным вскользь, но заключавшим в себе очень многое.

– В гостиную, что ли, перейти? – предложил хозяин, попробовав задернуть штору и видя, что прохладнее не стало. – Там солнце палит не так сильно.

Разговор продолжался в гостиной. Хозяин, быстрыми шагами расхаживая по комнате, говорил о том, что реакция, по всей видимости, станет еще более жестокой и готовыми надо быть ко всякому насилию со стороны властей.

Услышав в передней резкий, короткий звонок, он сказал, остановившись:

– Наверно, за мной кто-нибудь. Третий час, время обедать. Так что же, пойдемте?

Вместо знакомого, которого он предполагал увидеть, на пороге гостиной появился офицер неприятного, почти отталкивающего вида: роста небольшого, приземистый, как будто прибитый к земле, одетый в черный мундир. Самое отталкивающее заключалось в его взгляде – пронзительно-остром и подозрительном.

Вошел он так, как будто не первый раз ему приходилось врываться в чужие дома.

Полагая, что офицер явился по объявлению и намерен снять на лето у него квартиру, хозяин тут же сказал себе, что не сдаст ему ни за что.

– Что вам угодно? – спросил он, передвинув немного очки и внимательно посмотрев на вошедшего.

– Господина Чернышевского увидеть.

Хозяин сделал шаг вперед:

– Я. Чем могу быть полезен?

Они еще пристальнее посмотрели друг на друга.

– Вы? – переспросил офицер, точно не веря себе. – В таком случае, мне надо переговорить с вами наедине.

– А-а! – с притворным оживлением отозвался хозяин. – В кабинет прошу пожаловать.

Чернышевский успел опередить его и, оставив позади себя, быстро пошел по коридору. Понимая, что Чернышевский побежал вперед неспроста, офицер пытался поспеть за ним, но заблудился в темном коридоре, не зная, где тут ход.

– Куда ж вы? Погодите! – крикнул он с раздражением, откинув в сторону вежливость.

Никто не ответил, и он еще грубее крикнул:

– Да проводите меня к нему кто-нибудь!

Гости, оставшиеся одни, мало что поняли в происходящем. Они ничего еще не успели сказать, как дверь тихонько отворилась и на пороге появился еще один человек. Доктор Боков, живший поблизости, узнал в нем пристава полицейской части.

– Господин Мальянов, – обратился Боков к нему, – можете вы разъяснить нам, что происходит? Кто этот господин?

Шагнув вперед, пристав тихо ответил:

– Полковник Ракеев.

Все стало понятно. Ракеев считался мастером по политическим обыскам. Еще на заре своей карьеры он сопровождал из Петербурга в Михайловское гроб с телом Пушкина. Он же производил обыск в квартире поэта Михайлова, которого провокаторы выдали два года назад жандармскому отделению. Вот кто беседовал с Чернышевским.

И тем не менее, хотя все было ясно, Боков спросил:

– Что ему нужно? Зачем он пожаловал?

Пристав ответил:

– Прибыли из жандармского управления и потребовали, чтобы я проводил их сюда. Я сказал, что господина Чернышевского, может, дома нет, а полковник Ракеев уверенно так ответили: «Нет, дома!» Вы бы, господа, не ждали – дело долгое. Да и ареста не будет: карета не вызвана, господин полковник приехали на дрожках.

Журналист Антонович, один из двоих сидевших, сказал:

– У хозяина в кабинете остались мой сверток и шляпа.

– Да уж вы не беспокойтесь. Это я вам сейчас доставлю, – с живостью вызвался пристав.

Они отказались и заявили, что, не попрощавшись с Николаем Гавриловичем, не уйдут.

– Стоит ли, господа, такое беспокойство устраивать? Тем более, что ареста не будет.

Пристав продолжал уговаривать, но, не слушая его больше, они направились в кабинет.

Чернышевский и Ракеев сидели за столом. Глядя так же неприязненно, Ракеев разыгрывал из себя светского человека: спрашивал хозяина, давно ли уехала его жена, доволен ли он тем, как отдыхает семья.

Чернышевский, сохраняя самообладание, с деланной оживленностью обратился к вошедшим:

– Как, разве уходите? А я думал, вместе пойдем обедать.

Антонович подошел к окну и взял с подоконника сверток с купленными утром ботинками, затем взял шляпу. Ракеев следил за каждым его движением. Он подозрительно посмотрел на сверток, но Антоновичу ничего не сказал.

– Так до свидания, господа, – бодро произнес Чернышевский, пожимая обоим руки. – Увидимся, значит, позже.

При этом он успел, когда Боков за чем-то обратился к Ракееву, шепнуть несколько слов Антоновичу, передавая поручение в редакцию.

Они вышли, сознавая свое бессилие и мучась этим. Мысль, что Чернышевский остался один на один с отъявленным негодяем, не давала им покоя.

Антонович жил поблизости. Дойдя до его квартиры, они оставили сверток. Им было не по себе: легче было узнать правду, чем не знать ничего. Они вернулись назад.

Уверения пристава оказались ложными: у подъезда ждала уже тюремная карета. Собиралась толпа – молчаливая, не понимающая, кого берут и за что. Ждали, когда выведут арестованного. Полицейские требовали, чтобы все разошлись.

Люди отходили дальше, но не уходили.

И вот в сопровождении Ракеева вышел Чернышевский, бледный, но сдержанный. Он держался спокойно и так посмотрел на собравшихся, точно карета, стоявшая перед домом, могла увезти его куда угодно, только не в тюрьму. Раскрыв дверцу, поставив ногу на подножку, он в последний раз оглядел стоявших и кивнул, как будто прощаясь ненадолго. Наверно, он сознавал, что больше сюда не вернется, раз его увозит Ракеев, но при этом сумел сохранить выдержку, поразившую всех.

– Обстоятельный барин, – заметил человек, с виду похожий на приказчика.

Другой, в картузе, критически отозвался:

– Барин!.. Бар в тюрьму не сажают.

Ракеев, покосившись на толпу, крикнул кучеру:

– Вези!

Он влез в карету. На козлы сел еще один жандарм. При осуждающем, неприязненном молчании толпы карета тронулась.

Она увозила Чернышевского в крепость. Из крепости путь его лежал в Сибирь, на долгие годы каторги.

Так расправились власти с одним из лучших сынов России.

VI

В крепости был написан роман «Что делать?». Чернышевскому удалось переправить рукопись в «Современник», и в начале следующего года она была напечатана. На молодые умы роман оказал влияние беспримерное. Проповедь в пользу труда осмысленного, полезного и свободного зажгла сердца. Многие молодые люди стали объединяться в свободные ассоциации, пытаясь противопоставить свой труд покорности угнетенных и стяжательской жизни воротил и хапуг.

Мусоргский еще в Москве, пожив со студентами, почувствовал вкус к общению в совместной жизни, где каждый независим и в то же время связан духовными интересами с другими. Вернувшись в Петербург, он поселился вместе с несколькими своими товарищами, создав с ними коммуну. В ту пору коммуны были в чести у радикально настроенной молодежи.

С прошлым было покончено: от офицера в нем ничего не осталось, разве что любовь к французскому языку; помещиком он тоже себя не чувствовал. Брат пытался еще спасти остатки семейного благополучия, а Модест махнул на это рукой. Да и не шло вовсе к его новым взглядам пользоваться тем, что добыто тяжким трудом крестьян.

Друзья искали, куда бы его пристроить, как сделать так, чтобы поменьше времени уходило на чиновничье деловодство, а больше оставалось для сочинительства. В конце концов нашли захудалую работенку – втолкнули Мусоргского в Главное инженерное управление: офицер гвардии, столбовой дворянин, которому был открыт доступ в высший свет, превратился в обыкновенного коллежского секретаря.

В коммуне Мусоргский оказался единственным композитором, остальные просто служили. У каждого была своя комната и своя жизнь, но то, что волновало умы молодежи: идеи свободы, прогресса и равенства, объединяло их. По утрам все расходились, обедали кто в кухмистерской, кто в ресторане, так что быт был несложный, а вечером собирались в общей столовой и затевали горячие разговоры до поздней ночи. Многое читалось вслух, многое узнавалось в спорах.

Однажды кто-то принес сюда «Саламбо», новый роман Флобера, всего год назад вышедший в Париже. Когда роман был прочитан и обсужден, у Мусоргского возник в связи с ним замысел сочинения.

Еще до того как он поселился в коммуне, им было написано несколько песен. Каждая из них по-своему выражала его

внутренний мир. В одной автор создал лирический образ женщины, к которой ощутил влечение душевное; в другой нарисовал суровый портрет нищего старика, скульптурно простой и по своей ясной мелодии доступный каждому; в третьей изобразил трагический образ библейского царя Саула, навеянный стихами Байрона. Мусоргскому хотелось охватить жизнь во всем ее многообразии; хотелось показать себя драматическим художником, лириком и психологом. Все влекло к себе, и он не знал, чему отдать предпочтение. Единственное, что он знал твердо, это что написать оперу всего для него важнее.

Но как выразить себя в музыке, если автору всего двадцать четыре года и техника его не сложилась, а взгляды на искусство тоже еще не вполне созрели и не совсем ясны?

Балакирев и Стасов не верили, что у него хватит сил на что-либо крупное, а его как раз крупное-то и влекло к себе. Им нужны были доказательства того, что талант Мусоргского полнокровен и силен, а он на каждом шагу разочаровывал их то ложной загадочностью, с которой высказывался, то расплывчатостью своих мыслей.

На премьере серовской «Юдифи», когда Стасов метал громы и молнии, злясь на успех, который имела у публики постановка, Мусоргский сидел рассеянный, безразличный и вялый; казалось, ему дела нет до того, что опера, которая совсем не по вкусу его другу, имеет такой успех.

Стасову необходим был слушатель такой же неугомонный, как он сам; поведение Модеста раздражало его.

– Что с вами? – спрашивал он недовольно. – Почему вы такой неживой сегодня? Не выспались, что ли?

– Выспался.

– Так чего таким сфинксом сидите? Просто смотреть на вас неприятно!

Как было объяснить, что он не умеет в любых обстоятельствах быть откровенным? Экзальтированность Стасова претила ему в эту минуту больше всего.

Придя со спектакля, Стасов написал сердитое письмо Балакиреву. Он жаловался на нелепое, безличное поведение Мусоргского, который ничего не понял в музыке и ни на что как следует не отозвался.

Вскоре Модест написал Балакиреву тоже. И странное дело: в письме был дан толковый, умный разбор спектакля.

Он на память привел музыкальные примеры, высказав много собственных мыслей и подметив такое, что от самого Стасова ускользнуло. Юдифь, писал он, баба хоть куда: она с размаху рубит голову Олоферна – к чему же здесь арфы и нежная

идеальная инструментовка? Доказав неопровержимо, что в музыке кое-что позаимствовано из обычных западных оперных образцов, он, не колеблясь, осудил это и отверг.

Отстаивать свою самостоятельность, даже во мнении друзей, удавалось с трудом.

В «Саламбо» Мусоргского привлекли драматичность событий и возможность очертить сильные характеры. Тут было нечто общее с «Юдифью». Может быть, желание оригинально, по-своему, воплотить то, что уже воплотил Серов, как раз и толкнуло его на мысль использовать этот сюжет.

Но чем больше Мусоргский вдумывался, чем глубже вживался в материал, тем становилось яснее, что в построении Флобера надо многое переиначить. На первый план в замысле Мусоргского выступили ливийцы, боровшиеся за свободу. Столкновения древнего Карфагена с Ливией тем и были заманчивы, что давали возможность создать сцены с участием народа. Хотелось обрисовать и движение масс и душевные движения героев, выдвинутых массой. Для воображения и творчества был, казалось, материал непочатый. Все бурлило в нем, сталкивалось и подчас мешало одно другому; но, набрасывая то одну сцену, то другую, Мусоргский не торопил себя – время должно было внести порядок в мысли; рано или поздно прояснить и сплотить их в нечто цельное.

В кружке отнеслись к работе Модеста сочувственно. Стремление к крупному полотну, намерение обрисовать социальные столкновения в музыке были близки балакиревцам. Но сумеет ли Модест свести все в одно и создать цельную вещь, вызывало сомнение.

В коммуне он чувствовал себя свободнее. Там его не стесняла придирчивость: хотя вкус у товарищей был строгий и мнения высказывались дельные, цеховой нетерпимости не было вовсе. Мусоргский показывал по вечерам все, что сделал. Он играл, товарищи прямодушно говорили, что им нравится, а что не совсем; потом говорили на другие темы; затем он снова садился играть.

Иной раз, посмотрев на. часы, кто-нибудь замечал:

– Время-то, время! Пора спать ложиться, завтра рано вставать.

Другой примирительно предлагал:

– Еще полчаса посидим.

Поздно ночью друзья возвращались в комнаты, чтобы завтра, в туманное петербургское утро, при лампах, наспех напившись чаю и закусив чем бог послал, взяв под мышку портфель, отправиться в свое ведомство или управление.

«Саламбо» хвалили; все требовали, чтобы Мусоргский продолжал работу. И только сам он, никому в этом не признаваясь, понимал чем дальше, тем больше, что в мире, для него далеком, во времени, которого он не знает, трудно, даже невозможно выразить себя. Многое обдумывалось неделями, месяцами, прежде чем ложилось на бумагу; оно отягощало, мучило, беспокоило и никак не находило нужного воплощения.

Зато когда Мусоргский прикоснулся к близкому, все пошло по-другому. Однажды, после чтения «Современника», проведя вечер в разговорах о Некрасове, Модест решил написать музыку на его текст. Он выбрал «Калистрата».

Печальная ирония стихотворения, горечь, прикрытая насмешкой над самим собой и над собственной нищетой, подсказали решение как будто простое, но смелое. Мусоргский стал чутко следовать за текстом, прислушиваясь к внутренней интонации стихов.

Калистратушка дожидается урожая с непосеянной полосыньки. Волосы вместо гребешка он расчесывает пятерней. Дома хозяйка так богата и нарядна, что лапти носит даже с подковыркою. Сбылось еще над колыбелью сделанное предсказание, что он, Калистратушка, будет жить припеваючи, сбылось по воле божией. Он и богат, и пригож, и наряден – нищий, бездомный, босой.

Многое из того, что успел увидеть Мусоргский сам, что он подслушал на дорогах, в трактирах, на почтовых станциях, ожило вдруг, когда он взялся за современный текст. Со своим врожденным сочувствием к обиженным и гонимым, Мусоргский сумел тему народной нищеты поднять в «Калистрате» до высоты поэзии и большого искусства.

Песня была принята хорошо и балакиревцами и в коммуне. Казалось, автор мог быть доволен – его оценили по справедливости. Но сердце его нуждалось в понимании еще большем. Ему необходимо было не только сочувствие, но и дружба, равная, горячая, а не снисходительная, – пылкая и молодая дружба художника.

VII

Из кругосветного путешествия вернулся Римский-Корсаков. Он возмужал, стал тверже, прежняя неуклюжесть не так резко бросалась в глаза. За три года он многое увидел, прочитал множество книг; но оторванность от друзей и музыки тяготили его все время.

Возвращаясь, он с опаской думал, не забыли ли его друзья. Хотелось засесть поскорее за работу и отдать себя в распоряжение умного руководителя.

О таком послушном ученике мечтал больше всего Балакирев. Когда Римский-Корсаков явился к нему, Балакирев обласкал его, встретив как равного и как союзника. Новостей было много: Бесплатная школа прочно стала на ноги, концерты ее имели все больший успех, для молодых композиторов путь был расчищен, и публика принимала с охотой их произведения.

– Дело теперь за вашей симфонией. Нельзя терять время, принимайтесь за нее поскорее. А ну-ка, поиграйте – то, чего я не знаю.

Но только Корсаков начал, как Балакирев нетерпеливо прервал его:

– Э, нет, батенька, слушать такого пианиста неинтересно. Вы совсем разучились играть. Давайте уж лучше я сам.

– Я нот с собой не принес.

– Плохо, плохо… Как же вы без нот явились? Отбился, совсем отбился от рук! Что же мы с вами делать будем? Ладно, тогда я другую симфонию вам покажу. Большого полета автор, с сильными крыльями. Взлетит скоро так, что за ним не угонишься. Вот какие люди тут поднялись, Корсинька! – ласково закончил он.

– Как же его зовут, Милий Алексеевич?

– Александр Бородин. Запомните это имя. Да он сам, впрочем, скоро явится.

И он принялся исполнять симфонию.

Так же тесно и неприбрано было в комнате, так же лежали повсюду книги и ноты, а у Римского-Корсакова было чувство такое, точно он в родной дом возвратился. Опять он попал в атмосферу музыки.

Симфонии, которую сыграл ему Балакирев, он, по правде сказать, не понял. Что тот ни говорил, Римский-Корсаков соглашался, только бы не вступать в пререкания.

Вскоре пришли Бородин и Мусоргский. Бородин, самый старший среди музыкантов кружка, пользовавшийся известностью как ученый, держался просто, скромно, даже с робостью, и

понравился Корсакову с первого взгляда. Мусоргский за эти годы располнел и даже несколько обрюзг. Хотя Модест и прислушивался ко всему, что говорили другие, но казался занятым собой; в глазах его то вспыхивало внимание, то опять он весь уходил в свои мысли.

Все, по чему так соскучился Корсаков на чужбине, было в тот вечер: музыка и разговоры о музыке – новые сочинения, концерты, Бесплатная школа, приезжие артисты – обо всем переговорили.

Бородину надо было завтра рано идти на занятия, и он побыл недолго; Корсаков, желая продлить наслаждение от встречи, остался, чтобы уйти вместе с Мусоргским.

Ночь была лунная. Сентябрьское мягкое тепло держалось еще на улицах. На Загородном горели редкие фонари. Невский был освещен лучше: луна стояла против проспекта и как бы обращалась с молчаливым вопросом к прохожим.

Прохожих было немного, движение затихало: изредка процокает лошадь подковами, прогремит экипаж или линейка проедет.

После всего, что Римский-Корсаков услышал сегодня, неудобно было расспрашивать еще. Он не заговаривал первый – боялся попасть впросак и обнаружить свою отсталость.

– Как вам у нас показалось? – спросил Мусоргский наконец.

– После того как поживешь вдалеке от родины, все это особенно дорого. Не знаю, можно ли признаться, но я прямо счастлив, что вернулся и опять в вашем кругу.

Мусоргский ласково прикоснулся к его руке.

– Уезжал я гардемарином[vii] – вернулся мичманом флота. Брат твердо решил мою судьбу за меня, а мне после сегодняшнего вечера все кажется чудным в моей флотской жизни.

– Что же вам теперь приходится делать по службе?

– Экипаж в Галерной гавани, а я живу на Васильевском, в меблированных комнатах. Сижу часов пять в канцелярии, строчу рапорты, а потом, кроме дней дежурств, свободен.

– У вас дела, я вижу, поменьше, чем у меня, – рассмеялся Мусоргский. – Мне приходится сидеть позже. – Он задумался и замолчал. – А роялем владеете как?

– Милий Алексеевич нашел, что отвратительно, а мне было странно: в кругу любителей мою игру даже хвалят. Конечно, до вашего уровня мне никогда не подняться, вы играете необыкновенно.

Опять Мусоргский ласково дотронулся до его руки. Корсакову вспомнилось, как еще до плавания они обменялись, встретившись в первый раз, понимающими взглядами. Он

испытывал по отношению к Мусоргскому чувство все возраставшей симпатии.

– Можно мне изредка к вам заглядывать, Модест Петрович? – спросил он.

Мусоргский отозвался не сразу.

– Жил я одно время в славной компании, там и видеться было удобно'. Теперь, после того как со мной приключилась какая. – то хворь, брат вытребовал меня к себе. Трудновато у него, отвык я чужим умом существовать.

– А я поселился самостоятельно, – сказал Римский-Корсаков. – Отдельно от брата и матери.

– Я свою мать похоронил, – задумчиво произнес Мусоргский. Помолчав, он добавил: – В ее память написал «Из детских лет». Или это вообще воспоминание о том невозвратном времени…

Минули Садовую, затем Морскую. Время было идти каждому в свою сторону, но обаяние, исходившее от этого загадочного человека, шагавшего рядом, привлекало Римского-Корсакова к нему все сильнее.

– Так вы симфонию дописывать будете? – продолжал Мусоргский. – Я начало до сих пор помню. Хорошо она начата и имя вам сделает.

– Что вы!

– Сам пробовал было симфонию писать, да оставил. Живое слово меня манит больше, хочу портреты звуками создавать. – Неожиданно оборвав себя, он спросил: – А вам в самом деле у Балакирева нравится?

– Да, очень! – горячо ответил Корсаков.

Мусоргский подумал и согласился:

– Удивительный народ они – Стасов и он! Я их очень люблю… Мы с вами вот что: мы с вами встретимся у Людмилы Ивановны Шестаковой.

Римский-Корсаков нерешительно заметил, что он у нее не бывал.

– Добрейшей души человек, – ответил Мусоргский убежденно. – С первого раза войдете туда, как в свой дом. Уж ежели я зову, приходите без страха.

Тут наконец они попрощались.

Два дня Римский-Корсаков жил, тяготясь тем, что не с кем поговорить. К Мусоргскому идти было нельзя. Подумав, поколебавшись, вспомнив, что и Бородин приглашал его, он решил отправиться к Бородину.

Жил тот в здании Медико-хирургической академии, там же, где помещалась его лаборатория. Корсаков как раз в лаборатории и застал его.

Бородин был в халате; с высокого табурета он наблюдал за реакцией, происходившей в реторте. От реторты во все стороны отходили резиновые и стеклянные трубки, соединявшие ее с колбами.

– Берите стул, садитесь, – встретил он смущенного моряка. – Пока тут сатанинские дела творятся, мы с вами поболтаем немного.

Заговорив о балакиревском кружке, Бородин доверчиво признался, что вначале его там удивляло все и он сильно робел, а теперь ничего: привык, кажется.

– Я не чувствую себя таким невеждой, каким был: Листа от Мендельсона могу теперь отличить.

– А я не сумел бы.

Простота, с которой держится профессор, ученый, признанный в кружке музыкантом первого класса, снова удивила Римского-Корсакова. Он вскоре привык к обстановке лаборатории, к тому, что хозяин то и дело глядит на часы, выходит в коридор, свистит там, пытаясь точно высвистать ноны и децимы,[viii] затем возвращается, занимает свое место и опять наблюдает за тем, что происходит в реторте.

– Не скучно вам?

– Нисколько, – сказал Римский-Корсаков.

– А ночевать хотите остаться? Мы с женой, Екатериной Сергеевной, вечером музицируем. Она не как я – пианистка отменная. Я при ней побаиваюсь играть, как бы не засмеяла. Пальцы я растопыриваю вот так, – он показал, – и она всегда высмеивает меня.

– Вот и я так тоже! – обрадовался Римский-Корсаков.

– Вам со мной, выходит, играть в четыре руки, а то они доки, к ним не подступишься.

Позже оказалось, что жена над ним не смеется, а, наоборот, слушает с увлечением. Она не скрывала при постороннем, что восхищается своим мужем.

Вечер прошел незаметно. Бородин часов в десять стал требовать, чтобы Екатерина Сергеевна шла спать.

– Она у меня хворенькая, и я ее всегда прогоняю, – объяснил он. – А с вами, Николай Андреевич, мы еще поиграем в полное удовольствие.

Корсаков согласился с охотой. О лучшем он мечтать не мог бы.

VIII

Мусоргский встретился ему на улице. Он подхватил Корсакова под руку, как старый знакомый.

– Со службы иду. В Лесное ведомство перевелся. Был коллежский регистратор, теперь чином выше стал: иду в гору! – сообщил он о себе с иронией.

Портфель его был набит бумагами, и так это не шло к Мусоргскому, что даже жаль его стало.

– Людмила Ивановна зовет вас прийти, я ей про вас рассказывал, – продолжал Мусоргский. – Чудеснейший человек, увидите сами. Наши собираются к ней послезавтра. А мы с вами встретимся там пораньше и потолкуем обо всем на свете.

Он потряс руку Римскому-Корсакову и повернул в свою сторону. Шел он немного враскачку, как ходят люди полные или страдающие одышкой. В прошлый раз Бородин вспоминал, каким был Мусоргский лет девять назад, когда они встретились на дежурстве. От изящного, хрупкого офицерика ничего не сохранилось в его облике.

Римский-Корсаков на приглашение откликнулся и к Шестаковой в назначенный день явился. Встретила его горничная с наколкой на голове, приветливая и обходительная;

– Пожалуйте, барыня дома, в гостиной сидят. – Она проводила его туда и произнесла торжественно: – Господин Римский-Корсаков.

Из глубины темной гостиной отозвался знакомый голос:

– Вот и наш симфонист, Людмила Ивановна. Про него-то я и рассказывал.

Мусоргский, оказывается, был уже здесь. Рядом в кресле сидела хозяйка, сухощавая женщина с гладко причесанными волосами и мягкой, спокойной строгостью черт. В лице ее было привлекательное сочетание душевности и благородства. На брата своего, Михаила Ивановича Глинку, такого, каким запомнил его Корсаков по дагерротипам, она походила мало.

– Что же застеснялись-то? – обратилась она к вошедшему мичману. – Подойдите-ка ближе, погляжу на вас. Моденька мне всё рассказал. По своей привязанности к брату и ко всему, что близко его делу, я радуюсь от души, когда про новое дарование слышу. Вас как звать-то?

От ее слов на Римского-Корсакова повеяло домашней, приветливой добротой.

– Николай, – сказал он.

– А по батюшке?

– Мы его, Людмила Ивановна, будем Корсинькой звать, – объявил Мусоргский.

– И ладно получится, – согласилась она. – Вы Моденька, а он Корсинька.

Мусоргский важно, без улыбки, кивнул, глядя своими немного выпуклыми глазами на молодого друга.

– Поиграть, наверно, охота? – продолжала Людмила Ивановна. – Играйте, а я своим делом займусь.

Она взяла вышивание, предоставив их друг другу.

Они отошли в угол гостиной, где стоял рояль. Римский-Корсаков больше отвечал на вопросы Мусоргского, чем разговаривал сам. Он чувствовал за спиной присутствие хозяйки и смущался. Мысль, что это сестра великого музыканта, что тут бывал сам Глинка и на этом рояле, возможно, играл, волновала его. Он не понимал, как можно вести себя тут с непринужденностью и болтать невесть о чем, как это делал Мусоргский.

Людмила Ивановна, позвав горничную, велела зажечь свечи. Она отдала еще кое-какие распоряжения и занялась снова вышиванием. Мотки ниток разного цвета лежали перед ней на столе, и она брала то один, то другой.

– Хотите, я песни свои покажу? – доверчиво предложил Мусоргский.

Они уселись. Когда Мусоргский покосился – на него, Корсакову показалось, что он сел слишком близко, и он немного отодвинул стул, чтобы не мешать.

Мусоргский откашлялся, посмотрел на пюпитр, точно перед ним стояли ноты, и, не отрывая глаз от пюпитра, запел.

Он пел вполголоса, мягко, не прикидываясь ребенком, а играя ребенка. Было понятно, что это взрослый, умно, по-своему, деликатно и тонко рисующий детский душевный мир. Мусоргский проникал в него так естественно, точно это вполне доступно и не составляет труда для него. Голос у него был приятный, чистый, с глухотцой, придававшей пению еще более задушевный оттенок.

Корсаков сидел пораженный: подобного ему еще не приходилось слышать. Он до сих пор привык искать в музыке красивое, округленное, изящное, привык требовать от нее мыслей и чувств. Но чтобы музыка, описывая в звуках тончайшие движения души, рисуя внутренний мир, четко следовала при этом за речевой интонацией, – с этим до сих пор не приходилось встречаться.

Мусоргский остановился и медленно повернул в его сторону голову.

– А еще? – попросил Корсаков.

– Про это что изречете, друг мой?

– Необыкновенно!

Мусоргский важно кивнул. Он стал исполнять другие свои песни.

Это было ново до крайности. Чувство удивления, охватившее Римского-Корсакова, не покидало его до конца.

– Правда ведь, хорошо? – подала со своего места голос Людмила Ивановна.

– Очень!

– Вот за это я его и люблю, что он так проникает в самое нутро человека. Никто так не описывает душу, как он. Александр Сергеевич наш – большой мастер, но Моденька, кажется, вперед от него ушел.

Мусоргский снова, точно в этом доме признания были ему привычны, кивнул, ничего не ответив.

– Вот я вам еще что сыграю, – предложил он, почувствовав в Корсакове благодарного, восприимчивого слушателя.

Но тут горничная с порога гостиной объявила:

– Милий Алексеевич и Цезарь Антонович.

– А, ну-ну! – Людмила Ивановна стала собирать мотки в шкатулку. – Как раз все до них сделала, весь свой урок, теперь можно похозяйничать.

Новые гости тоже появились так, как появляются в обжитом, гостеприимном доме, и сразу завязался общий разговор, в котором Кюи играл первую роль.

Минут через десять явился Стасов. Не давая себе отдыха, с разбегу, он принялся выкладывать последние новости:

– Бесплатная школа – как бельмо на глазу у всех. Читали журналы? Фаминцын ругается, Феофил Толстой тоже – словом, все пришли в ярость. Небылицы разные сочиняют, а причина весьма простая: на последнем концерте Русского музыкального общества билетов было продано на сто два рубля всего, а у нас сборы полные! Вот им что досадно. Великая княгиня высшей, от бога данной ей властью распорядилась кормить бутербродами всех, кто станет к ним в хор ходить. Бутерброды обещаны и сладкий чай – вот на чем пробуют нас объехать! А мы без бутербродов, да-с!

– Может, насчет этого чаепития пройтись в статье? – предложил Кюи, отрываясь от журнала, который он перелистывал.

– Да, вы сумели бы, вы на этот счет злой. У вас, Цезарь Антонович, получилось бы метко.

– По-моему, учинять драку по пустякам не стоит, – возразил

нервно Балакирев. – Уж если с ними драться, так за дело. Они клюют меня, а я молчу. Бог знает чего мне это стоит, но я жду… Чего жду, не знаю. Может, честности, справедливости? А откуда она придет?

Мусоргский в разговоре не участвовал. Усевшись рядом с хозяйкой, он принялся помогать ей: подставлял чашки, когда она начала разливать чай, передавал бутерброды. Корсаков посматривал на него: все делалось с важной старательностью, за которой скрыто было ощущение чего-то комического. Мусоргский, продолжая свое дело, раза два взглянул на Корсакова так, точно у них свой секрет, который надо держать от остальных в тайне.

Позже Балакирев предложил прослушать симфонию Римского-Корсакова:

– Нептун, бог морей, отпустил его, и плавание вокруг земного шара закончилось. Будь земной шар вдвое больше, автор наш проплавал бы еще три года, мы бы все ждали его симфонии. Так послушаем, а?

– Браво, Милий, вы сегодня в ударе! – выкрикнул Стасов. – И мрачности меньше. Приятно на вас глядеть.

– Милий Алексеевич, ноты у вас дома остались… – сказал Римский-Корсаков со смущением.

Балакирев снисходительно на него посмотрел и, ничего не ответив, направился к инструменту. К удивлению автора, он стал исполнять его не вполне законченное сочинение на память. Играл Балакирев так, как будто знал симфонию давно, и при этом приговаривал:

– Отличное место! А это? А разработка? Прямо сложившийся музыкант!

IX

Веяния, шедшие из глубин общественной жизни, дошли и до театра. Лет десять назад «Русалка» Даргомыжского потерпела крах. Спектакли ее давались редко, публика ходила неохотно.

Но за десять лет выросла новая публика, поднялась молодежь, требовавшая от искусства искренности, правды, народности. Вкусы ее вскормили ту почву, на которой сложилась и завоевала признание Бесплатная музыкальная школа. Это молодежь стала ходить в русскую оперу, заполняя верхние ярусы. Это она отвернулась от оперы итальянской, насытившись ее однообразием и мишурной красотой.

Театр-цирк, где шли первые представления «Русалки», сгорел несколько лет назад. Его отстроили вновь, он стал называться Мариинским. По-прежнему там шел балет в очередь с оперой. По-прежнему оперы западные занимали первое место.

И вот, после годов забвения, решили возобновить «Русалку». Потому и возобновили, что публика жаждала русских творений.

Автор от этой затеи ничего для себя не ждал. Декорации были пущены в ход те же убогие, костюмы – такие же затасканные, бутафория – столь же нелепая. И то же, казалось, равнодушие должно было встретить возобновленную, но не обновленную постановку.

Он до крайности удивился, когда ему сообщили, что билеты на первое представление раскуплены за два дня.

Не питая больших надежд, со стесненным сердцем отправился Даргомыжский на спектакль. Перед ним снова вставали тягостные картины неудачи, постигшей его в свое время.

Театр был полон, и там царило оживление непривычное. В ложе, которую получил автор, сидели балакиревцы. Даргомыжский позвал их из вежливости, хотя критики их опасался не меньше, чем суда публики.

Не так давно, у Людмилы Ивановны, где он стал бывать теперь часто, речь зашла о «Русалке». Признавая ее достоинства, Стасов доказывал, что в ней есть и банальности. Даргомыжский слушал насупившись, затем рассердился и пошел к роялю.

– Это, что ли, банально? Или вот это? – с раздражением спрашивал он, играя отдельные места.

Стасов отвечал, не колеблясь:

– Да, Александр Сергеевич, тут чуть-чуть пахнет итальянщиной, как вы сами этого не признаете? Ведь вы другой теперь, наш или почти наш, вам самому все должно быть видно.

– Нет, этого видеть я не желаю! – с сердцем ответил

Даргомыжский. – Я «Русалку» свою люблю по-прежнему и считаю суд общества несправедливым.

– Да-да-да, – горячо подхватил Стасов, – общество вас не поняло, это верно, и это позорит наше искусство. Но недостатки при всем том недостатками остаются.

Опустив крышку рояля, автор "решительно встал.

– Нет, вы понимаете, этак, я так… Смысла нет спорить. – И отошел.

В тот вечер ему стало особенно горько. Он был достаточно прозорлив, чтобы понять, что будущее – за этой молодой, быстро растущей группой. Если передовые в музыке люди «Русалку» его отвергали, что тогда говорить о других!

И вот балакиревцы сидели в одной ложе с ним и шумно переговаривались.

– Публики-то, публики! – заметил Стасов. – Давно подобного не было. И возбуждение какое, поглядите!

В самом деле: театр был так оживлен, как будто все ждали сегодня чего-то особенного.

Однако, когда дирижер занял место и началась увертюра, возникла полная тишина.

Увертюру восприняли так, точно она нечто новое открыла, чего никто прежде не слышал, нечто такое, что каждому мило, понятно и близко.

«Что же это такое? – с волнением спросил себя автор. – Почему то, что прежде оставляло слушателей равнодушными, сегодня доходит до всех?»

Внимание публики, ее отзывчивость заставили сердце Даргомыжского забиться сильнее.

Как только растаял последний звук увертюры, весь театр начал аплодировать. Аплодировали верхние ярусы, ложи, партер. Капельмейстер уступил настояниям публики и встал со своего места.

Стасов, чуткий до всякого впечатления публики, сказал, схватив автора за руку:

– Помяните мое слово, Александр Сергеевич, сегодня вас ждет подарок большущий!

– Какой там подарок! – проворчал тот. – Только бы провала не было…

Но он сознавал уже, что пришла удача. Откуда пришла, какие силы ее принесли, Даргомыжский не мог себе объяснить. Удача росла от сцены к сцене, от картины к картине. То, что прежде оставляло всех безучастными, теперь вызывало бурю восторга. То, чего прежде не замечали или в чем видели лишь смешную сторону, теперь трогало искренностью своего музыкального

воплощения и вызывало ответные чувства публики.

Балакиревцы торжествовали, точно это была победа не только автора, но и их. Забыты были несогласия, да и Даргомыжский тоже не помнил ни иронических замечаний, ни претензий к нему. В минуту успеха хотелось иметь союзников, ощущать их возле себя, и он был счастлив, что рядом сидят талантливые, энергичные люди, за которыми будущее и которые сегодня считают его своим.

– Что ж это такое, господа? – спрашивал он, сияя от радости. – Что такое с публикой произошло? За что же она меня обижала прежде?

Даргомыжский не ждал ответа, не требовал его. Он сам понимал, что это, быть может, другая публика и что время пришло иное и созрели в обществе силы, которым дорого национальное искусство. Они не склонны кидаться на любую заграничную приманку – им, наоборот, стали нужны творения народного русского гения, и всё, в чем есть хоть капля народного, они поддержат со всем энтузиазмом и пылом молодости.

Балакирев, опытный в обращении с публикой, сказал:

– Надо на вызовы выйти, Александр Сергеевич.

Даргомыжский еще раз посмотрел на своих друзей, ожидая поддержки. И, когда Мусоргский, Стасов, Кюи подтвердили, что выйти на вызовы надо, он поднялся, подчиняясь необходимости.

Его появление на сцене было встречено аплодисментами не только зала, но и всех певцов. Даргомыжский с достоинством поклонился, хотя сердце его в эту минуту разрывалось от радости.

Он пошел за кулисы, но, не пройдя и нескольких шагов, принужден был вернуться.

И еще несколько раз он возвращался. И в следующем антракте выходил к публике снова. Он благодарил и обнимал артистов – Платонову, Комиссаржевского, Леонову, Осипа Петрова, – которые своим любовным отношением к делу, своей преданностью спасли оперу от забвения и донесли до нынешних дней.

– Победа полнейшая! – встретил его в ложе Стасов. – Теперь уже не затрут и не задвинут – зрители не позволят. Вот что значит общественное мнение, господа! – сказал он торжествуя.

Автор наконец уверовал в то, что опера его спасена.

На следующее утро Даргомыжский долго ходил по комнатам своей квартиры и мысленно переживал вчерашний триумф. Он переживал его во всех подробностях; каждая вспоминавшаяся деталь была мила его сердцу.

Он ждал вестей, и вести шли отовсюду. Уже второе

представление спектакля «Русалка» объявлено и билеты вновь расхватали. Говорят, что сколько бы теперь спектаклей ни объявили, все равно театр будет полон. Петербургская публика только и толкует, что о «Русалке», точно это рождение оперы, а не воскрешение ее из небытия.

Ему хотелось писать, писать без конца. Отказавшись было совсем от оперных сюжетов, Даргомыжский только и думал теперь, что о новой опере. Хотелось написать нечто такое, что еще больше пришлось бы всем по душе, и в особенности балакиревцам. Пусть бы они приняли с тем же искренним увлечением, с каким принимали романсы, песни, оркестровые вещи, которые он в последние годы сочинял.

Думать тут надо было очень много, прежде чем садиться за письменный стол. И Даргомыжский, полный творческого возбуждения, думал.

X

Застав у Шестаковой все ее общество, он с умышленной небрежностью преподнес, словно речь шла о чем-то вполне обыкновенном:

– Музицировать сегодня, друзья мои, собираетесь? Я тоже сюжетец один подготовил. Когда очередь до меня дойдет, покажу.

Даргомыжского окружили и стали спрашивать, в какой манере его новое сочинение и что именно за сюжет. Скрываться от них показалось бессмысленным, да он и не мог бы долго держать в секрете свою работу.

– Я сам озадачен новизной того, что делаю. Все думал, думал, боялся, а как сел за работу, так само собой и пошло. Ежели вы меня спросите, пакостно ли получается или хорошо, сказать не сумею.

– Да сыграйте же, Александр Сергеевич! – потребовал Стасов. – Нам бы только услышать, а уж что к чему, мы определим.

Людмила Ивановна, подняв голову, пытливо смотрела на всех; она опасалась, как бы разговор не получил неприятное направление.

– Опять потом скажете, что тут пропасть банального?

– Прямота наша, Александр Сергеевич, от любви к вам и большого уважения!

– Знаю, знаю, – ответил Даргомыжский ворчливо. – Что с вами поделаешь! Придется показать.

Людмила Ивановна взялась снова за вышивание.

– Кто же будет подпевать? – И он остановил взгляд на Мусоргском. – Вы, Модест, для этого сюжетца вполне подойдете. – Он поохал, садясь за рояль. – Давно мысль такая явилась – написать оперу, ничего не меняя в тексте, чтобы музыка в точности воспроизводила смысл слов. Надо было только найти подходящее произведение. И я нашел, господа: пушкинского «Каменного гостя» взял.

– Мысль превосходная, – решил Стасов.

– Да вы погодите хвалить, сначала послушайте. Сам себе не верю. Когда тебя несет, иногда можно такое сочинить, что потом краснеть только будешь.

Он начал играть, подпевая себе. Рядом стоял Мусоргский и, глядя в ноты, исполнял другую партию. Иногда он перебрасывался на следующую строчку, где партия казалась важнее. Остальные стояли полукругом, заслонив исполнителей от хозяйки дома. Стасов выдвинулся вперед; он вытянулся, стараясь

заглянуть в ноты и ничего не упустить.

Перед слушателями возникли Дон-Гуан, Лепорелло, Донна Анна, возникло что-то такое, к чему никто не был подготовлен. Все было неожиданно по новизне, смелости и по речевой точности интонации: словно каждый пел и разговаривал в одно время. На «Русалку» это не похоже было нисколько: тут все поражало и все вместе с тем пленяло новизной поисков.

– Александр Сергеевич, да вы точно во второй раз родились! – крикнул Стасов, не выдержав.

Даргомыжский продолжал играть. Потом, остановившись, спросил:

– Ну, где тут банальности? Говорите.

– Я и спорить с вами не стану! С этой минуты я не судья ваш, а поклонник. – И, растолкав других, Стасов зашагал по комнате, возбужденный и искренне обрадованный.

Он жестикулировал широко, объясняя, что тут поистине нового, двигающего искусство вперед.

Даргомыжский сидел не оборачиваясь. Вокруг плотным кольцом, заглядывая в ноты, стояли друзья. Он представил себе неумолимый взгляд Балакирева, усмешку на лице Кюи. Но гул общего одобрения успокаивал его. Ссутулившийся, в старом пиджаке, обвисавшем на спине, Даргомыжский слушал, трогая потихоньку клавиши; потом сказал:

– Слова ваши вселяют в меня силы. Спасибо, господа. Если охота вам, буду приносить на ваш суд все по мере того, как оно станет ложиться на бумагу. Я, признаться, боялся, не скоропись ли получается. – Он погладил шершавыми, узловатыми руками колени. – Чувствую, что это лебединая моя песнь, потому, наверно, и тороплюсь. Время мое на исходе…

Все притихли. В тоне его и в голосе не было и тени строптивости или настороженности, которые прежде заставляли настораживаться других.

Даргомыжский встал, освобождая место:

– Кто же за мной? Чья теперь очередь?

Признаться, большой охоты слушать не было: слишком все были полны впечатлений от «Каменного гостя». Но именно поэтому, сознавая, что он их взбудоражил, Даргомыжский повторил:

– Кто же, друзья мои? Вечер наш только начат.

Балакирев требовательно обратился к Мусоргскому:

– Модя, покажитесь-ка, а то вы что-то стали нас избегать.

Мусоргский успел подсесть к хозяйке дома и о чем-то шептался с нею. Услышав это строгое обращение, он сказал:

– Извольте, если только не буду избит собранием за

излишнюю дерзость.

Даргомыжский, пришаркивая немного, как бы подчеркивая, что он среди них самый старый, подошел к Людмиле Ивановне. Придвинув кресло с гнутой спинкой, он сел возле нее и, вытягивая ноги, произнес:

– Уж вы, голубушка, извините: посижу с закрытыми глазами, послушаю молодежь.

Конечно, он не дремал: ему было слышно все, что вокруг говорилось. Интерес к словам Мусоргского вслед за тем, как только что всех увлек «Каменный гость», несколько огорчил его. Хотелось упиться признанием подольше, ни с кем его не деля.

Мусоргский объявил уже, что он намерен спеть сатирическую вещь под названием «Классик».

– Нашего собственного сочинения слова и музыка, – добавил он и обратился к хозяйке: – Добрейшая наша покровительница, в какую дверь прикажете бежать, ежели меня за дерзость бить захотят?

Даргомыжский послушал начало с закрытыми глазами, но затем не выдержал – захотелось следить за поющим. До чего же странное у него дарование! То блеснет – и все как будто наружу, то кажется, точно он в дремоте находится. Вот, пожалуйста: сатира едкая, злая, в каждом вокальном оттенке точная!

Да, это был музыкальный портрет, до того реальный, словно звуки приобрели такую же силу и смысл, как слова. Музыка с разительной меткостью попадала в цель, сохраняя при этом свой особенный, только ей одной свойственный колорит.

Даргомыжский почувствовал волнение в сердце: не от его ли поисков родилась подобная вещь? Не от его ли собственных тяготений пошел этот молодой, загадочный, до сих пор непонятный музыкант, стоящий сейчас у рояля? Вот куда потянулись нити – к следующему поколению; он, стало быть, не одинок.

Стасов нетерпеливо поглядывал на всех: узнают ли они, кого разит сатира? Виден ли прототип? Да это почтеннейший наш Фаминцын, злейший противник балакиревцев! «Я прост, я ясен, я скромен, вежлив и прекрасен», – докладывает он о себе вначале. Но как только дело доходит до его недругов, он начинает, меняя спокойный, вежливый тон на озлобленный, аттестовать себя: «Я враг новейших ухищрений, заклятый враг нововведений». Не только слова, но и музыка бесподобно пародировали все оттенки героя – от благообразия до откровенной злобности.

Стасов сдерживался с трудом. Да и Балакирев слушал с таким же чувством: засунув два пальца в жилетный карман, он посмеивался, глядя себе под ноги; то болезненная гримаса

появлялась на лице, то торжествующая, словно он в эту минуту сводил счеты с врагами. Кюи улыбался так, как будто знакомый портрет увидел, поразивший его сходством с оригиналом.

Мусоргский не успел кончить, как его голос перекрыли смех и гул одобрения:

– Вот это метко! Куда там «Саламбо»! Вот вы где настоящий! – крикнул Стасов.

Автор, понимая, что сатира всех победила, стоял скрестив руки и добродушно оглядывал общество.

– Так вот и будем разить противников, – произнес он.

– За сегодняшнее вам выставляется высший балл, – объявил Стасов. – Людмила Ивановна, а? Каков наш герой?

Хозяйка дома промолчала почти весь вечер. Теперь, когда к ней обратились, она позвала Мусоргского.

– Моденька, подите ко мне! – И когда он подошел, поцеловала его материнским, добрым поцелуем. – Умница мой, талантливый! И Милий не будет ругаться сегодня.

Балакирев охотно признал, что сегодня Модест обрадовал всех. Желая сделать приятное Даргомыжскому, он обратился к нему:

– А ведь это от вашего корня побег, Александр Сергеевич! Ваши поиски правды, правдивых звуков продолжает.

– Готов согласиться. Принимаю, что ж, – отозвался тот, чуть не сорвавшись от радости с голоса.

XI

Симфония Римского-Корсакова была готова. Балакирев переписывал партии с партитуры. Что именно он затеял, автору не было сказано, но что нечто задумал, видно было по всему. Через некоторое время, вызвав Корсакова, он поручил ему проверить партии, сличив каждую с оригиналом.

– Для чего они вам, Милий Алексеевич?

– Обычно они нужны для того, – сказал Балакирев, – чтобы играть по ним.

– Кто ж будет играть?

– Это дело особое. Сначала сделайте, а там будем думать.

Римский-Корсаков вышел от него, держа под мышкой увесистую пачку. Всю ночь он просидел над ней и вторую ночь тоже, а дело двигалось медленно.

Мусоргский, придя к нему и застав за этим занятием, вызвался помочь:

– Еще лучше вот что: пойдемте к профессору химии и алхимии и там совместными силами станем изгонять беса из ваших зловредных сочинений.

Дело клонилось к вечеру. Когда пришли к Бородину, тот уже освободился от занятий. Кажется, он что-то сочинял: взгляд его был рассеянный и какой-то отвлеченный, на пюпитре лежали рукописные ноты. Екатерина Сергеевна ушла, оставив его одного.

Друзья остановились смущенные и готовы были уже повернуть назад.

– Постойте, куда вы? – остановил их Бородин.

– Нет, мы так, идучи мимо…

– А что это у вас за фолиант?

Пришлось объяснить, что они с собой принесли. Бородин тем временем успел прийти в себя: пока Мусоргский рассказывал, он убирал ноты с пюпитра.

– Что ж, принимайте меня в вашу артель. Давайте работать.

– Нет, Александр Порфирьевич, мы не хотим вам мешать, – сказал Римский-Корсаков.

– Так и будете со своей пачкой гулять по всему Петербургу?

Бородин освободил большой обеденный стол, вытер клеенку и поставил посреди стола чернильницу.

– Ну-с, начнем. Только как? Если всем смотреть в партитуру, мы будем друг другу только мешать. Не лучше ли, чтобы один диктовал такт за тактом каждый голос, а двое проверяли бы разом все партии струнной группы? Так и решили действовать… Когда Екатерина Сергеевна вошла в столовую, она застала

дружную компанию, поглощенную выверкой партий.

– Катенька, – сказал Бородин, не отрывая глаз от нот, – ты нам не мешай, а то скрипки в басовом ключе заиграют и вместо тремоло[ix] изобразят пиццикато.

Увидев жену Бородина, Мусоргский почтительно встал. Выражение его лица было не то очень серьезное, не то комичное до крайности, и Екатерина Сергеевна рассмеялась.

– А покормить вас можно? – спросила она.

– Ни в коем случае, Катя, потому что жировые части еды проникнут в симфонию, а она, как я понимаю, без жира, и против воли автора менять состав ее нельзя.

Еще несколько раз заходила жена – друзья продол-, жали работать. Екатерина Сергеевна подумывала уже о сне, но оставлять их голодными было невозможно. Тогда, не спрашивая согласия, она поставила на самоварный столик горячий самовар и закуску.

– Это ты удивительно кстати придумала! Мы как раз медную группу проверяем: туда масла если прибавить, оно не помешает.

За чаем Бородин рассказал кучу разных историй: он бывал за границей, видел интереснейших людей и умел рассказывать обо всем мастерски.

– Есть у меня желание тайное – попасть когда-нибудь к Листу. Он, по слухам, с сочувствием относится к новым течениям в музыке.

Мусоргский заметил:

– Господа Фаминцыны, доморощенные философы музыки, нас поносят, а Лист, всем миром признанный, признал бы, а? Где же правда, объясните мне? Может, мы не такие уж неучи, как Фаминцын изображает?

После чая они опять принялись за дело.

– А то отложим? – предложил Римский-Корсаков. – Мне и без того неловко, что я вас затруднил.

– Ни в коем случае. Тут описок, как видите, оказалось порядочно, – сказал Бородин.

Римский-Корсаков посмотрел на него виновато: музыка, сочиненная им, и эти описки, и хлопоты, которые он доставил товарищам, – все лежало на его совести.

Работа затянулась почти до утра. Закусив тем, что осталось с ночи, они намерены были разойтись.

Мусоргскому надо было еще прежде, чем идти на службу, заехать домой за портфелем, Корсаков с исправленными партиями собирался к себе, а Бородин решил заглянуть в лабораторию, чтобы проверить, все ли готово для рабочего дня.

– Не уходите, я мигом обратно, – попросил он.

Обнаружив кой-какие непорядки, он так усердно занялся их исправлением, что, когда вернулся, друзей уже не застал.

– Ах, неловко как! – сказал он. – Ушли не позавтракав!

В прихожей стояли забытые Мусоргским калоши. Бородин только присвистнул с сожалением и отправился назад в лабораторию.

Балакирев включил, оказывается, симфонию Корсакова в программу ближайшего концерта. Теперь, когда партии были проверены, он приступил к работе. Узнав, что на ближайшей репетиции будут играть симфонию, Мусоргский отпросился со службы и пришел послушать.

Он знал, что это такое – первая репетиция, какие волнения она доставляет автору. Мусоргский видел, как неспокоен Римский-Корсаков, как он сжимает губы и как играют скулы на его юношеском лице.

Первая половина репетиции ушла на другие произведения, и хотя оркестр знал их, Балакирев то и дело его останавливал, добиваясь своего. Когда музыканты, усталые, приступили к новой вещи, оказалось, что партии, как ни трудились друзья, полны описок.

Пришлось останавливаться то и дело. Не доиграв фразы, музыканты обращались к дирижеру:

– Тут что-то не то, маэстро: напутано.

Начиналась утомительная проверка. Автор сидел виноватый и кусал губы. Он решил уже, что все провалено и по таким партиям работать невозможно. Балакирев оглядывался недовольный, злой, как будто искал виновника канители, чтобы отчитать его при всех. Один Мусоргский был невозмутим. Изредка он произносил не то для себя, не то в утешение автору:

– Оркестровано хорошо, с выдумкой.

Или:

– Умно флейты с фаготами тут сошлись.

При всем том впечатление от возни, которой занимались в оркестре, было самое грустное. У Корсакова горели уши от стыда. Не дожидаясь конца, он предложил:

– Давайте, Модя, уйдем! Я больше не могу.

Тот молча поднялся.

На обратном пути Мусоргский не пытался его утешать, не говорил, что все это пустяки и так бывает всегда. Казалось, он занят чем-то своим и сердце его не способно понять страдания молодого друга.

Только прощаясь, удержав руку Римского-Корсакова, он сказал, посмотрев на него ласково:

– Выйдет по-нашему, Корсинька, ничего.

Корсаков был ему благодарен за слова утешения, хотя они его не утешили.

Остаток дня он провел в терзаниях. На следующее утро он шел в зал, как на казнь. Ему уже представлялось, как Балакирев снова кричит и как обнаруживают новые описки. Все кончится тем, что симфонию снимут с программы.

Заметив на афише свою фамилию, Римский-Корсаков со стыдом подумал, что сегодня ее все будут поносить.

Но вышло не так. Балакиреву удалось накануне вечером вычистить всю грязь. Утренняя репетиция началась с симфонии. Когда Римский-Корсаков услышал первые такты, он словно ее не узнал. Ему как будто вернули его замысел. В таком исполнении он, оробевший и растерявшийся, в состоянии был слушать свою музыку, не ощущая хотя бы стыда. Ему было жаль, что Мусоргский, присутствовавший вчера, не знает, как проходит репетиция сегодня.

Но Мусоргский был, оказывается, в зале. Заметив его, сидящего в вицмундире, с опущенной головой и скрещенными руками, Корсаков проникся благодарностью к нему. Он увидел в нем верного и надежного друга, способного быть преданным до конца.

Сегодня все шло иначе: и оркестр играл стройнее, и Балакирев сердился меньше, а музыкантов останавливал реже. Все словно сговорились щадить автора.

Уже кто-то сообщил, что Римский-Корсаков здесь. Музыканты догадались, кто именно из сидящих автор симфонии. То, что он так молод, хотя автору такого крупного произведения больше пристали бы борода или баки, как у Кюи, расположило всех в его пользу.

Когда вечером, при полном зале, при ярком свете газовых рожков и люстр, после творений выдающихся композиторов зазвучало произведение никому не известного автора, не немца, не итальянца, а русского, все вначале насторожились. Звучало оно, впрочем, стройно и слаженно. Балакирев был такой мастер, что за короткое время сумел выжать из оркестра всё. Музыка была ясна по форме, по темам своим национальна.

Долгое время в зале не знали, как к ней отнестись. Своей близостью и понятностью она резко отличалась от той музыки, которая чаще всего здесь звучала. К концу победили доверие, расположение, сочувствие, даже энтузиазм. В огромном зале раздались аплодисменты.

Дирижеру пришлось два раза выйти на аплодисменты. А Римского-Корсакова, как на грех, нигде не было.

Пройдя за сцену, Балакирев раздраженно спросил:

– Да где же он, в самом деле? Ну что за мальчишество!

Он увидел растерянного автора, которого вели под руки Мусоргский и Бородин. Балакирев посмотрел на него сердито и, отложив нравоучения до другого раза, сухо произнес:

– Вы же слышите – публика требует. Пойдемте!

Под его строгим надзором Римский-Корсаков пошел к двери. Аплодисменты вдруг стихли – точно не того увидели, кого надо было. Перед публикой стоял совсем еще молодой человек, примечательный разве только тем, что он одет в морскую форму. При всей его выправке, видны были закоренелая неуклюжесть и застенчивость.

Одно мгновение продолжалось это молчаливое знакомство с автором, потом аплодисменты вспыхнули с новой силой. Точно все вдруг поняли, что и молодость и то, что это всего лишь начало пути, заключают в себе великое обещание.

Римский-Корсаков поклонился торопливо и неумело. Это вызвало еще большее расположение к нему.

Наверно, не многие поняли в ту минуту, что они присутствуют при рождении первой русской симфонии, которой суждено проложить путь для величайших творений русской музыки. Однако аплодировали все, и Корсакову пришлось еще два раза выйти к публике.

XII

Ах, что за славное это было время в жизни Мусоргского! Дом Шестаковой, вновь разгоревшаяся привязанность к Даргомыжскому, дружба с Римским-Корсаковым и Бородиным и старые, прочные отношения со Стасовым и Балакиревым.

Милий все еще не отказался от роли учителя и наставника: он критиковал, бранил или одобрял, восторгался даже, и всё как старший. Но любили его по-прежнему, потому что, при всей своей нетерпимости, он был бескорыстен и интересами другого жил так же, как собственными.

Это был не прежний учитель музыки, весь день бегавший по урокам. Слава о Балакиреве распространилась за пределами Петербурга, и даже заграничные музыканты, приезжавшие сюда, почитали за честь встретиться с ним.

В последнее время он начал увлекаться славянскими делами. Приезжали чехи, и он вел с ними таинственные переговоры, после чего потребовал, чтобы члены кружка засели за сочинения на славянский сюжет. Римского-Корсакова он засадил за Сербскую фантазию, сам начал писать Чешскую, Мусоргского склонил к мысли сочинить поэму о Подибраде Чешском.[x]

Вообще интересы балакиревцев были широкими. Любя все русское в искусстве, они с горячей симпатией относились и к иноземному, в частности, к восточному. Это еще от Глинки, который в «Руслане» воспроизвел тончайшие краски Востока, к ним перешло и так или иначе захватило всех членов кружка. И «Саламбо» была отчасти связана с этим, и вторая симфония Римского-Корсакова «Антар», и «Князь Игорь» Бородина, и «Еврейская песнь», сочиненная Мусоргским, и его же массивный хор «Поражение Сеннахериба».

Сейчас интерес их обратился к славянским странам. Завязалась переписка, дружба, а венцом явилась поездка Балакирева в Прагу.

Пражский театр славился еще при жизни Моцарта. Он первый поставил моцартовского «Дон-Жуана». Теперь там решили осуществить постановку опер Глинки, положив тем начало их европейской славе.

Для постановки «Руслана» привлекли Балакирева. Он был приглашен как дирижер с большим именем, как искренний друг славян и один из самых пламенных пропагандистов глинкинских творений.

За ним по пятам последовали молва и споры, знамя его друзей и тени его противников. Балакирев не предполагал, что и

в Праге, куда он ехал в качестве друга, ему придется встретить ожесточенное сопротивление.

Партитура и партии «Руслана» прибыли туда еще до его приезда. Все урезки, какие делались в петербургской постановке, все сокращения и искажения, все рутинерские наслоения прибыли тоже – такое впечатление создалось у него, лишь только он начал репетировать. Оказалось, что певцы выучили свои роли со всеми пропусками, какие имелись в партиях. Рука, безжалостно резавшая и кромсавшая «Руслана» в Петербурге, опередила Балакирева.

Не желая с этим мириться, он решил ставить «Руслана» так, как этого требовал самый дух глинкинской музыки. Воля художника, защищавшего великое творение, столкнулась с рутиной театра. Нашлись поклонники и противники и в Праге. Некоторые певцы, признав в Балакиреве истинного музыканта, стали целиком его союзниками. Зато другие начали плести сеть интриг. Поползла молва о том, что опера ставится неудачно. Балакирев работал упорно. Одно за другим снимались наслоения с «Руслана»: так с изумительного полотна смываются краски, положенные руками посредственных реставраторов, и постепенно открываются подлинные краски картины.

Прага ждала спектакля. Слухов было так много, что исход постановки одинаково волновал и противников и друзей. И вот за несколько часов до начала в гостиницу прибежал взволнованный контрабасист.

– Ах, маэстро, какое несчастье! – воскликнул он задыхаясь. – Мы думали, что сегодня вы наконец докажете всем свою правоту. Но, боже мой…

– Что произошло?

– Партитура украдена!

Услышав это, Балакирев побледнел. Контрабасист ждал ответа, хотя и понимал, что дирижеру ответить нечего. Он прибежал сюда в полной уверенности, что спектакль не состоится и работа сорвана, но все же на что-то надеялся.

Выражение страшной усталости было на лице Балакирева. Не только эти дни пронеслись перед ним, дни, полные упорства и мужества, но вся его жизнь встала в воображении: сколько бед, лишений, сколько препятствий на каждом шагу! Какой-то проклятый рок преследует его начинания. Сегодня, вдали от родины, знамя родного искусства должно было развернуться над столицей древней Чехии. И вот все рухнуло!

– Что же теперь будет? – спросил музыкант.

Собрав все свои силы, представив себе страницы украденной партитуры, Балакирев после размышления заявил, что он будет

дирижировать наизусть. Контрабасист невольно отступил на шаг. Он помнил, как отдельные оркестровые группы подолгу разучивали сложнейшие места из «Руслана». Это была кружевная ткань с тончайшими узорами; мысль, что человек, стоящий за пультом, в состоянии удержать в памяти каждый узор, казалась почти невозможной.

– Маэстро, как же так? Ведь это невыполнимо!

Балакирев ответил, что иного выхода нет. Посетитель ушел от него, полный сомнений.

Вскоре после его ухода явились в гостиницу представители театра. Они пришли выразить свое сочувствие русскому дирижеру. Одни были искренни, другие с притворным участием спрашивали, как поступит маэстро. Все были уверены, что спектакль отменят. Но деньги, расходы, затраченные на постановку, – кто это возместит?

Балакирев смотрел на них исподлобья, с трудом сдерживая свое негодование. Труппа была на его стороне, но вот группка противников, собираясь загубить все, что он сделал, еще выражает ему сочувствие!

Он стоял опустив руки и слушал.

– Отменять спектакль невозможно, господа. Безобразие, кто бы ни был его виновником, остается на совести лиц, которые его допустили. Моя миссия трудна, я сознаю, но иного выхода нет. По мере возможности я постараюсь выполнить свой долг перед благожелательной чешской публикой.

Возглавлявший делегацию помощник директора спросил:

– Да, но как, дорогой маэстро?

– Придется дирижировать оперой без партитуры.

Они посмотрели на него недоверчиво. Один из самых рьяных противников вдруг воскликнул:

– Браво, браво! Это будет неслыханно!

Перед ним возникла соблазнительная картина публичного провала, и он даже захлопал в ладоши, как будто разговор с маэстро был тоже своего рода спектаклем.

Делегация удалилась. Члены ее сообщили директору, что спектакль, который, как все были уверены, должен быть отменен, по настоянию дирижера состоится, несмотря ни на что!

Короткий, круглый, как шар, директор выслушал сообщение невозмутимо. Вытащив изо рта сигару и положив ее перед собой на стол, он многозначительно произнес:

– О-о, большой будет скандал!.. Но-но, посмотрим…

Судьба дирижера не занимала его вовсе, а то, что деньги за спектакль не придется возвращать, устраивало вполне.

Театр был полон. Пражские зрители гудели, ожидая чего-то

из ряда вон выходящего.

Когда за пультом появился русский дирижер, его встретили шумными аплодисментами. Он обернулся и деловито поклонился. Казалось, он достаточно опытен в постановке опер и уверен в исходе спектакля. За исключением немногих, никто в зале не знал, что пульт его чист и партитуры перед глазами капельмейстера нет.

Это было известно лишь музыкантам. Они с величайшим интересом ждали первого взмаха, как будто судьбу спектакля решал именно этот взмах.

Балакирев осторожно прикоснулся палочкой к пульту и начал.

Ну, увертюра: увертюру знает каждый. Но дальше что будет, не через триста – четыреста тактов, а позже? В зале сидели до предела взволнованные друзья, знавшие, какие последствия может иметь провал для дела, которое они защищают. С замиранием сердца они ждали заминки, промаха, остановки… Что-то ужасное, неприличное и вместе с тем оскорбительное рисовалось им. Газеты разнесут это повсюду, и делу славянской дружбы будет нанесен непоправимый удар.

Но все шло пока без заминки. Балакирев дирижировал так, точно строки партитуры были выгравированы перед его глазами. Он помнил их, и по мере того, как продвигался, страницы как бы сами одна за другой раскрывались перед ним. Это было особое свойство памяти, цепкость ее и сила. Наоборот, без партитуры он с еще большим увлечением и большей горячностью вел спектакль, и оркестр, почувствовав это, отозвался собственной горячностью.

Во время антракта до публики дошел слух о том, что русский дирижер ведет спектакль наизусть. Когда Балакирев появился за пультом вновь, театр встретил его как победителя. Аплодисменты усиливались с каждой секундой. Он взглянул в глубину оркестрового помещения, понял по лицам артистов, что они заодно с ним, союзники его дела, и отвесил глубокий поклон, благодаря всех за доверие. Музыканты тоже начали аплодировать. Удары смычков о деки[xi] стали слышны в зале и вызвали еще более горячий отклик.

Еще раз Балакирев поклонился. Сев, он вытер красным фуляровым платком лоб и с облегчением вздохнул. Теперь, кажется, можно было сказать, что победа «Руслана» бесспорна.

И действительно: Прага давно ке помнила такого приема, какой она оказала русской опере и русскому дирижеру. Успех был исключительный, небывалый.

Через несколько дней, уезжая, выслушивая последние приветствия, пожелания, обещания, увозя воспоминания о новых

друзьях, Балакирев вправе был сказать себе, что путь на запад для русской музыки наконец открыт и что в этом есть доля его усилий.

Связи, возникшие в результате его поездки, не обрывались. Вскоре в честь представителей от славянских стран состоялся в Петербурге концерт, которым снова дирижировал Милий Балакирев. Были исполнены его «Увертюра на чешские темы» и «Сербская фантазия» Римского-Корсакова. Успех концерта был огромен. Люди искусства из разных славянских стран протянули впервые друг другу руки. Стасов в отчете своем написал, что, как он надеется, славянские гости не забудут тех ощущений, которые вызвал концерт в их сердцах, и что поэзия, талант и умение, проявленные маленькой, но уже могучей кучкой русских музыкантов, останутся у всех в памяти.

Могучая кучка! Впервые было произнесено это слово. Пускай оно вызвало насмешки противников, пускай недоброжелатели стали применять его в ироническом смысле, – слово было сказано. Ему суждено было пережить поношения хулителей, оно поднялось над их приговором и сохранило силу свою навсегда.

XIII

Стасову открыла дверь Софья Ивановна.

– А маэстро наш дома? – спросил он.

– Пишет, – сказала она шепотом. – Может, у меня пока посидите, Владимир Васильевич? Работает с самого утра.

– Гм-гм… Конечно, оно хорошо, что пишет, да только дела есть поважнее. Пройду к нему, авось бог помилует.

– Он сердитый, когда работает, – предупредила Софья Ивановна.

По мере того как слава жильца росла, хозяйка со все большей ревностностью охраняла его покой. Народу ходило к нему теперь много, мешали часто, и Софья Ивановна старалась не допускать посетителей в неурочное время или без крайней надобности. Стасова она, впрочем, знала давно и питала к нему живейшее расположение.

– Не хотите, Владимир Васильевич, со мной посидеть?

– Да надобно самого видеть. Ну, авось не съест! – И Стасов решительно направился в комнату. – Милий, – начал он, распахивая дверь, – я не стал бы вас отрывать, если бы не особые обстоятельства…

Софья Ивановна увидела лицо жильца и, не любя, когда при ней ссорятся, отошла: пускай объясняются с глазу на глаз.

Балакирев неохотно оторвал глаза от бумаги:

– Я работаю, Бах.

Вид у него был неприязненный. Не смутившись этим, Стасов уселся поудобнее, вытянул ноги и приготовился к серьезному разговору.

– Что вы, кстати, сочиняете-то?

Автор накрыл листы рукой. Он хмуро посмотрел на часть, оставшуюся незакрытой. Он ужасно не любил, когда его отрывали в такую минуту.

Не получив ответа, Стасов продолжал:

– Дела, Милий, срочные, и надо нам крепонько все обдумать. Дело заключается в том, что гог и магог петербургского музыкального мира Антон Григорьевич Рубинштейн от всех своих званий и мест отказался и покидает нас.

Он думал поразить этой новостью Милия, но тот, делая вид, что новость нисколько его не удивляет, заметил только:

– Об этом разговоры были… А что произошло? Почему вдруг решил?

– Видно, поклонники доконали. Он думал, что будет править партией Елены Павловны как вздумается, а они тоже коготки свои

выпустили. Рубинштейн нужен им как прикрытие. Он артист, а они чиновники. Они его и против нас натравливали, а он человек простодушный. Фаминцын, Заремба и иже с ними твердили, что русской музыки нет, он же нет-нет, а новое русское сочинение в программы свои включал. Он хотел консерватории придать блеск и размах, а они его в узде держат господа покровители. И вдруг артист в нем восстал: надоело подчиняться тупицам. Короче говоря, Рубинштейн написал заявление и одним махом сложил с себя все звания и всю ответственность.

Балакирев сидел по-прежнему хмурый.

– К нам какое же это имеет касательство? Не пойму.

– Вы, Милий, сегодня от бирючества своего недогадливы. В консерватории на его место Заремба назначен. А дирижировать в Русском музыкальном обществе кто будет?

– Не знаю. Это их дело.

– Я сказал бы, Милий, что дирижировать должны вы.

– Я? – Балакирев поморщился: он был чувствителен ко всему, что касалось его престижа. – Не надо превращать это в шутку, Бах.

– Вот вы какой! Месяцами не пишете, а как время горячее подойдет – уткнулись в ноты и не видите ничего. Так вот: вам известно, что Дмитрий, мой брат, входит в Русское музыкальное общество – он в дирекции. Директор, как вам известно, Кологривов: мужчина неглупый, с понятием. Он за вас. Дмитрий, само собой, тоже. А председатель петербургского отделения кто?

Балакирев отчужденно пожал плечами, стараясь по-прежнему казаться безучастным.

– Александр Сергеевич Даргомыжский, к вашему сведению, – произнес Стасов раздельно.

Тут его друг не выдержал:

– Вот это новость! Нет, вы все-таки, Бахинька, молодец!

– Проняло наконец? Не зря я, стало быть, помешал? Софья Ивановна стережет вас так, что с трудом пробрался, а прибраться, как видите, было нужно.

Встав из-за стола, Балакирев начал ходить из угла в угол. Потом лег в волнении. Потом снова встал.

– Ну, а я что же могу сказать? Это же не от меня зависит.

– Ежели к вам обратятся, надо ответить согласием, вот и вся ваша роль. Остальное буду делать я, ваш слуга покорный.

– А Бесплатная школа как же?

– Что же, надо подумать. Как с нею быть, по-вашему?

– Ни при каких обстоятельствах ее не оставлю.

– Но и Русское музыкальное общество упускать нельзя. Представляете, какой там размах и какое направление можно

всему придать, если дело попадет в верные руки?

Оба замолчали. Один нервно ходил, другой сидел вытянув ноги.

– Милий, а если одно лицо объединит то и другое?

Мысль эта показалась вначале странной. Столько времени враждовали, столько каверз делало Русское музыкальное общество, чтобы подорвать влияние школы, так переманивало к себе оттуда людей, назначало дешевые цены, чтобы привлечь публику, распространяло самые вздорные слухи – и вдруг соперничество прекратится!

Бесплатная школа была мила сердцу обоих. Столько энергии они отдавали ей, ничего не получая взамен, кроме бескорыстного удовлетворения, так ужимались, выкраивали из ничего, каждую копейку считали! А тут деньги, возможности, связи со всем миром…

– Я бы Берлиоза сюда пригласил, – размечтался Балакирев.

– Это будет в ваших возможностях, Милий.

– Эх, правда, какую деятельность можно развернуть!..

Балакирев уже без сожаления посматривал на листы начатой новой вещи. Жажда деятельности, кипевшая в нем, могла, казалось, получить новое применение. Хмурый, необузданный, мнительный, уверенный в неблагосклонности судьбы, он подумал, не стала ли судьба вдруг по отношению к нему мягче.

– Так как? – спросил Стасов. – Согласие ваше есть?

Возвращаясь из мира мечтаний на грешную землю, Балакирев произнес недоверчиво:

– Одни лишь проекты. К чему себя понапрасну искушать?

– А Кологривов? А Даргомыжский? А Дмитрий?

Когда Стасов вышел от него, его перехватила в коридоре Софья Ивановна:

– Не очень сердитый был? Я смотрю, Владимир Васильевич, вы что-то долго у него просидели.

– Нет, ничего: не сердился, – ответил он снисходительно.

XIV

Положение Русского музыкального общества было нелегким: сборы падали, публика охотнее ходила на концерты Бесплатной школы, и имя ее дирижера становилось с каждым сезоном все популярнее. Карл Шуберт, оставшийся после отказа Рубинштейна, никого не мог бы привлечь. Дирекция общества готова была расходовать тысячи для приглашения из-за границы людей с именем. Но чаще всего это бывали концерты в угоду публике, жаждущей диковинок. Мастерство итальянки Патти еще способно было собрать полный зал, но за свои выступления она требовала таких огромных денег, что нельзя было строить сезон на концертах подобного рода. Если во время этих концертов еще сохранялась иллюзия того, что Русское музыкальное общество процветает, то, приходя на другие вечера, слушатель имел возможность убедиться в том, как мизерны сборы и как плохи дела общества.

Нужен был руководитель новый, энергичный, который сумел бы влить свежие силы в работу и придал бы ей настоящий размах. Из всех кандидатов, способных занять место ушедшего Рубинштейна, самым достойным и сильным был Милий Балакирев.

Скрепя сердце дирекции пришлось согласиться на это.

И вот имя его появилось на афишах Русского музыкального общества.

Странно было увидеть Балакирева впервые за пультом во время концерта. Еще недавно его травили тут, называли самоучкой и выскочкой, Фаминцыны поносили его в журналах, и вдруг открылась возможность стать богом петербургской изысканной публики, привыкшей к палочке Рубинштейна.

Критики на первых порах унялись. Они как бы умыли руки, предоставив событиям развиваться своим чередом.

Чопорная, официозная часть зала с недоумением встретила невысокого, внешне скромного человека с бородкой и пламенным взглядом, сменившего за пультом могучую фигуру Рубинштейна. Казалось, не будет больше ни громовых форте,[xii] ни потрясающих тутти,[xiii] ни сильного, покоряющего взмаха руки. Все будет в концертах скромнее и обыкновеннее.

Но вскоре пришлось признать, что за пульт стал музыкант с яркой художественной физиономией. Оркестр под его палочкой зазвучал еще чище, оттенки приобрели рельефность, исполнение – силу и цельность. Русское музыкальное общество не проиграло, пригласив его.

Балакирев пришел сюда не только как дирижер – он взял в свои руки власть, чтобы победить вкусы тех, кто проводил политику княгини Елены Павловны. Вместо второсортных имен, заполнявших программы прежде, на афишах появились имена Шумана, Листа и Берлиоза. В один строй с ними стали Глинка и Даргомыжский; рядом с ними – имена молодых музыкантов: Мусоргского, Римского-Корсакова, Кюи, Бородина, Чайковского, недавно начавшего свою деятельность в Москве, и самого Балакирева. До сих пор русская музыка давалась в концертах редко, однобоко, скупо, а тут оказалось, что она очень богата, что она блещет новыми именами и будущее за нею.

Приверженцы двора, покровители немецкого в музыке всполошились. Надо было бить отбой, убирать нового дирижера и поскорее возвращаться к прошлому.

Опять начался поход против Балакирева. Газеты стали писать, что он недоучка, что в оркестре смыслит мало, что вокруг него группируются такие же полузнайки. Антон Рубинштейн хотел насадить в России правильное музыкальное образование, а тут необразованные люди пытаются занять все места. Вместо того чтобы добросовестно учиться у запада, доморощенные таланты, не имеющие ни выучки, ни закалки, пытаются проводить что-то свое.

Балакирев все сносил. Он терпел поношения во имя дела, которое создавал, зная, что у него есть друзья и число этих друзей растет. Появляясь за пультом, он ощущал связь с той публикой, которая понимала и ценила его начинания.

Пользуясь властью, какой он обладал, Балакирев решил предложить место за дирижерским пультом старому Берлиозу.

Гектор Берлиоз однажды уже приезжал в Петербург. Дирижирование его произвело фурор. Поклонники его музыки, самые смелые реформаторы, балакиревцы, решили спустя много лет показать ему, что в лице представителей молодой русской школы он имеет друзей и союзников.

Прежде Русское музыкальное общество швыряло тысячи на приглашение модных певцов. Балакирев решил предложить достойный гонорар одному из замечательнейших музыкантов Европы, обижаемому у себя на родине, нуждающемуся, но гордому.

Берлиоз дал согласие провести в Петербурге шесть концертов. Балакирев, которого многие ставили как дирижера в один ряд с ним, не побоялся передать ему свою палочку.

Когда-то Берлиоз, энергичный, полный огненного темперамента, победил своим дирижированием весь музыкальный Петербург. На этот раз, однако, сюда приехал

человек состарившийся, измученный неудачами, уставший от невзгод, преследовавших его на родине.

Стасов и Балакирев встретили его на вокзале и отвезли в гостиницу. Дул сильный ветер. Берлиоз поднял воротник и равнодушно опустил голову. Он был рассеян, замкнут и словно отсутствовал. Изредка он задавал короткий вопрос, не интересуясь тем, ответят ли ему. То он вдруг с колючим недоверием смотрел на спутников, то взгляд его потухал.

В гостинице Берлиоз подошел к печи и узловатыми, старческими тонкими руками потрогал ее:

– О-о, теплая, хорошо! Это очень хорошо!

Потом справился, как здесь кормят, и неожиданно улыбнулся:

– Я помню, как меня тогда потчевали в Москве. Это было необыкновенно. Желудочные боли продолжались у меня потом почти две недели.

Впервые он засмеялся. Это был живой, естественный смех человека, любящего жизнь и находящего в ней радости.

Когда Стасов попробовал заинтересовать его петербургскими новостями, музыкальной жизнью русской столицы, Берлиоз, как будто защищаясь, закрылся руками:

– Нет-нет, друзья мои, с этим покончено! Я так жестоко наказан моей милой родиной, меня так за каждую смелость мою избивали, что больше я не борец.

Стасов осторожно заметил, что от него тут вовсе не ждут борьбы:

– Вернее было бы сказать, что нам пришлось выдержать борьбу, чтобы получить право видеть вас. здесь.

– Мне жаль, господа, – холодно заметил Берлиоз.

Тут появился Кюи, и разговор принял иное направление. Кюи владел французским еще более свободно, чем Стасов, и разговор стал легче и проще. Стасов изредка вставлял несколько слов, а Балакирев вовсе молчал.

В номер подали еду и вино. За едой Берлиоз оживился. Чокаясь со Стасовым, он взял его руку:

– Ах, господа, я чувствую себя очень старым! Это так грустно, что даже невозможно выразить. Я всегда любил жизнь, я ее пожирал, а теперь она доедает меня. Ну пусть, если ей это нравится.

Они ушли от него огорченные: это был не тот человек, которого балакиревцы мечтали увидеть. Это был совсем не тот артист, который рисовался им по его творениям: пылкий, неукротимый, фанатик мысли и чувства.

Кюи заговорил первый:

– Что же будет, господа? Вы провала завтра не опасаетесь?

– Может статься… Поглядим.

На завтра была назначена первая репетиция. Берлиоза привезли в Дворянское собрание. Он вошел в зал, поддерживаемый под руку Балакиревым, и, шаркая, прошел мимо пустых рядов. Подойдя вплотную к эстраде, он остановился. Оркестранты сидели уже на местах. При виде его они начали стучать смычками по декам и кричать: «Да здравствует господин Берлиоз!»

Он стоял, сгорбленный, с опущенной головой.

– Я бесконечно тронут, – произнес он тихо, приложив руку к сердцу.

Затем взобрался медленно по ступенькам и при полном молчании подошел к пюпитру. Репетиция началась. Несколько человек, сидевших в зале, с замиранием сердца следили за тем, как поведет себя Берлиоз.

Он говорил тихо, так что почти ничего не было слышно в зале. Переводчик, один из музыкантов, передавал его замечания оркестру более внятно.

Первые минуты работа шла вяло, с остановками. Затем движения дирижера стали более определенными. Он словно ожил, и оркестр почувствовал его возродившуюся волю. Оживились все: и музыканты, и сам Берлиоз, и те несколько человек, которые сидели в огромном зале. Перед ними был артист, горячий, умный, пылкий и тонкий. Стоило ему бросить в оркестр шутку, а переводчику – перевести, как раздавался дружный ответный смех. Стоило, подняв руки, призвать к молчанию, как мгновенно водворялась тишина.

Берлиоз сбросил с себя груз годов, болезней, помолодел и с такой молодой настойчивостью стал работать, что воодушевление росло с каждой минутой.

Теперь уже Стасов и Кюи не переглядывались с опаской, не смотрели тревожно на хмурого Балакирева, взявшего на себя весь риск приглашения Берлиоза. Все, кто тут был, чувствовали, что это праздник искусства: вместо прошлогодней рутины в Дворянском собрании воцарился дух смелого творчества.

Репетировали вальс из «Фантастической симфонии». Вступление, где играют две арфы, автор начал широко и свободно; вальс, причудливо острый, полный изящества, за которым скрыта гроза неразрешившегося могучего столкновения, возникшего в первой части, Берлиоз проводил как творение истинно симфоническое, философское, полное могучих сил и больших идей.

С эстрады он, с острым, резко очерченным профилем и

развевающимися седыми прядями, выглядел молодым, энергичным, уверенным в себе и в артистах.

Когда, пройдя с оркестром симфонию, Берлиоз наконец произнес: «Теперь, друзья мои, отдохнем, я вас совсем замучил», – в оркестре в ответ раздались шумные аплодисменты.

Он сошел по ступенькам гораздо легче, чем поднимался. Он прошел по залу не шаркая; в движениях его появилась упругость.

Подойдя к Балакиреву, Берлиоз не спросил, понравилась ли его друзьям репетиция. Как будто понимая их опасения и желая всех успокоить, он сказал, покачав головой:

– Ничего-ничего, кажется, сойдет все недурно, – и ласково положил руку на плечо Балакирева.

Но, когда репетиция кончилась, когда его отвезли в гостиницу, он опять превратился в человека со встревоженной душой, боящегося выходить за пределы узких своих интересов. Все, что говорил Стасов о молодых русских композиторах, о новой русской школе, Берлиоз воспринимал с каким-то пугливым вниманием.

– Да-да, – говорил он, – понимаю… Это примечательно, это прекрасно… Ваша страна обещает миру многое. Если бы у меня было больше сил и я не дрожал бы над своей никому не нужной жизнью!.. Я слаб, ужасно слаб… Тяжело признаваться в этом людям, уважением которых дорожишь. Но даже и этой роскоши признания я не могу позволить себе на родине.

Познакомиться с другими представителями балакиревского кружка он не пожелал, сославшись на напряжение, в котором проводил репетиции. Но к оркестру он теперь выходил подтянутый, строгий, полный желания работать.

Когда публика в первый раз увидела его, никому в голову не пришло, что на эстраде стоит человек измученный и страдающий. Гордый, даже величественный, Берлиоз дирижировал с вдохновением.

Концерты его проходили блестяще. Голоса тех, для кого музыка Берлиоза выглядела изломанной, странной, чересчур рациональной, потонули в общем признании. Могучим духом свободы веяло от его творений, они были пронизаны независимостью, строптивой жаждой освободить личность от оков мещанского общества.

Неудивительно поэтому, что с таким же или с еще большим увлечением Берлиоз продирижировал бетховенскими симфониями. В век реакции и гнета ему не с кем было больше общаться, кроме как с великим немецким строптивцем. Разглядеть в Петербурге, каких союзников он мог бы получить в лице композиторов новой русской школы, Берлиоз не сумел.

Слишком он сузил мир своих интересов, живя на родине в одиночестве.

Уже собираясь уезжать, Берлиоз поднес Балакиреву свою дирижерскую палочку.

– Это все, что артист может дать другому артисту, – сказал он. – Я предложил бы вам виллы, дворцы, – увы, у меня нет ничего. Я вижу в вас благородные стремления и ощущал, живя в России, высокий полет идей. Позвольте пожелать вам и вашим друзьям сохранить его до конца дней. Вот пример человека, – он указал на себя, – который утратил былое горение и печально доживает свой век. Не Дай вам бог пережить это… – Он проницательно, долгим взглядом посмотрел на Балакирева. – В вашей стране, насколько я понял, живут художники, способные на подвиг для искусства. Передайте им мое глубокое уважение.

Берлиоз обеими руками взял руку Балакирева и затем в печальном раздумье покачал головой.

XV

От людей искусства, наблюдавших жизнь народа, видевших страдания русского человека, противоречия русской действительности, требовался в самом деле подвиг для того, чтобы в своем творчестве воплотить правду жизни.

Мусоргский, впечатлительный и отзывчивый на все, к чему прикасался, настойчиво ощущал потребность сделать свое искусство зеркалом жизненной правды.

Живя на мызе у брата, он однажды столкнулся с такой щемящей сценой, которая потрясла его. Бедняк, юродивый, обиженный судьбой и людьми, стоял перед женщиной, жалкий, отталкивающий, и просил, чтобы она его приголубила, пожалела, приласкала. Картина человеческой обездоленности вызвала в Мусоргском острое желание воплотить ее в песне.

Красота, гармоничность, изящество были бы тут неуместны. Он понял, что вокальная линия должна быть простой до суровости, почти однотонной; она должна звучать как настойчивое причитание, как навязчивая мольба существа, не рассчитывающего на понимание: жалкий нищий просит и просит; сочувствия он не вызывает, но остановиться и замолчать не может.

Поняв, как нужно это написать, Мусоргский кинулся к столу. На него нашла минута острого просветления, и песня была создана почти залпом, в один присест; она вылилась из его сочувствия к несчастному, униженному и обиженному существу. Такое же горькое, как сама песня, печально-насмешливое название пришло тоже само собой: «Светик Савишна».

Взволнованный тем, что у него получилось, Мусоргский не в силах был держать творение при себе. На следующий день он отправился в Петербург, к друзьям.

Странное у него было в последние месяцы состояние: все хотелось увидеть, все подметить и все передать. Вот друзьям кажется, что он бездельничает, а у него от замыслов в голове шумит.

– Угодно вам будет нашего сочинения пустячок послушать? – начал он, появляясь у Балакирева.

Балакирев был не один: у него со Стасовым возник какой-то спор и оба возбужденно жестикулировали; им было не до Модеста.

– Долго вы еще пустячками всякими намерены заниматься? – спросил Балакирев недовольно.

– Как бог даст, Милий. Если сподобит на что-нибудь большее,

мы не откажемся.

Сверх меры всем увлекавшийся, Мусоргский переживал теперь увлечение книжными, устаревшими оборотами. Начитавшись старинных книг, он пристрастился к древнеславянской речи: со всей ее вычурностью, она пришлась ему по душе; после изысканной французской утомительно вежливой гибкости он погружался в царство языкового русского своеобразия, как в пруд с прозрачной холодной водой.

– Так как, господа, угодно слушать?

– Да, конечно, – сказал Балакирев. – Чего вы, Модест, кривляетесь?

Мусоргский спел «Савишну», аккомпанируя себе. Балакирев и Стасов молчали. Модест сидел не оборачиваясь, не зная, как истолковать их молчание.

– Как, господа? Аз многогрешный подлежу проклятию синедриона? Резолюция ваша беспощадна?

– Вы ничего не понимаете, Мусорянин, – ответил Балакирев наконец.

За шуткой Мусоргский пытался скрыть свое беспокойство и робость, и его шутливость раздражала.

– В толк не возьму, как в этакой беспутной голове родилось подобное! – проворчал Балакирев.

– Так нравится все-таки или нет?

– Ваша песня – чудо! – выкрикнул Стасов, вскакивая с места. – Чудо по силе, по скупости, по боли своей, выраженной в простых звуках. Неужто сами не поняли?

Стараясь скрыть, как он рад, Мусоргский ответил с напускным благодушием:

– Неплохо удалось, верно? Я, когда сочинил, даже подпрыгнул от радости. Потом схватил себя двумя пальцами за ухо: хотел проверить, сплю или не сплю. Нет, не сплю! Значит, думаю, господин коллежский секретарь, не будем вас отчислять от ведомства музыки – подержим еще на предмет разговления новыми вещицами.

Балакирев спросил более мягко:

– Вы что-то долго отлынивали. Небось не одно это состряпали? И другое что-нибудь есть?

– Есть, господа, скрывать не буду. Жизнь волнует меня каждодневными своими проявлениями: то одно хочется запечатлеть, то другое. Отныне и присно будем отдавать на суд синедриона свои малые опусы. Ежели угодно, в следующий раз у Даргомыжского покажем новый товарец нашего производства.

– Что это вы так мудрено стали выражаться, Моденька?

– А-а, это от профессора истории, господина Никольского,

нам развлечение. Они выражаются, по полноте своих знаний, просто, а мы – с вычурами и в том находим забаву.

«Что же им показать? – думал Мусоргский, возвращаясь домой. – Корсинька – тот любит серьезное и плавность течения во всем. А мне плавность не нужна, мне и резкость подойдет, только бы была близка к правде. Мне и сатира годится. Все берем, что подойдет».

Он вспомнил, как недавно, любя Никольского, дружески к нему относясь, взял да и написал на него пародию: простенький житейский эпизод подал в шутейном виде и назвал, вопреки всем правилам дружбы, не слишком почтительно: «Ах ты, пьяная тетеря!»

Хозяин нетрезвый возвращается домой; хозяйка осыпает его бранью, и между ними происходит забавнейшее объяснение. В сущности, это обычная перепалка между женой и мужем. Что тут особенного и что тут композитору делать? Но вот Мусоргскому захотелось изобразить такую забавную сценку, и бедный Никольский, почтеннейший человек, должен был поплатиться за авторское намерение.

Песня была написана. Получилось, кажется, комично, весело и натурально.

«Тетерю» и показать? Нет, на примете у Модеста другое. Друзья – хоть они и друзья ему, а считают его человеком непутевым. Вот возьмет да покажет нечто такое острое и неожиданное, что они наконец поймут, глуп он или не глуп.

И, насвистывая что-то неопределенное, похожее на «Тетерю» и непохожее, Мусоргский потащился домой.

XVI

В следующий раз придя к Даргомыжскому, Модест застал там двух незнакомых девушек. Он спросил шепотом у Римского-Корсакова:

– А эти барышни что за птицы? Какого они рода и племени?

Тот почему-то смутился:

– Сестры Пургольд. Одна Надежда, другая Александра. Отменные музыкантши обе: одна играет бесподобно, другая поет.

– Каким манером сие стало вам известно, Корсинька?

– Я с ними знаком, – ответил тот неохотно.

Девушки, наслышанные о Мусоргском, глянули на него с любопытством. Одна сидела за роялем, другая в углу гостиной беседовала с Кюи, но обе, как по сигналу, повернулись в его сторону. Модеста представили им. После этого сестры постарались сделать вид, будто он их нисколько не занимает. Его это задело; он отошел и потом старался их не замечать.

Однако нет-нет, а Мусоргский поглядывал на них. Ему было видно, какими трогательно преданными глазами смотрит Корсинька на Надежду. Кюи с обычной своей любезностью занимал вторую. А он, бывший офицер и жуир,[xiv] не находил слов и не решался заговорить первый. Заговорить хотелось. Особенно его привлекала к себе старшая, Александра. Стоя в сторонке и перелистывая последний номер «Музыкального сезона» с дурацкой статейкой Фаминцына, Мусоргский украдкой посматривал на нее.

Ждали Балакирева и без него не начинали вечера. Хозяин сидел, как обычно, в кресле и высоким голоском спрашивал, какие события произошли за неделю.

– Совсем Милий от рук отбился! – проворчал Кюи. – Плохо стал собрания посещать.

– Он теперь занят, большой человек, – не то в осуждение, не то в похвалу заметил Даргомыжский. – Подождем, авось явится.

Надежда Пургольд тем временем разбирала новую тетрадь нот. Играла она невнятно, как будто только для себя, но бегло.

Прошло немного времени, а Балакирев все не являлся.

– Чего же ждать без толку? – проворчал Кюи. – Начнем, Александр Сергеевич? Вас и послушаем сначала.

Даргомыжский задвигался в кресле:

– У меня такая чудасия пошла, что страшновато показывать…

– А мы вас не выдадим. В геенну огненную надо будет за «Каменного гостя» идти – пойдем, многогрешные, и слова не скажем, – подал голос Мусоргский.

Сестры опять на него обернулись: эта манера говорить удивила их и, кажется, не понравилась. Мусоргский с мучительным неудовольствием подумал, что сегодня он оттеснен на второй план: пришли новые слушательницы и молча, без единого слова, установили свои законы.

Кряхтя и жалуясь, немного преувеличивая свою старость в обществе молоденьких девушек, Даргомыжский пересел из кресла на табурет перед роялем. Пока милая и подвижная Наденька Пургольд уступала ему место, он ласково погладил ее по руке, от локтя до ладони, показывая свое к ней расположение, затем посмотрел на сестру, которая была, пожалуй, не менее мила, хотя выглядела несколько полнее и крупнее.

Даргомыжский стал показывать новые сцены: обольщение Донны Анны Дон-Гуаном, сцену с Лаурой. Пушкинский текст брался без изменений, из самого слова автор извлекал музыку, и она как бы впитывала в себя поэтический смысл пушкинской драмы.

Гости обступили рояль полукругом. Саша Пургольд, выдвинувшаяся вперед, начала подпевать. Даргомыжский разыскал глазами Мусоргского:

– А вы что же молчите? Или наскучило сие действие?

Тогда Модест выступил вперед. Став несколько поодаль от Александры Николаевны и следя за нотами, он поглядывал искоса в ее сторону.

Странное дело: он, в речи своей вычурный, особенно полюбил в последнее время все естественное и простое. Саша Пургольд держалась просто и пела очень хорошо; жестикуляция у нее была верная и скромная. Все в ней располагало к себе.

Мусоргский вспомнил добрую старую знакомую, друга Надежду Петровну Опочинину Сколько раз казалось ему, что он в нее влюблен и что даже разница в возрасте не может убить его чувство. А тут при виде молоденькой, приятной, естественной и талантливой девушки он поймал себя на особом внимании к ней.

Он посмотрел в сторону Корсакова. Чутьем, которое приходит иногда к человеку, опережая намного события жизни, Модест понял, что тот будет счастлив, придут к нему и успех и слава, а он – нет.

Пел свою партию Мусоргский свободно, почти не делая над собой усилий. Каждым оттенком голоса он как бы рисовал образ Дон-Карлоса. Способность передавать интонацией характер не удивляла больше друзей по кружку, так привыкли к ней все. В таких случаях о Модесте говорили, что он бесовски хитер и умен, как черт. Но Саша Пургольд, впервые слушавшая Мусоргского, поглядывала с удивлением, точно теперь только поняла, с кем

столкнул ее случай. В глазах ее было нечто большее, чем простое любопытство.

Когда Даргомыжский показал то, что успел сочинить, все принялись горячо хвалить новые сцены. Автор слушал опустив голову, не переспрашивая. Не разбор, не строгий анализ нужны ему, а сердечная, искренняя похвала. Сегодня она особенно тешила его сердце.

– Спасибо, друзья мои молодые, – сказал он напоследок, выслушав всё. – После таких слов охоты больше работать.

Перебирая клавиши, прислушиваясь к тому, что говорит молодежь, Даргомыжский вдруг обратился к Мусоргскому:

– А вы чем же удивите общество, Модя? Глаза у вас как-то блестят по-особенному. Я за вами наблюдаю весь вечер.

– Не ошиблись, несравненный Александр Сергеевич. Удивить намерен, только, чур, не бейте, если вам покажется плохим.

Хозяин встал. Наденька поддержала его и заботливо довела до кресла. Он расправил топорщившиеся усы и дребезжащим голосом, в который вложил искреннее расположение, произнес:

– Не сомневаюсь, многим вы еще нас удивите. Не знаю только, доживу ли до тех дней.

Почувствовав, что он внес слишком сильную ноту, Даргомыжский закончил более добродушно:

– Нет, я любознателен. Может, и доживу.

Пришла очередь Мусоргского.

– Сейчас, господа, – объявил он, – будет представлена сценка из учебной жизни под названием «Семинарист», в коей автор вознамерился выразить свое почтение к учености, каковою сам не обладает.

Модест стал лепетать под музыку какую-то невнятицу, набор латинских слов. Лицо выражало упрямую, туповатую готовность повторять слова без конца, пока они сами собой не запомнятся. При этом, однако, глаза его бегали по сторонам, и он никак не мог отогнать от себя что-то глупое и смешное, что лезло в голову. Занятие латынью стало перебиваться житейскими, вздорными, озорными мыслишками.

Казалось, ничего неожиданного тут не было: уж слишком бегали глаза у семинариста. Но, услышав эту абракадабру, все начали хохотать. Выдумка, наблюдательность, острота рисунка – все поразило в музыкальной сатире.

Сестер Пургольд Мусоргский победил: после «Семинариста» они признали его. В первую минуту от него отвернулись, а теперь, под напором таланта, сдались.

Только способностями своими он и сумеет привлекать к себе, подумал Мусоргский печально. Ему захотелось другого: умилить

чье-либо женское сердце, заставить полюбить себя и разделить с ним его жизнь. Мучительно захотелось, чтоб нашлась такая добрая, ласковая душа, которая приняла бы его таким, какой он есть. Грустная история юродивого в «Савишне» встала перед Мусоргским. Он подумал, что и сам он такой же, и с горечью окрестил себя Савишной. Имя это подошло ему, и потом он не раз подписывал им свои письма.

А пока, стараясь скрыть внезапно нахлынувшую грусть, Модест выслушивал похвалы друзей, признавших «Семинариста».

Молодое общество стало расходиться. Возле ворот постояли еще, толкуя о том, что вечер удался.

На Моховой было тихо. Дворник, не запирая ворота на цепочку, с каменным выражением лица прислушивался к тому, о чем говорят господа. Кюи, заправляя дужки очков и протирая стекла, снисходительно улыбался, глядя на молодежь. В своем звании профессора он чувствовал себя старше всех. Мусоргский, Римский-Корсаков и эти две милые девушки составляли компанию примерно одного возраста. Приятны были их молодая бесформенность, смех без причины, неловкая растерянность Корсакова.

– До встречи, друзья мои! – сказал Кюи и, ласково кивнув, пошел.

Корсаков все тянул: не хотелось уходить от девушек, но предложить им прогулку в такой поздний час он не решался. Один извозчик, проезжая мимо, задержался вблизи ворот, надеясь, что господа окликнут его. Так и не дождавшись, он цокнул на лошадь, и та поплелась дальше. То же постигло и другого извозчика.

– Пора, господа, прощаться, – заметила Саша, – а то вот Тихон наш сердится.

– Помилуйте, барышня! – отозвался дворник. – Беседуйте в полное свое удовольствие, а нам все одно. Мы вам не препятствуем. – И он деликатно отошел в угол.

Однако же девушки поняли, что в самом деле надо возвращаться. Они жили тут же, в одном доме с Александром Сергеевичем.

Они помахали молодым людям муфтами, пообещав в скорости опять появиться у Даргомыжского, и направились в глубину двора.

Корсаков и Мусоргский остались одни. Решили побродить по городу, прежде чем расстаться.

Вышли на Литейный, потом повернули назад и пошли к Инженерному замку. Римский-Корсаков чувствовал себя взволнованным; он думал о Наденьке Пургольд. Чувство,

овладевшее им, делало его особенно добрым; хотелось сказать Мусоргскому что-то очень хорошее. Поборов смущение, Корсаков произнес:

– Знаете, Моденька, мне показалось сегодня после «Семинариста», что у вас новый период в творчестве наступил: от вас так и пышет замыслами.

Мусоргский отозвался:

– Да, и мне так сдается. – Он был рад признанию, пускай оно исходило от младшего. – Планов в голове столько, что даже тесно от них.

Они уже подходили к Инженерному, где жили Опочинины и где поселился теперь Модест. Дойдя, повернули назад. Мусоргскому хотелось поговорить; давно он никому о себе не рассказывал.

– Меня эта «Саламбо» распроклятая держала в узде. Даже не узда, а клетка. И только недавно я понял, **что** лучше отказаться, чем продолжать. И «Женитьбу» гоголевскую оставил. Все эта клетка: привык, обжился в ней и не чувствовал, как мне тесно. А теперь взял да и сломал прутья, и сразу стало свободнее. Ну какой Карфаген у меня получился бы, сами судите!

Римский-Корсаков был благодарен ему за доверие, но сам не решился расспрашивать.

– Модя, а у Опочининых вам хорошо? – спросил он неожиданно.

– Чудесные люди. – За этими словами, как обычно У Мусоргского, было скрыто нечто большее, сложное, что определить было трудно. Подумав, он добавил: – Хорошо бы нам с вами объединиться. Как думаете, адмирал?

– Я бы с радостью, – отозвался Корсаков тут же. – Как бы славно у нас получилось!

– Правда, знатно мы бы устроились: самовар, чаевничанье, разговоры, музыка… Ведь хорошо, а?

– Очень!

И, точно свет блеснул вдали, оба ощутили тепло дружбы.

Был поздний час. Многие фонари были погашены, и улицы освещались плохо – с пробелами, с темными пустотами в длинном ряду фонарей. Город затих. То процокает извозчик, то шаги пешехода гулко отдадутся в тишине.

Подошли к Неве. Мосты еще не были разведены.

Величественный город замер над широким течением. Блеск отражавшихся в темной воде зданий наполнил Мусоргского ощущением величия – то ли самой жизни, то ли замыслов, наполнявших его.

Друзья молча рассматривали огромный, терявшийся в

туманной дали город.

– Люблю я Петербург! – заметил Мусоргский после долгого молчания. – Особенно об эту пору, ночью.

Римский-Корсаков кивнул, ничего не ответив.

– Я однажды в Москве, когда в Кремль вошел, ощутил всю историю нашу. Места не хватило – так много в меня вдруг вошло. И тут тоже: иногда ночью идешь по городу и чувствуешь, как он много в себя вобрал. Так сильно чувствуешь, что хочется что-то создать без промедления, тут же.

– Так создавайте, Моденька, – сказал Римский-Корсаков, веря в возможности своего друга безгранично.

– Вот и буду. Даю слово, буду.

Часть третья

I

Расставшись с мыслью написать «Саламбо», попробовав свои силы на гоголевской «Женитьбе» и поняв, что в ней ему развернуться негде, Мусоргский нашел наконец сюжет, достойный его широких замыслов и мечтаний. Тут неожиданно помог историк Никольский.

Ничуть не обидевшись на «Пьяную тетерю», он продолжал поставлять своему приятелю исторический материал. То одно, то другое событие прошлого примечательно раскрывалось в его рассказах. Но тут не событие было, а идея, огромная, с драматической тканью, более богатой, чем в «Саламбо», с трагическими столкновениями и, главное, вполне русская, пропитанная насквозь духом истории.

Мусоргский понял, что эта идея подходит ему, что она способна захватить его целиком.

Несколько дней он ходил по городу, увлеченный мыслью о новой работе. Но так необходимо было с кем-нибудь поделиться, что, не выдержав, он отправился к Римскому-Корсакову.

– Поздравьте меня, – начал Мусоргский, – и пожелайте, как надлежит морскому адмиралу пожелать, счастливого плавания. Отправляюсь в дальний путь, и пока не достигну цели, путешествие будет продолжаться.

Корсаков, привыкший к тому, что тот любит мистифицировать, поначалу не понял, о чем идет речь. Он стал допытываться, и Мусоргский в конце концов сообщил определеннее:

– Мы, да ведомо будет вам, решили приняться за сочинение большой музыкальной драмы под названием «Борис Годунов».

– По Пушкину?

– Именно. Без Пушкина нам никак нельзя.

Занятый сам обдумыванием оперы из времен Ивана Грозного, Римский-Корсаков сумел оценить заманчивость сюжета, выбранного его другом.

– Какая счастливая мысль! – сказал он.

– Истинно так. Дай бог ему долгие годы, Никольскому, – экая ведь идея! Бродил я вокруг да около, а сам до нее не додумался. И, когда «Ночь на Лысой горе», забракованную нашим Милием, сочинял, намерен был выразить не совсем уж бесовские страсти – там было кое-что и от народной силищи. Пока с «Женитьбой» возился, тоже вокруг народной темы ходил. А тут русский сюжет, большущие страсти, освященная временем старина, сильные образы… Знаете, Корсинька, мне давно надоела красивость

запада, не желаю я банальных форм, какие у них в опере. Хочу, чтобы было вполне самобытно.

Мусоргский долго развивал перед ним свои планы. Корсаков понимал, что мысль о «Борисе» родилась не случайно: бывают идеи, которые, как глубокие зарубки на дереве, остаются. В творчестве они означают поворот, новый этап. Такой была мысль о «Борисе».

– Теперь читать без роздыха, – продолжал Мусоргский. – Читать из истории, глотать факты того времени и думать, думать…

– Модя, – осторожно справился Римский-Корсаков, – а время думать будет у вас?

– После того как нас благополучно выставили из Инженерного управления, мы имели достаточно времени обдумать многое, – не без торжественности, именуя себя во множественном числе, сообщил Мусоргский. – Мы обдумали основы сочинения, задачи свои как художника и многое прочее. Конечно, в то время мы еще не имели в руках сюжета, который был нам выдан позже. Но и вокруг мы, по секрету скажу, многое вынюхали и обследовали. Опять же Лесное ведомство, в коем мы ныне имеем честь состоять, позволяет в свободное от канцелярского действия время обдумывать. Одним словом, Корсинька, «Бориса» будем писать быстро и на том перст прикладываем вместо целования креста. Теперь вы есть наш компас, и буде, как намечали, поселимся вместе, тогда и совсем станет ладно. А пока, в счет будущих радений, прошу поставить в нашу честь самовар и учинить большое чаепитие.

Корсаков пошел хлопотать на кухню. Знаменательный день должен был быть отмечен, и хозяйке было поручено купить всякой снеди и сладостей.

Вернувшись, он застал Мусоргского стоящим около рояля и грузно, от плеча, дирижирующего. Рояль молчал, ниоткуда не доносилось ни звука, а Мусоргский с серьезным видом размахивал мерно руками.

– Это мы великое славление Бориса учиняем, – сказал он, опуская руки. – Такой, знаете, хор, от которого дрожь пройдет по театру. – Он посмотрел строго на друга. и добавил: – Только сегодня дары Бахусу приноситься не будут, Корсинька, ни-ни-ни!

– Я и не просил вина покупать, – сознался Римский-Корсаков.

II

Даргомыжский ходил по квартире совсем больной. То начиналось удушье, то мучительно болело сердце. Он садился в кресло и долгое время тяжело дышал. Потом опять принимался ходить, стараясь отделаться от слабости и забыть про боль.

Сестра, Софья Сергеевна, роста необычайного, с низким голосом, совсем на него не похожая, ходила за ним по пятам.

– Приляг, Саша, не теми себя!

– Да нет, оставь, – с раздражением отвечал он.

И тут ему начинало казаться, что только она и мешает отвлечься от боли.

Даргомыжский думал о «Каменном госте». Проходили часы, а ни одной живой мысли не было. Он брал томик Пушкина, в который раз перечитывал разговор Лауры с Дон-Карлосом, сцену столкновения Дон-Гуана с Дон-Карлосом… Воображение не пробуждалось: подставить музыкальную мысль под текст не удавалось; текст, еще недавно казавшийся необычайно душистым, теперь утомлял своей неподатливостью.

Снова Даргомыжский начинал бродить из комнаты в комнату. В конце недели соберутся друзья, а что он покажет им, чем похвастает? Похвастать будет чем, он знал, но как это получится, оставалось неясным.

Весной наперегонки с ним Мусоргский попробовал писать «Женитьбу». Это Даргомыжский и подал ему идею писать на гоголевский текст, ничего не меняя. Чего только Модест не придумал, каких только не ввел новшеств, нарушив все традиции оперного письма! Живую, характерную речь он с обычного языка переводил на язык музыки. Музыкальная речь приобретала остроту гротеска и обрисовывала героев с таких сторон, какие недоступны слову. От некоторых мест «Женитьбы» можно было смеяться до упаду. Наденька Пургольд изображала на рояле что-то невероятное, каскад остроумнейших фраз, целую симфонию. Сам Даргомыжский взял на себя роль Кочкареьа. Это было уморительно и бесподобно!

Но Модест хватил все-таки через край: в своей выдумке он пошел дальше, чем в «Каменном госте» позволил себе Даргомыжский. Путей тут не было, и в конце концов он зашел в тупик. Хорошо еще, что за «Бориса» принялся, – это по нем, это пойдет.

Александр Сергеевич сел и попробовал думать с закрытыми глазами. Вместо собственных музыкальных мыслей на память приходили отрывки из «Бориса», слышанные в прошлый раз;

затем вспомнились песни Модеста: «Колыбельная Ерёмушке», «Сиротка», «С няней»… Нет, друзья чего-то не видят: им непонятно, какое большое явление восходит; только он один, кажется, улавливает истинные размеры этого дарования.

Даргомыжский почувствовал беспокойство: на нем, самом старшем, лежит ответственность за судьбу Модеста; его долг – объяснять всем, каких огромных размеров талант у Модеста.

Прежде к чужой славе Даргомыжский относился ревниво, но в последние годы, окруженный любовью балакиревцев, едва ли не больше стал думать об их успехах, чем о собственных. Их воодушевление, их интересы и планы заражали его.

Начав с Мусоргского, он неведомыми путями вернулся к «Каменному гостю». Когда вошла сестра, он попросил:

– Дай-ка мне бумагу и карандаш.

– Ты бы, Саша, пропустил сегодня. Ведь плохо же себя чувствуешь!

Он упрямо покачал головой и только попросил, чтобы она завернула ему ноги в плед.

Позже Даргомыжский перешел на кровать. Он устроился так, чтобы писать лежа. Мысли бежали, опережая карандаш. Он не ощущал больше ни удушья, ни слабости, ни боли в сердце: было лишь одно желание писать скорей, закреплять то, что теснилось в мозгу. Надо было торопиться, не упускать ничего и все класть на бумагу.

Он удивлялся себе: получалось вовсе не так, как представлялось вначале. Какая-то внутренняя сила увлекала его, гнала вперед и сама подсказывала решения.

– Ну, Саша, – сказала сестра, – может, бросишь? Ведь ты совсем замучишь себя!

– Нет, оставь, – рассеянно отозвался он, не поднимая глаз от бумаги.

Будет что показать! Даже эта детски тщеславная мысль подгоняла его. Он испытывал восторженное и бескорыстное беспокойство. Сцены, положения возникали друг за другом. Даргомыжский находил гибкие музыкальные фразы для Лепорелло, Лауры, Дон-Гуана; каждая получала свою особенную окраску.

И в это же время с таким же воодушевлением и самозабвением Мусоргский писал сцены у Новодевичьего монастыря и в корчме, на литовской границе.

Один мечтал поскорее докончить работу, потому что тень смерти витала поблизости. Другой, лишь недавно начавший свою оперу, стремился вперед, потому что ему не терпелось охватить ее всю. Работа была необъятная, сложная, а он сгорал от

нетерпения, мечтал увидеть близкий ее конец.

И в то же время в тишине маленькой квартиры при лаборатории Бородин, воспользовавшись тем, что сегодня освободился раньше и что он дома один, заканчивал инструментовку своей первой симфонии. Для того, что существовало в клавире, он тщательно подбирал голоса: кларнету или гобою отдать эту партию? Подкрепить виолончели фаготами или не стоит? Ввести тут две валторны или четыре?

Он наносил штрихи один за другим и, подобно резчику по дереву, отходя в сторону, смотрел, как они сочетаются с целым. Вкус был у него точный, здоровый: блеклых красок, расплывчатости Бородин не любил. Все должно было звучать ясно, полно и жизнерадостно.

Когда все собрались у Даргомыжского, хозяин принял их лежа в постели. Несколько дней он уже не вставал. Болезнь не сделала его более раздражительным – наоборот, он был оживлен и захвачен работой.

– Я такого за эти дни насочинял, что сам на себя дивлюсь, – сказал он. – Теперь я вам, Модест, сильнейший соперник.

Мусоргский с мороза был красен; особенно раскраснелся нос. Он растирал озябшие руки.

– Нет, вам, Александр Сергеевич, никак не угнаться за нами, – ответил он с задором. – Мы такое безобразие учинили, что даже боязно музыкальному начальству на глаза попасться. Господин Фаминцын – тот за трактирные наши мелодии не иначе как предал бы нас анафеме и во всех органах печати отлучал бы от церкви.

Пришли Балакирев, Кюи, Стасов, Римский-Корсаков, Бородин, сестры Пургольд. Точно чувствуя, что недолго им бывать в этом доме, они дорожили каждой встречей с хозяином. И тесно было в этой квартире, и уютно, и весело, и дышалось легко.

Балакирев, отведя в угол Бородина, стал строго допрашивать, как идет у него инструментовка.

– Смотрите, в программу включаю. Не подведите!

– Да что вы, Милий Алексеевич! Мне еще обо многом думать надо.

– Вам позволь – вы всю жизнь продумаете. Нет, – твердо сказал он, – доинструментуете всё за неделю.

– Никак не могу: у меня занятия.

– Бросьте занятия, пускай другой кто-нибудь ведет. Есть же у вас там помощники!

– Я же не могу, Милий Алексеевич, поручить инструментовку им.

– Да ну вас совсем! – сердито сказал Балакирев и отошел от

него.

Как его ни преследовали противники, сколько дурного про него ни писали, он вел свою линию, стараясь не показывать, как ему тяжело сносить поношения и критику хулителей.

Сестры Пургольд рассматривали новые страницы «Каменного гостя» и изумлялись.

– Это же невозможно исполнить, Александр Сергеевич!

– Полно, – разглаживая усы, спокойно отвечал Даргомыжский. – Вы да не исполните!

– Наш дорогой оркестр – Наденька ночь не спала, наверно, – заметил шутливо Мусоргский. – А Александра Николаевна назло мне говорит, потому что у меня в сцене найдутся места позаковыристее.

Всей толпой пошли к роялю, оставив хозяина на диване. Стали так, чтобы ему было все видно.

Вечер начали с «Каменного гостя». Уже после первых строк посыпались восклицания. Особенно шумел Стасов:

– Да это прямо чудо! Музыкальная ваша речь льется так же естественно, как живая людская речь! Такого еще не было!

Хвалили и Мусоргский и Кюи.

– Подождите-ка, – протестовал Балакирев, – так же нельзя, дайте сначала дослушать!

Он был желчен и раздражен и все старался забыть про нависшие над ним беды. Впрочем, под конец музыка Даргомыжского захватила и его.

– Это, Александр Сергеевич, и смело и замечательно, – сказал он, – но такого на сцену не примут. Уж если меня все вокруг за работу поносят, что же скажут про это?

Предсказание его не огорчило автора: иными мерками мерил теперь Даргомыжский удачу и неудачу. Тут удача, он знал. Да и не только он – все были единодушны в оценке. Чтобы наложить последнюю черточку, он обратился к Надежде Пургольд:

– А вы что, Наденька, скажете? Ведь руки себе выламывать приходилось вам.

– Я думала, будет страшнее, – созналась она, – а тут под пальцы ложится удобно.

– Так, может, в архаисты меня записали?

Она стала уверять Александра Сергеевича, что ей все кажется новым и нравится. Но и без ее объяснений автор знал, что опера удалась. Лучше, умнее написать он не смог бы, а стало быть, раз написал в полную силу возможностей, имел право быть собою довольным.

В присутствии близких друзей Даргомыжский забывал о своей болезни. В иные минуты ему даже удивительно

становилось, чего это он лежит.

Когда дело дошло до исполнения «Бориса», он сказал:

– Дайте-ка встану – хочется и мне быть поближе.

Встать ему не дали, а сделали вот что: общими усилиями подкатили к дивану рояль. Сначала перенесли ореховый столик и кресла в сторону, сняли с пола ковер, затем стали передвигать инструмент. Софья Сергеевна с беспокойством смотрела, как бы не повредили пол. Но все обошлось.

– Ладно, ладно, бросьте, – взмолился Даргомыжский, видя общее усердие, – а то вы меня совсем загородите роялем.

– Чем не перевозчики? – сказал Стасов, расправляя плечи.

Заметив на полу царапину, сестра пошла за тряпкой.

– Да брось, Софья! – сказал Даргомыжский. – Лучше бутерброды сюда дай, а то никто к столу не подходит.

Впрочем, было не до чая и бутербродов. Кроме «Бориса», Балакирев хотел еще прослушать симфонию Бородина и потолковать об инструментовке. Но Даргомыжский настаивал, чтобы «Бориса» показали сначала:

– Такая охота слушать, что сказать не могу! Уж вы с Александром Порфирьевичем потом, отдельно. Мне этот «Борис» до смерти интересен. Хочется знать оттуда побольше.

– С вашим «Каменным» все равно не сравнится. Ваш, Александр Сергеевич, гениален, – сказал Мусоргский.

– К чему такими словами кидаться? – возразил Даргомыжский. – Гениальный у нас был один: Глинка. Мы с вами подмастерьями так и умрем… – Он остановился и подумал. – Про вас, впрочем, не скажу: вы человек с секретом. Но при жизни таких слов следует опасаться.

Мусоргский повторил упрямо:

– А все-таки «Каменный гость» гениален! Казните меня, а я при своем мнении останусь.

– Ладно, Модя. Давайте лучше «Бориса» послушаем.

Во время исполнения все молчали. Только Стасов заметил:

– Эх, без Осипа Афанасьевича не обойтись!

Действительно, в партиях Бориса и Варлаама требовалась могучая сила. Такой голос был только у Осипа Петрова.

Могущество этих партий ощущали все. Масштабы, какие избрал Мусоргский, широта полотен, которые он рисовал, вызывали удивление и восторг.

Даргомыжский слушал, повернувшись на бок, опершись на руку. В его проницательных небольших глазах был блеск необыкновенный. От беспокойства, которое он испытал на днях, думая о Модесте, не осталось и следа. «Это поймут, – думал он. – Такое не заметить нельзя».

Все было так грандиозно, во всем угадывалась такая сила, что, казалось, ни один человек не пройдет мимо, не разобравшись в достоинствах музыки.

– Далеко Модя шагнул, – заметил он, когда кончили исполнение.

Модест, певший за Бориса, Варлаама, за народ, за пристава, глубоко вздохнул, набирая воздух. Он ничего не ответил. Теперь, после исполнения, не приходилось ни петушиться, ни выставлять напоказ свое тщеславие. Он сам был подавлен тем, что у него получилось. В глазах друзей, в глазах Саши Пургольд, которая с бесподобной точностью передавала партию хозяйки корчмы, в глазах Даргомыжского Модест читал оценку своей музыки, и ему самому нечего было сказать.

Он взял руку Сашеньки и почтительно поднес к губам:

– Вы так проникаете в суть написанного, что мне, слушая вас, остается лишь радоваться и дивиться.

III

Инструментовка была закончена, партии расписаны, и уже было назначено исполнение симфонии Бородина. Опять, как когда-то в корсаковской, оказались описки и пропуски. Снова было много волнений и забот, но Балакирев, стоявший еще на посту дирижера, несмотря на все преследования, твердо вел свою линию.

Музыканты не замечали, что он работает из последних сил. На репетициях он проявлял прежнюю настойчивость. А между тем, при ранимости и склонности все видеть в мрачном свете, Балакирев тяжело страдал от поношений, каким его подвергали противники. Но симфонию Бородина, свое детище, свое открытие, он готовил, вкладывая в нее весь блеск своего дирижерского таланта.

В день концерта все находились в нервном ожидании. Балакирев, члены кружка, Даргомыжский на разные лады представляли себе, как будет принято новое творение композитора «могучей кучки».

Даргомыжский, живший теперь одной жизнью с балакиревцами, решил пойти на концерт. В это утро он чувствовал себя лучше: удушья не было, только сердце работало с перебоями. Но Мусоргский и Римский-Корсаков, забежавшие к нему днем, стали его отговаривать:

– На улице лютый мороз, а в зале будет душно. Куда вам, Александр Сергеевич, с вашим сердцем?

– Мне бы только его одного послушать! Большого размаха человек, в плечах широкий.

– Не далее как завтра мы представим вам полнейший отчет обо всем: и как Милий дирижировал, и как держал себя Александр Порфирьевич, и как принял его оркестр, и что говорили в публике.

Вмешалась Софья Сергеевна:

– Ты бы хоть чуточку себя пощадил! Работаешь без отдыха и в этакий мороз выехать собираешься! Ну можно ли так, Александр Сергеевич?

Даргомыжский колебался:

– Что ж, так и просижу весь вечер один? Скучно, очень скучно… Раньше времени пришел к старости и стыжусь ее, право. Мне бы годочка два пожить еще, больше не надо: «Бориса» увидеть да вот вашу, Корсинька, «Псковитянку». Тогда спокойно можно бы умереть… И теперь вижу, что дело в верных руках, а все хочется самому, своими глазами, увидеть. – Он посмотрел на

окна, затянутые льдом, и сдался: – Что ж, придется, видно, побыть дома, такое уж проклятое мое здоровье. Только завтра всё расскажете, как было.

Уверив его, что утром ему всё доложат подробнейшим образом, они ушли. В этот день у них было много забот: к Бородину забежать, успокоить Екатерину Сергеевну, заявиться к Милию, потому что он очень в последнее время нервничал. Да и другие были дела.

Даргомыжский остался один. Он бродил по комнатам, радуясь, что удушье мучит его меньше. Но он был печален и чувствовал себя без друзей одиноким.

Наступил вечер. Даргомыжский не зажег света ни в гостиной, ни в кабинете. Софья Сергеевна была где-то на другом конце квартиры, а он сидел у себя в темноте. Думалось не только о сегодняшнем – перед глазами стояли судьбы Мусоргского, Римского-Корсакова, вступавшего в большую жизнь Бородина… Чутьем много прожившего человека Даргомыжский предвидел для них и бури, и горести, и разочарования. Но сегодня они молоды и полны надежд. Ему хотелось, чтобы еще долго жили в них эти надежды…

Вошла Софья Сергеевна:

– Что ж ты, Саша, в потемках?

– Ну зажги.

Она засветила верхнюю лампу и ту, которая стояла у него на столе.

– Не ляжешь?

– Нет… Ну ладно, лягу, – согласился Даргомыжский.

Он медленно раздевался, чувствуя слабость в сердце. Ничто его не мучило, на душе было спокойнее, чем всегда, и за исход концерта он перестал волноваться, но слабость была странная: хотелось закрыть глаза и совсем ни о чем не думать.

Перед ним проходило прошлое: встречи, события, Глинка, премьера «Руслана», провал «Русалки» и последующий ее триумф, дружба с балакиревцами… Дойдя в своих мыслях до Мусоргского, Александр Сергеевич вдруг встревожился. Он сказал себе, что не будет думать о нем, но мысль возвращалась именно к нему.

Софья Сергеевна напоила его чаем и приложила к ногам грелку.

– Что-то я зябну сегодня, – заметил он.

Она потрогала рукой печь:

– Нет, теплая, ничего. Сильный мороз на улице, потому.

Даргомыжский с трудом представил себе огромный зал собрания весь в огнях. Ему стало жаль, что в последний раз у него дома не сыграли бородинскую симфонию. Когда опять соберутся,

непременно попросит: раз уж в концерте не пришлось, так хоть здесь.

– Свет потушить? – спросила сестра, снова заглянув к нему.

Даргомыжский лежал с закрытыми глазами. Голос ее он услышал словно издали и с усилием отозвался:

– Пожалуй…

Долго он не засыпал. Ему казалось, что концерт давно кончился и теперь глубокая ночь; сквозь лед на стекле светит уличный фонарь; он видит через опущенные веки покрытое льдом стекло, светящееся от наружного света; кажется, что он так лежит давно и свет перед ним мерцает уже долго-долго. А может, это длилось всего несколько минут…

Видения окружали Даргомыжского, и он был ими полон. Быть может, это был сон, а быть может, последние мгновения уходящей жизни.

Во сне Даргомыжский умер.

Когда утром сестра, вытирая полотенцем руки, вошла к нему, он был совсем холодный. В первую минуту она себе не поверила.

– Саша, – позвала она, – проснись!.. – Подождав, она со страхом повторила: – Саша, время вставать! – Затем тронула его за руку.

Тяжелая неподвижность руки открыла Софье Сергеевне всё; она выбежала из комнаты звать людей.

Когда, как было вчера условлено, явились Римский-Корсаков и Мусоргский, когда они вбежали в гостиную, чтобы рассказать о блестящем успехе Бородина, мертвый Даргомыжский лежал на столе и по углам стола горели свечи.

Они остановились в оцепенении и стояли так долго.

Днем стали появляться первые делегации. Приносили венки и ленты и, сложив у гроба, отходили в сторону. Народа собиралось все больше, квартира показалась тесной. Трудно было отделить тех, кто бывал тут часто, от тех, кто почти не вспоминал, что среди них живет Александр Сергеевич Даргомыжский, большой композитор России.

В этой плотной толпе стоявших Мусоргский разглядел Осипа Петрова. Это он создал образ Мельника, это он собирался петь в «Каменном госте». Всю свою жизнь он служил идеалам русской музыки. И вот, полный глубокой скорби, Петров стоял возле гроба, сжав губы, с мучительной складкой раздумья на лице.

Вперед выдвинулся Милий Балакирев. Со вчерашнего дня он, казалось, осунулся, под глазами появились темные тени, а лицо выглядело еще бледнее, чем всегда. Что-то в его взгляде было беспокойное и печальное до предела. Друзья украдкой посматривали на него, заметив, что он сам не свой.

Но больше, чем друг о друге, думали об умершем. Казалось, оборвалась нить, связывавшая их с прошлым. Балакирева травят, в театре русской оперой пренебрегают; они остались теперь, потеряв Даргомыжского, один на один со своими недругами.

Когда Мусоргский вышел в коридор, к нему, протиснувшись в толпе, подошел Осип Петров. Он кивнул и печально произнес:

– Теперь вы за свою оперу еще в большем ответе. Ждем «Бориса» вашего. Говорю это вам в горестный для всех час…

Мусоргский хотел что-то ответить, но глаза его затуманились. Он вынул платок и молча стал вытирать слезы.

IV

Утром прибыл курьер с пакетом, запечатанным сургучной печатью. Когда Балакирев распечатывал пакет, руки у него дрожали. Он знал, что в этой бумаге заключается приговор ему, и не ошибся. Директора Русского музыкального общества ставили Балакирева в известность, что дальнейшая деятельность его в качестве дирижера невозможна.

Противники добились своего.

Держа в руке бумагу, Балакирев сознавал свое поражение. Ни товарищи, ни признание, которое он завоевал, не смогли спасти от удара, который был ему нанесен.

Балакирев, ждавший удара давно, не думал, что так тяжко примет его. Все вокруг казалось безрадостным, безнадежным, и сам он показался себе бессильным. В душе, вбиравшей капля за каплей горечь, вдруг что-то надломилось.

Он стоял, застыв в неподвижности. Софья Ивановна, почувствовав неладное, ходила под дверью, не решаясь войти. И все, что сюда в комнату проникало, представлялось ему голосом другой жизни, от которой он отстранен.

Никого не хотелось видеть. Ему нужно было одиночество.

В эту тяжкую для него минуту Балакирев, не веривший в бога, с возмущением и страхом подумал, что некая грозная рука карает его за дерзость мысли, за порывы и жадность к жизни. До тех пор пока он не смирится, рука эта его не выпустит – решил в своем отчаянии он. Неужто ж надо смириться и отойти?

Русское музыкальное общество, отстраняя Балакирева, оставляло его без всяких средств к существованию. Снова вырисовывалась печальная перспектива лишений, нужды, беготни по урокам. И это после той славы, какая его окружала, после побед, которые он одержал!

Ни к кому Балакирев не пошел, никому не заявил своего протеста. Буря возмущения поднялась помимо него: в Петербурге, в Москве раздались негодующие голоса. Чайковский с гневом написал, что можно Русское музыкальное общество отставить от Балакирева, но нельзя отставить Балакирева от этого общества. Тем самым Чайковский воздал ему высшую почесть, сравнив его труд с трудом Ломоносова, отставленного в свое время от Российской Академии наук.

Балакирев был ко всему безразличен; он словно угас. Дух его надломился, он чувствовал себя неспособным к борьбе.

Стасов, встретив его на улице, почти не узнал – так изменился тот за короткое время.

– Что с вами, Милий? – спросил он. – На вас лица нет!

Перед ним был человек испуганный, угнетенный, подавленный горестными событиями.

– Дай вам бог всем удачи, а я более вам не помощник. Я вне игры, – сказал Балакирев.

– Да не может этого быть! Вы же видите, каким возмущением на эту гадость все отозвались!

Прошли мимо церкви. Незаметным движением, стараясь, чтобы Стасов не видел, Балакирев перекрестился. Партия великой княгини могла торжествовать победу: дух одного из самых деятельных и самых горячих поборников русской музыки ей удалось сломить.

– Как вы можете, Милий, мириться с таким положением! После вас назначили ничтожного, жалкого капельмейстера – ведь это позор! Вы ведь видите, что прогрессивные силы с нами!

– Нет, я один, – ответил Милий печально.

– Но есть же еще Бесплатная школа. Отдайте всю вашу энергию ей, ведь вы-то ее и создали!

– Я и оттуда уйду, – отозвался Балакирев, и в голосе его прозвучала печальная решимость. – Заместителя только найти.

– Да что же это такое? – с гневом выкрикнул Стасов. – Вы были самым горячим и самым непримиримым, вы воодушевляли всех нас, а теперь… что же это? Бегство?

– Я смирился.

– Но ведь дело наше идет к победе! Как можно в такую минуту?…

– Я устал.

– Ну, точно Берлиоз! Но он стар, одинок, не признан на родине, а нас много, большая группа!

Городовой остановил телегу и затеял строгий разговор с возчиком. Балакирев, точно картина эта заключала в себе что-то символическое, остановился и стал наблюдать за тем, как возчик покорно заворачивает за угол, сопровождаемый городовым.

– Милий, может, вам деньги нужны? При вашей скрытности никак не узнаешь истинного вашего положения.

– Не нужны, – ответил он равнодушно. – Я тут кое с кем толковал, обещают найти работу.

– Какую?

Он сказал неохотно:

– Работа ничтожная, зато оклад твердый. – Подождав, Балакирев, как будто сам испугавшись того, что объявляет, добавил: – На железной дороге конторщиком.

Стасов ничего не ответил. Да и что было отвечать? Решение, внезапное, бессмысленное и бесповоротное, обезоружило его.

Сознавая трагическую нелепость своего шага, Балакирев добавил с кривой усмешкой:

– Чем не дело для дирижера, которого вы ставили так высоко?

– Да вы больны попросту!

– Душа – да. Душа болит, это правда, – сказал он горько.

– Неужто же вас больше не интересуют Мусоргский, Римский, Бородин, я?

– Бахинька милый, не терзайте меня! Дай бог вам успеха, а я что-то утратил… веру утратил.

– Какую же веру?

– В наше дело, в наш боевой задор. Меня провал концерта в Нижнем совсем доконал; я после него надломился… Может, к богу надо вернуться? Не знаю…

– Вам? И у него вы ищете утешения?! Мусорянин на что нетверд, а еще лет десять назад прогнал плетью все эти искушения.

– Время другое, – сказал устало Балакирев. – Душно, дышать совершенно нечем.

Стасов насильно взял Балакирева под руку, как будто тот мог ускользнуть.

Немного погодя Балакирев высвободил руку. Он искал одиночества и за пределы мучительно обретенного одиночества не желал выходить. Вмешательство другого, пусть даже близкого, только сбивало с уединенного пути, избранного им.

– Прощайте, Владимир Васильевич, – сказал он строго, переходя на официальный тон. – Я с вашим делом связан по-прежнему, но не томите меня и не требуйте иных дел, кроме Бесплатной школы. Оттуда пока не уйду.

Балакирев удалился не оглядываясь. Широкая крутая его спина еще некоторое время была видна в толпе, а потом скрылась.

V

Не стало больше дома на Моховой, где столько хороших вечеров было проведено. Не стало балакиревского пристанища. Однако остался дом Шестаковой, осталось стасовское гостеприимство, появился милый дом Пургольдов.

Мусоргский повсюду бывал желанным гостем. Каждый раз, приходя к кому-нибудь, он показывал то новый отрывок, то целую сцену. Работа кипела, опера писалась удивительно быстро.

Где бы он ни появлялся, вместе с ним приходило ощущение близкой победы. Мечтая о победе для себя, Мусоргский не отделял ее от дела «могучей кучки». Казалось, только дописать оперу – и откроются такие возможности, что не только ему, но и всем радеющим об искусстве станет легче дышать.

Модест то исчезал и друзья подолгу его не видели, то появлялся вновь. Он искал встреч с людьми, которые обогатили бы его.

То историка Костомарова надо было повидать, чтобы получить самоновейшие данные по истории смуты; то у Стасова в Публичной библиотеке раздобыть редчайшую книгу, по которой можно проверить порядок выхода молодого царя из храма; то вдруг архитектора Гартмана во что бы то ни стало повидать, и он проводил в разговоре с ним чуть не всю ночь.

Друзьям казалось, что Мусоргский разбрасывается. Но из осколков и мелочей, из наблюдений, почерпнутых знаний, из мыслей и догадок складывалось мало-помалу цельное и громадное сооружение.

Шуточное ли было дело состязаться с самим Пушкиным! Даргомыжский – тот шел путем, выложенным пушкинскими строками. В «Борисе» такой путь был решительно невозможен: быстро сменяющие одна другую сцены трагедии никак нельзя было уместить в границах оперы.

Мусоргский выбирал и отбирал, набрасывал новые нужные ему сцены. Конечно, с Пушкиным ему не тягаться, но, вчитываясь в текст «Бориса», он отбирал все самое важное для своего замысла. А замысел, как и у Пушкина, был неотделим от образа народа в трагедии.

Чем больше Мусоргский работал, тем шире определялась эта идея. Она, впрочем, не мешала ему пристальнее вглядываться в фигуру царя Бориса. И не только у Пушкина хотелось выведать, кто же такой Борис, но и у людей, изучавших ту эпоху. Где в его деятельности прогрессивное, а где преступление честолюбца? Принял ли народ Бориса? Где покорность толпы, а где

бунтарство? Светлый взгляд на народ, завещанный обществу Чернышевским, служил для него путеводной нитью.

Пробираясь в дебрях знания и незнания, Мусоргский постепенно вырабатывал собственное отношение ко всему.

Противники «могучей кучки», видя, что им удалось свалить Балакирева, стали еще злее наседать на кучкистов. Они травили их в статьях, рецензиях, старались закрыть доступ их произведениям.

Как-то, когда все собрались у Людмилы Ивановны, она, посмотрев на Мусоргского, сказала:

– Моденька какой-то сегодня загадочный. Али что-нибудь сочинил и намерен нас удивить?

– Действительно, у вас странный вид, – согласился Кюи. – Ну-с, что у вас за душой?

Мусоргский едва заметно усмехнулся:

– Вы, господа, разите противников за чайным столом, а мы тут цитатки приготовили и наш ответ на цитатки.

Почувствовав себя в центре внимания, Модест развернул страничку и, заглянув в нее, произнес:

– Достоуважаемый Серов писал: «Самый последний музыкант из водевильного оркестра продирижировал бы лучше Балакирева «Героическую симфонию» Бетховена и «Реквием», Моцарта, так как у оркестровых музыкантов есть в этом своя традиция, у господина же Балакирева нет собственного вкуса и разумения… – Мусоргский отложил страничку и докончил на память: – При всей своей даровитости, господин Балакирев вполне неуч». – Он не торопясь достал другую страничку, на которой крупным его почерком была сделана другая выписка.

– Это вы что нам читаете – на предмет чего? – спросил Стасов. – Про то, как они обнаглели, мы и так знаем.

– Это как бы введение к нашему опусу. Вот профессор Фаминцын про нас изъясниться изволил: «Если в кабацких сценах состоит народность, то мы можем похвалиться русской народной инструментальной музыкой, так как имеем в этой форме довольно много различных трепаков – под этим общим названием я подразумеваю все банальные, простонародные плясовые песни. Мы имеем несколько трепаков русских, трепак казацкий, трепак чухонский, сербский…» Вот какое непристойное оскорбление нашему Глинке с его «Камаринской» нанесено, Даргомыжскому – с его «Казачком» и «Чухонской фантазией», Балакиреву и Римскому-Корсакову! Опять же напомню, что Серов назвал нашу группу «гнездом интриганов-самохвалов», а Феофил Толстой объявил, что кружок наш «поддерживается кликой разрушителей».

Гости Людмилы Ивановны молчали. Им было непонятно, почему Модест заговорил об этом. В гостиной наступила неловкая тишина, которая возникает, когда кто-либо вдруг расскажет историю, не имеющую связи с предыдущим.

Мусоргский, словно не замечая неловкости, продолжал:

– После сих слов, которые есть вступление к нашему нумеру, позвольте изобразить хулителей наших музыкально. Мы, с вашего, господа, соизволения, согрешили «Раек». По замыслу своему он должен, как зерцало, отразить безобразия весьма важных музыкальных персон…

– Вот вы к чему! – с облегчением сказал Стасов. – Знатно придумано! Ну, послушаем.

И все, почувствовав, что неловкость прошла, весело расселись, ожидая исполнения.

Мусоргский сел за рояль и начал исполнять «Раек».

Как положено в сочинениях подобного рода, тут были зазыв и приглашение полюбоваться на «великих на господ, музыкальных воевод». Автор «Райка» намеревался поведать всю правду про этих самых «молодцов, музыкальных удальцов». Сами молодцы выступали каждый на фоне музыки, характеризовавшей его существо. Один, например, глубокомысленно и серьезно доказывал, будто минорный тон есть грех прародительский, а мажорный – греха искупление. В портрете музыкального ханжи нетрудно было узнать профессора Зарембу. За ним возникал неугомонный, вертящийся под салонный вальс Фиф, то есть критик Феофил Толстой, поборник всего итальянского, внемлющий, обожающий и воспевающий только Патти, на все лады повторяющий это милое его слуху имя. Далее выставлялся на осмеяние Фаминцын, скорбящий о неприличном детском пятнышке, оставшемся на нем после конфуза на суде, когда Стасов уличил его в клевете. Затем выступал громоподобный автор «Рогнеды» – Серов. И, наконец, появлялась преславная Евтерпа, великая богиня, а попросту сказать – великая княгиня Елена Павловна, и все четыре героя «Райка» возносили на мотив «Дураковой песни» из «Рогнеды» хвалу сей покровительнице искусств в надежде на ее милости.

Музыкальные портреты были меткие, острые и до крайности напоминали прототипы. Мусоргский в каждом схватил самое характерное.

Исполнял он свой «Раек» с видом отменно серьезным, а кругом все до упаду смеялись. Невозможно было не смеяться: так верно, зло и находчиво была схвачена в каждом его суть. Даже Людмила Ивановна, обычно сдержанная, на этот раз смеялась почти до слез.

– Бесподобно! – повторял Стасов. – Всех наповал убили! Более злого оружия не придумаешь!

В эту минуту вошла в гостиную горничная и что-то шепотом сообщила хозяйке. Людмила Ивановна кивнула. Отложив шитье, которое она весь вечер не выпускала из рук, она объявила, как о чем-то самом обычном:

– Вот и Милий Алексеевич явился. Моденька, повторите при нем свой «Раек».

Все на мгновение затихли. Друзья переглянулись, как бы уславливаясь соблюдать в обращении с ним величайшую осторожность.

Балакирева встретили так, как будто он и в прошлый и в позапрошлый раз был тут.

– Вот вы как кстати, Милий! – заговорил Стасов. – Мусорянин насмерть сразил наших противников. С сего дня они так смешны, что принимать их всерьез более невозможно.

Все стали просить Модеста, чтобы он показал свой «Раек» еще раз.

И вот он снова вывел героев своих на парад.

Балакирев сидел опустив голову; незаметно появилась на его лице улыбка. Она возникла, блуждающая, странная, против его желания; казалось, за нею скрываются мысли, недоступные остальным.

Когда Мусоргский кончил, Балакирев произнес в задумчивости:

– Зло. Зло и метко. – Он помолчал. – А надо ли злое сочинять? – добавил он неуверенно.

Друзья не стали спорить, не желая тревожить его душу. Весь вечер они окружали Балакирева своим вниманием. И Людмила Ивановна была с ним особенно ласкова. Погляди кто-нибудь со стороны, он решил бы, что в кружке царит полное единодушие, какое царило прежде.

«Раек» хлопотами кружковцев был скоро издан. Не успел он появиться, как пошел гулять по Петербургу. В магазинах спрашивали его без конца. Случай почти небывалый: разве что модный вальс раскупали с такой быстротой, а тут сатира, раек! Но все, кто хоть немного были наслышаны о «могучей кучке» и ее противниках, торопились достать этот памфлет и узнать в его музыкальных портретах живых людей.

VI

Скольких советчиков ни выбирал себе Мусоргский – Никольского, Стасова, Костомарова, – а действовал он независимо: брал от всех материал, разыскивал нужные тексты, песни, стихи и затем складывал все по-своему.

Постепенно с нотных страниц вставал народ – сначала во всей глубине своего неведения. Пристав с дубинкой, стоящие на коленях люди, равнодушный вопрос среди причитаний толпы: «Митюх, а Митюх! чего орем?», разговор баб о том, нельзя ли тут где напиться, потому что горло пересохло от причитаний, – все показывало, что, не пренебрегая ни одной деталью, рисуя все с точностью художника и психолога, Мусоргский стремился создать картину размаха огромного. Народ в его музыкальной драме вставал с той же широтой, что у Пушкина, – вставал таким, каким еще до сих пор на оперной сцене не появлялся.

Крупными, смелыми мазками изображал Мусоргский. Бориса с его честолюбием, стремлениями и терзаниями совести. Таким же правдивым, полным страстей вырастал боярский мир с его интригами, смутами и тщеславием.

У кого бы ни собирались, он приносил с собой то, что успел написать. Как прежде Даргомыжский показывал свою оперу кусок за куском, так теперь ни один вечер не обходился без новых отрывков из «Бориса Годунова», и каждый обсуждался горячо.

Балакирев из кружка ушел, но единство не пошатнулось.

Ближе всех были теперь друг другу Римский-Корсаков, Мусоргский и Бородин. Их связали и жажда творчества и взаимный искренний интерес. Кроме них, бывали на собраниях Стасов, Шестакова, сестры Пургольд, певцы из театра, мечтавшие поскорее увидеть на сцене новое произведение.

Отрывки, которые приносил Мусоргский, вызывали толки, споры, а чаще всего восторг. Но по мере того как целое обрисовывалось все яснее, росли и опасения.

– Знаете, Модя, – сказал как-то Стасов, бегая по» комнате, – то, что вы пишете, беспримерно. Но я бы и поляков все-таки показал. Без них нет контраста, фона настоящего мало. Без польских сцен ваш Самозванец неясен, и борьба того времени будет дана неполно. Надо раздвинуть рамки «Бориса».

Автор сидел за роялем и упорно молчал.

– Иу-с, что скажете, Мусорянин?

– Как же я стану творить над собой насилие? С замыслом, какой он ни на есть, я сжился. Менять его – выше моего умения.

– Да нет, пустое, не то! – твердил Стасов. – А вы, Цезарь

Антонович, что скажете?

Тот пожал плечами: дело, мол, автора – как хочет, так пусть и поступает.

– А вы, адмирал, какого на сей предмет мнения держитесь? – обратился Стасов к Римскому-Корсакову.

– Боюсь, Владимир Васильевич, судить опрометчиво. Допишу «Псковитянку» – тогда многое самому станет виднее.

– Ишь какой осторожный! Прикидывается малоопытным, а инструментовку постиг так, что любой позавидует! Ну, дело ваше, молчите.

Бородин – тот искренне признался, что ему в «Борисе» по сердцу решительно все. Он со Стасовым кое в чем мог бы согласиться, но навязывать свое мнение автору не считал себя вправе.

Мусоргский сидел скрестив руки и наблюдал за каждым, кто говорил.

Бывает такая форма упрямства, когда правоту второй стороны признаешь, но вместе с тем видишь в себе и такое, чего собеседник не может знать. Припоминая, как складывались картины оперы, сколько вариантов он перебрал, прежде чем они улеглись в твердую форму, он чувствовал, что от сделанного отойти почти невозможно.

– Не надо, Мусорянин, упорствовать, – продолжал Стасов. – Создается произведение на века, не боюсь это заявить, а в вас бес какой-то вселился. Никогда еще с вами не было, чтобы вы писали как шалый. «Саламбо» обдумывали столько времени, да так и не додумали, а тут куски готового один за другим рождаются. Чего же вы чинитесь?

– Не требуйте, Бахинька: дописывать я не могу. Может, от глупости это: вы же всегда говорили, что у меня царя в голове нет.

– Нет-нет, от этого отступаюсь! Теперь я вас за умницу превеликого почитаю и могу, если угодно, кадить вам без конца. Но вот что поймите: такое огромное целое, как «Борис», требует не только воодушевления, но и холодного расчета. Расчет может быть смелый, но трезвый. Надо тут еще многое дотесать, Мусорянин.

Мусоргский ушел огорченный. Так жаждал он понимания, а понимания полного не встретил, казалось.

Был, впрочем, дом, где его приютили, пригрели и где он пользовался теплом безотказной дружбы.

В Инженерном замке, где жили Опочинины, брат и сестра, Мусоргский поселился как свой человек. Надежда Петровна, что бы он ни играл, горячо одобряла всё. Тут он был не ученик, как

при Балакиреве, не молодой автор, обязанный прислушиваться к мнению других, – тут он был для критики недосягаем.

Бывают такие периоды в жизни, когда всего важнее не критика, а поддержка. Создавая «Бориса», Мусоргский находился в таком состоянии. То, что Надежда Петровна понимала его, служило ему и отрадой и поддержкой в работе.

– Голубушка вы моя, – говорил он, целуя ей руки, – как это судьба послала мне вас! Приду откуда-нибудь в ужаснейшем состоянии, а вы подарите доброе слово – и опять начинаю верить в себя.

Надежда Петровна не совсем понимала, какую роль играет при нем. Одно только было у нее желание – чтобы он поскорее расправил крылья во весь их размах и поднялся до высоты, доступной его таланту.

VII

«Борис Годунов» писался с быстротой исключительной. В октябре 1868 года он был начат, а уже весной следующего года закончен в клавире, и Мусоргский приступил к инструментовке. Она заняла несколько месяцев. И вот в следующем, 1870 году «Борис Годунов» был готов.

Куда нести? Одно только было место – Управление императорскими театрами. Существовал там репертуарный комитет, который выносил свое заключение об операх.

Кроме дирижера Направника, входили в него два капельмейстера – Монтан и Бец. Работали они в драме, а в оперной музыке смыслили мало. Туда же входил еще контрабасист Ферреро. Вот и вся комиссия; среди членов ее один лишь Направник отличался образованностью и вкусом. Это был человек с резко очерченным профилем, выдвинутым вперед подбородком и упрямым, высоким лбом, педантичный, требовательный и точный.

Когда опера, решительно непохожая на то, с чем комитет имел дело обычно, попала туда, Ферреро прежде всего обиделся на автора, не обозначившего раздельное исполнение контрабасовой партии в том месте, где поет Варлаам. Контрабасы спокон века играли в унисон, а Мусоргский поручил им два голоса. Монтан и Бец подошли строже: они нашли, что опера без центральной женской роли на сцене немыслима.

О самом важном в комитете не было сказано, а самое важное заключалось в том, что никогда и никто еще не выводил народ в опере с такой смелостью и широтой. Была прежде толпа, бывала масса народа, но чтобы ей принадлежала центральная роль в действии, этого не было. Никогда еще вопроса о правах царя не ставили с такой прямотой и дерзостью. Не зря «Борис Годунов» пушкинский был тоже долгие годы под запретом.

Друзья Мусоргского с нетерпением ждали решения комитета. Судьба композитора и судьба произведения были неотделимы.

Прошло много недель ожидания.

Однажды Мусоргский отправился в контору театров справиться, рассматривал ли уже комитет «Бориса Годунова».

Секретарь, молодой человек в мундире, с чиновничьим острым носом и в очках, узнав, зачем пришел посетитель, долго разыскивал его партитуру. Можно было подумать, что оперы поступают сюда без конца. Два раза он переспросил фамилию, уходя в соседнюю комнату на поиски. Наконец вышел, держа в руках толстую папку. При виде ее Мусоргский понял, что

«Бориса» ему возвращают.

– Театральная дирекция не может использовать ваше сочинение, – объявил секретарь. – Вот тут, будьте добры, распишитесь в получении своего труда.

Автор наклонился над толстой книгой исходящих бумаг и поставил свою подпись. Лицо его не выражало ничего – ни досады, ни возмущения.

С партитурой под мышкой Мусоргский спустился по темной лестнице, обогнул здание Александрийского театра и, только дойдя до памятника Екатерине, остановился.

Он сознавал, какой удар ему нанесли. Все мечтания, все надежды его рухнули. Слова, которые ему говорили близкие, их похвалы, признание, восторги – все потеряло значение. Он испытывал гнетущую боль.

Партитура никак не влезала в портфель. Мусоргский достал номер «Санкт-Петербургских ведомостей» и завернул «Бориса» в него. Со стороны Невского дул порывистый ветер; край газеты бился под рукой и не желал лечь аккуратно.

Мусоргский пошел по Невскому навстречу ветру, дувшему с залива. Глаза стали слезиться. Он с досадой сказал себе, что это, упаси бог, не слезы огорчения: достаточно знать нравы театральной администрации, чтобы не проливать слез. Когда «Семинариста» его запретила цензура, Мусоргский говорил, что это самое для его песни лестное. Может, то, что «Бориса» отвергают, не менее лестно? Но как же жить дальше? Откуда почерпнуть надежды? Терзавшую его боль невозможно было заглушить.

Мусоргский вошел в трактир возле Морской. Отдавая на вешалку пальто, он, как посторонний, поглядел на партитуру «Бориса», положенную им на подзеркальник. Словно он и не автор этого сочинения. Из зеркала на него смотрел человек с печальными глазами, уставший от забот, желающий хотя бы на время забыться.

Вернулся он к Опочининым поздно. Александр Петрович спал, а Надежда Петровна ждала его.

Заметив, что он не в себе, Надежда Петровна без всякой укоризны сказала:

– Зачем вы так, Моденька? Ведь нельзя же вам, вредно, вы сами потом раскаиваетесь!

Мусоргский приложился к ее руке с наигранной галантностью.

– Простите… – пробормотал он. – Не стою ваших забот…

– Да я не осуждаю, мне только жаль и больно.

Он сел в кресло, бессильный, и добрыми виноватыми глазами

посмотрел на нее. То ли она мать ему заменяла, то ли он влюблен в нее, Мусоргский сам не понимал.

«Вот я какой ничтожный, – подумал он. – Меня раздавили и смяли, но я не жалуюсь и помощи ни у кого не ищу. Обойдусь один, пускай только она смотрит на меня своими добрыми глазами…»

Мусоргскому казалось, что он перед нею виноват, но в душе его поднималась гордость осознанного несчастья. Мысль, что он один, совершенно один, наполнила его и горечью и верой в то, что как-нибудь он выберется из беды.

– Идите, Моденька, спать, – мягко сказала Надежда Петровна.

– Пойду, хорошо, – ответил он, с трудом поднимаясь.

Захотелось рассказать, как его сегодня унизили, уже слова какие-то возникли, но мысль об одиночестве заставила его промолчать.

Утром, проснувшись, Мусоргский не сразу припомнил, что случилось вчера. Ах да, «Борис»! «Бориса» вернули… Что же делать теперь? Когда Милия уволили, раздались хоть голоса протеста, возмущения, а тут кто же поднимет голос? Никто. Все то большое, что мерещилось ему в эти месяцы, пропало с той минуты, как он расписался в книге исходящих бумаг.

Надо было собираться на службу. Что ж, раз он не композитор, только и остается что служить в Лесном ведомстве. Наверно, Милий, свернувший с дороги искусства, испытывал такое же чувство безысходности.

Мусоргский намерен был уже уйти, когда появилась в столовой хозяйка.

– Куда вы, Модя, без чая? – остановила она его.

В столовой было пасмурно. В халате, растрепанная, заспанная, Надежда Петровна была так же мила ему, как и вчера.

– Простите, голубушка вы моя, вчерашний мой грех! – произнес он виновато.

– Я просто испугалась, полночи потом не спала. На вас лица вчера не было. Не случилось ли чего дурного, Моденька?

Он указал на лежавшую на окне со вчерашнего вечера рукопись:

– Вот эту партитуру прирезали.

– Ах господи, как же так?! – произнесла она с испугом.

Он пожал плечами, не умея объяснить, почему так случилось.

Надежда Петровна, видя, что Модест уходит, попробовала задержать его.

– Нет, неохота пить чай… Я так пойду, голубушка…

Два дня никому из друзей Мусоргский не рассказывал о своем провале. Надо было самому привыкнуть к новому

положению. Смутное чувство протеста останавливало его: ведь в свое время Кюи и Стасов советовали внести переделки в оперу, а он не согласился. Теперь они вправе приписать отказ этому, а он знает наверное, что дело не в этом.

Но Стасов, услышав, чем кончились хождения Мусоргского, отнесся к неудаче, как подобало другу.

– Тупицы, чиновники! – в негодовании произнес он. – На иностранное тратим тысячи, а свое втаптываем в грязь!

Он заложил руки за спину и остановился в ожидании. Мусоргский молчал.

– Вы что же, Модест, намерены отступить? Пойдете путем Милия?

– Не знаю… нет. Путь Милия не для меня.

– Не отступать надо, а драться до крови!

Стасов с тревожным ожиданием смотрел на Мусоргского; Мусоргский подумал, что вот сейчас тот скажет: «А я про переделки прежде еще говорил!»

К счастью, не желая бередить свежую рану, Стасов об этом не вспомнил. Он видел перед собой человека, лишившегося надежд и утратившего бодрость.

При мысли, что Модест сдастся так же, как Милий, ему стало страшно. Но в следующую минуту выражение безвольной слабости ушло с лица Модеста, «Нет, не сдастся, – решил Стасов. – Он упрям и несговорчив. То, что они с Балакиревым полагали за слабость, есть на самом деле его сила».

– Не отделаются они так от меня, – сказал Мусоргский. – Я доконаю их, а «Бориса» моего в конце концов примут!

– А что вы намерены, Модя, предпринять? – деликатно осведомился Стасов.

– Ваш совет был ввести польские сцены. Вот и появится у меня женская роль.

. – Умница! За это одно я готов вас обнять. – Он энергично и весело стал мерить шагами комнату.

Втайне Стасов почти ликовал при мысли, что Мусорярин сделает своего «Бориса» более приемлемым для сцены. Очень хотелось заразить своей уверенностью друга, вернуть ему прежнее воодушевление.

– Я как подумаю, что вы новые свои сцены станете нам играть, – от радости готов прыгать. Нет, получится вовсе не то, чего хотели они: они хотели разбить вас, а вы на поверку станете крепче!

Когда в комнату вошел брат Стасова, Дмитрий, он застал их за горячим обсуждением плана переделок «Бориса».

– Почему же переделки? – спросил он. – Или начальству не

понравилось?

Услышав, что произошло, посмотрев на их возбужденные лица, Дмитрий Васильевич с удовольствием заметил:

– Ну и кряжистый же народ! Разве им таких одолеть? Да они зубы себе сломают!

Он уселся в стороне, чтобы послушать, какие переделки тут затеваются.

VIII

Ломать то, что сложилось, срослось, было не так-то легко. Образы оперы выточены были крепко. Мусоргский сжился и с героями своими и со сценическими положениями – со всем, что создал. Передумывать и переделывать казалось мучительно трудным.

Прошло немало времени, прежде чем он сумел одолеть в себе сопротивление, переплавить старое и сделать его материалом для нового варианта.

Действовал он решительно: дописывал, вставлял картины, взятые из «Саламбо», – те, какие могли подойти сюда. То, что звучало чуждым там, где перед глазами был Карфаген, становилось на место здесь – в ряду сцен, составлявших «Бориса Годунова».

Впрочем, Мусоргский ничего не вставлял механически. Забыв о причине, из-за которой он взялся за переделку, он переживал снова всю драму, проверял ее от первых тактов вступления до заключения. Опера становилась шире, охват ее делался крупнее.

Редко кто так, как Мусоргский, ощущал идею своего произведения. Она владела им и когда он писал, и когда жадно кидался за новыми источниками и допытывал всех, и когда о чем-нибудь думал, на самом деле продолжая внутреннюю работу над «Борисом».

Теперь Мусоргский признал сам, что польские сцены были нужны: резкостью сопоставлений они придавали драме еще большую глубину. По совету Стасова, он ввел монаха Рангони, которого у Пушкина не было. Театр требовал женской роли, а ему, автору, который вводил Марину Мнишек, надо было в первую очередь показать сплетение иезуитских и шляхетских интриг с замыслами Самозванца. Марина превратилась в исполнительницу замысла иезуитов, мечтавших о завоевании России.

Еще острее и резче сделал Мусоргский образ царя-убийцы, отвергнутого совестью народа. Еще полнее обрисовал он характерные типы в опере, вроде хозяйки корчмы. Но всего полнее он изобразил народ. И не напрасно, уже закончив работу, Мусоргский на титульном ее листе написал, что понимает народ как великую личность, одушевленную единой идеей. Так, как он, ее до сих пор никто не показывал: личность эта явилась в опере единственной носительницей идеи справедливости. Она, эта великая личность, отвергла Бориса, сохранила безразличие к дворцовой борьбе, пошла на бунт, в котором видны были язычки

пламени революции. В лице юродивого она сказала правду в глаза всем вплоть до царя; царь не осмелился вступить с нею в спор.

Еще Пушкин писал: «Никак не мог упрятать всех моих утей под колпак юродивого – торчат». А уж Мусоргский спустя сорок лет вовсе и не пытался спрятать – они торчали изо всей его оперы.

Нужны были дерзость мысли и очень стойкие взгляды, чтобы в пору, когда в стране подавлялось всякое свободомыслие, проявить верность идеям, провозглашенным в России Герценом, Чернышевским и Добролюбовым. Мусоргский, создавая «Бориса», в полной мере оказался художником, продолжившим в музыке их великое дело.

В первой редакции сцены под Кромами не было – опера заканчивалась смертью Бориса. Теперь же Мусоргский решил закончить ее картиной восстания. Тут были и присланный Борисом боярин Хрущев, которого вяжет толпа; и бродяги-монахи Варлаам и Мисаил, разносящие молву о Самозванце; и польские иезуиты; и Самозванец на белом коне; тут, наконец, был и юродивый, назвавший ранее Бориса убийцей: скорбной его песней, воплотившей в себе страдания народа, завершалась опера.

Подобной сцены не было еще ни у кого. Такого многообразного и цельного образа толпы, буйной, доверчивой, жаждущей справедливости, не создавал еще ни один музыкальный художник.

Друзьям было видно, что создается нечто огромное по размаху, гораздо более широкое, чем в первой редакции. Талант автора от испытаний не надломился, а окреп еще больше.

Пусть в кружке стало меньше народа: Балакирев отошел, Кюи, занятый своей новой оперой и своими статьями, тоже стал появляться реже. Зато плодовитый, быстро выросший Римский-Корсаков, спокойный, талантливый Бородин, Стасов, не только не отдалившийся от них, но еще больше с ними сблизившийся, составили вместе когорту не менее могучую, чем та, которая была. А вокруг были художники Маковский и Репин, скульптор Антокольский, близкие к кружку через Стасова, были замечательные певцы Осип Петров, Воробьева-Петрова, Кондратьев, Платонова, подружившиеся с кружком через Людмилу Ивановну.

Мусоргский одиноким себя не чувствовал. Все ждали новых страниц «Бориса», понимая, что творение его в равной степени близко и художникам, и актерам, и тем более певцам.

Стоило Модесту где-нибудь появиться, как начинались

вопросы:

– Какие новые чудеса вы за это время создали, Мусорянин?

Полный тем, что он написал, Мусоргский говорил таинственно и витиевато:

– Сотворили мы вещь вельми опасную для властей предержащих.

Наденька Пургольд садилась без промедления за рояль. Осип Петров, даром что берег свой голос, брался за ноты. К роялю подходила Анна Яковлевна, его жена, и Саша Пургольд, и Стасов, готовый тут же найти меткую характеристику, и Корсинька, и Бородин.

Сама Людмила Ивановна, у которой чаще всего это происходило, требовала:

– Нет, вы заслонили Модю от меня совсем! Потеснитесь как-нибудь, дорогие, чтобы и мне было видно.

И начиналось исполнение.

IX

В обычный воскресный день в семье Опочининых пообедали. На обед был капустный пирог, который так любил Модест, и много другого вкусного. Мусоргский поиграл уже и шутейными своими рассказами позабавил хозяев. Александр Петрович прилег отдохнуть и заснул.

В столовой остались Модест и Надежда Петровна. После оживления, царившего во время обеда, они замолчали и даже неловкость некоторую почувствовали.

Опочинина ждала и боялась того, что возобновится разговор, начинавшийся уже несколько раз.

И точно: помолчав немного, Мусоргский сказал:

– Надоел я вам, представляю себе! Как только вы меня терпите!

– Оставьте, Модя, придумывать. Фантазер вы, право.

– Вчера приставал с признаниями и позавчера. Хоть вы мне запретили, а удержаться никак не могу…

– Нет, этого больше нельзя, – твердо сказала она. – Мы так с вами дружно жили, когда ни о чем этом не думали, а как внесли вы эту ноту, стало тяжело и вам и мне.

– Да ведь я вас люблю, Надежда Петровна!

– И я вас люблю, – сказала она.

– Что же делать?

В глазах его была беззащитность. Он казался душевно нетронутым, неопытным, неумелым.

Опочинина сказала грудным голосом, каким говорила, когда ее что-либо переполняло:

– Моденька, я всё объяснила, ничего не утаила от вас. Вы знаете, сколько мне лет, – я гожусь вам скорее в матери, чем в жены. Разве же можно, если во мне есть хоть капля гордости и достоинства, ответить на ваши чувства чем-либо другим? Я отвечаю вам нежной, задушевной дружбой.

– Мне все едино, сколько вам лет! – сказал он упрямо.

– Да мне-то не все равно. Вы мечтатель и понятия о жизни настоящего не имеете. Через два года, ну через три, четыре, разница станет заметнее, и будем мы с вами люди двух поколений, которых по злой шутке связала судьба. Разве вы хотите такого моего унижения?

– Для меня и через двадцать лет ничего не изменится.

Опочинина с горечью улыбнулась:

– Как вам, взрослому ребенку, объяснить? Ну не возможно же, не возможно между нами ничего!

Глаза у нее покраснели, она торопливо достала платок и начала вытирать их. Мусоргский кинулся к ней, но она отстранила его рукой:

– Не надо, не надо… Я старше и опытнее, и в ответе я, а не вы… Подайте мне зеркальце, Модя.

Надежда Петровна еще раз старательно вытерла глаза. Она посмотрела на себя в зеркальце со вниманием, даже с пристрастием. Затем удивленно заметила:

– Господи, и вот такая вас привлекает? Если бы я не преклонялась перед вашим талантом, не знала бы вашу чистую душу, могла бы подумать, что вы хотите зло надо мной посмеяться.

– Надежда Петровна, дорогая, голубчик, клянусь: мне все равно, какая вы будете! Мне ваше сердце дорого, ваша душа…

Когда брат вошел в столовую, протирая со сна глаза, он застал их смущенными и молчащими.

– Я думал, минут на десять задремал, а оказывается, вот сколько – целый час… Что у вас такой невеселый вид У обоих? – заметил он. – Опять какие-нибудь странные истории сочиняли при ней, Модест?

– Да уж куда странней… – сказала Надежда Петровна и вышла из столовой.

Мусоргскому самому в иные минуты казалось, что увлечение его безрассудно и дальше пустых мечтаний привести никуда не может. Надежда Петровна старше его на восемнадцать лет; она дружила еще с его матерью, она помнила его мальчиком. Со своими притязаниями он был смешон: без положения, без средств требовать ответа на свои чувства! Может, чувство его потому и возникло, что в доме Опочининых он нашел тепло, уют и заботу? Может, больше всего это тепло и манило его?

Тут была путаница, которую он не старался распутать.

Уехать бы отсюда, потому что мучить ее и себя, живя рядом, казалось ему невозможным.

Мусоргский ничего не предпринимал, и, может быть, путаница отношений продолжалась бы еще долго, если бы Римский-Корсаков не напомнил однажды:

– А ведь вы, Модя, предлагали поселиться вместе – забыли? Как – хотите? Сколько на марки – писать друг другу – денег уходит! Пожалуй, на комнату стало бы, если бы подсчитать расходы. Давайте, правда, снимем комнату?

– Снимем, что же…

Вдруг Корсаков спросил неуверенно:

– А рояль как делить станем?

– Я к двенадцати отправляюсь на службу. С этой минуты

рояль, Корсинька, ваш.

– Да и мне, видно, придется уходить… – Он со смущением добавил: – Я, Модя, с военной службы решил уйти.

– Ну и дело, давно пора.

– Меня в консерваторию зовут – профессорствовать.

– Заремба?! Публично нами осмеянный?!

Корсаков продолжал с легкой обидой:

– Во-первых, там теперь не Заремба… Так и думал, что вы осудите это. Вы, наверно, считаете, что я изменил нашему делу, а я не изменил!

Мусоргскому в самом деле стало грустно.

– Как же мы жить будем вместе: вы – ученый профессор, и я – недоучившийся дилетант?

– Оставьте, Модя! Сами хорошо знаете, что я не профессор, а вы не дилетант: одни слова.

Оба, однако, почувствовали: снова меняется жизнь кружка. До сих пор все были единодушны в своем отрицании школярства, а вот теперь Римский-Корсаков как раз начнет сам насаждать школьную премудрость. Еще одна трещина, которой до сих пор не было.

– Может, мне теперь и надо при вас состоять, чтобы удерживать от грехопадения? – заметил Мусоргский невесело.

Римский-Корсаков согласился:

– Вот и давайте, Модя, жить вдвоем.

Сходились они не без опаски.

Мусоргский, безраздельно привязанный к кружку и его идеям, боялся, как бы Римский-Корсаков не перешел в другой лагерь. А Корсаков, хотя и знал, что ничему не изменяет, втайне пришел к выводу, что знаний у него мало и основы настоящей нет. Теперь, когда симфония была сочинена, и «Антар», и многое другое, он решил засесть за будничную учебу. Положение профессора, казалось ему, поможет самому как следует научиться. Самый младший в кружке, Римский-Корсаков редко когда выступал против мнения Балакирева, Стасова и Кюи. Когда при нем ругали Рубинштейна и консерваторцев, он слушал безучастно. Но чем больше Римский-Корсаков накапливал знаний, тем большую потребность испытывал постичь в музыкальном искусстве всё.

У Римского-Корсакова с Мусоргским оказались, таким образом, разные тяготения, но и тот и другой писал оперу, и это их очень сближало. Один создавал второй вариант «Бориса», другой дописывал, не раз возвращаясь к началу, «Псковитянку». Им надо было советоваться, показывать друг другу, даже кое-что друг у друга заимствовать.

Стояла осень. Листья в Летнем саду заметно пожелтели, но солнце в иные дни еще пригревало.

Римский-Корсаков в первый раз явился в штатском, а не в мундире. Он не привык к новой одежде и потому немного стеснялся.

– Вот вы какой, оказывается, в профессорском наряде! – заметил Мусоргский.

– Не надо, Модя, правда…

Прошли по дорожкам, повернули назад, к Инженерному замку, но тут Мусоргский резко повернул в другую сторону. Он не знал, возвращаться ли к Опочининым. Собственная нерешительность мучила его уже много дней.

– Ну, пойдемте искать комнату, – наконец сказал он.

Друзья вышли из сада.

Почему их занесло на Пантелеймоновскую, почему они остановились возле вывески «меблированные комнаты», трудно сказать.

Римский-Корсаков хотел было идти дальше, но Мусоргский предложил:

– Давайте посмотрим, что тут за хоромы.

По темной пологой лестнице поднялись на второй этаж. В коридоре их встретила хозяйка с ключами за поясом.

– Пожалуйте, господа, вам тут понравится, – сказала она.

И в самом деле, когда она привела их в конец коридора, когда впустила в комнату, им показалось, что тут хорошо. Комната была угловая, коридорный шум сюда не доходил; два высоких окна давали сравнительно много света.

Начали примерять, куда всего удобнее поставить рояль. Хозяйка первые минуты молчала, потом тоже стала давать советы:

– Туда если поставить?… Ну, тогда в тот угол.

Когда определили наконец место для рояля, остальное показалось простым. Римский-Корсаков дал задаток. Хозяйка обещала все приготовить к их переезду и даже занавески на окнах вызвалась постирать.

– Ну вот, Моденька, начинается новая наша жизнь, – сказал Римский-Корсаков, когда вышли на улицу.

Мусоргский кивнул; потом, подумав и решив сохранить за собой кой-какие права, сообщил:

– А обедать я буду ходить все-таки к Опочининым.

X

Он и в самом деле продолжал туда ходить, но возвращался расстроенный, и Римский-Корсаков никогда не спрашивал, что с ним происходит. При своей кажущейся общительности, Модест был скрытен и о своем увлечении не рассказывал никому.

Римский-Корсаков также почти не говорил о том, чем мила ему консерватория. К новому делу он отнесся серьезно: обложился учебниками, стал делать разные выписки, без конца решал задачи по гармонии, которые собирался давать ученикам, изучал инструменты оркестра, стараясь до тонкости узнать секреты каждого, и в особенности контрапункт.

О своей работе над оперой они зато говорили друг с другом охотно.

Когда Мусоргский прослушал сцену веча в «Псковитянке», он пришел в восторг:

– Эх, мне бы такую в «Борисе»! И бояре шумят у меня, и царю в глаза народ говорит правду, и за то, что он убийца, корит, а вот так, чтобы прямо бунт, восстание, этого нет. Хорошо вы тут написали, прямо зависть берет!

Сцена под Кромами в ту пору еще не была создана. Мусоргский ходил вокруг да около, не решаясь слишком расширить пушкинский замысел. Но в этом замысле – чем больше он вчитывался в трагедию, тем яснее видел – где-то за сценой угадывалась ярость народная, она выступала как бы сбоку, бросая зловещую тень на события.

В «Истории государства Российского» Карамзина он наткнулся на рассказ о том, как происки иезуитов вызвали бунт. Это как раз приходилось на время, которое описывал Пушкин. И, разгоряченный «вечем» Римского-Корсакова, сам мечтающий о большой, во всю ширь народных страстей, картине, Мусоргский сел писать свою сцену под Кромами.

Писал он быстро, не давая себе передышки. Даже на службу не стал ходить и на некоторое время забросил всё. Наклонясь над столом или гремя на клавишах, Мусоргский создавал то могучее, сокрушающее, что должно было передать стихию крестьянского бунта.

В эти дни даже твердое расписание, установленное друзьями, было нарушено.

– Дай вам бог, Корсинька, здоровья! – говорил Модест. – Я вам за это столько всяких текстов придумаю, столько наших псковских величальных и, каких ни пожелаете, песен напою, что хватит на две «Псковитянки».

Наблюдая этот разгул творчества, это буйство таланта, Римский-Корсаков наслаждался. В иные минуты ему становилось жаль, что все у него в опере так округло и уравновешенно. Хотелось, чтобы, как у Мусоргского, страсти народные вырвались на простор. Римский-Корсаков заглядывал в инструментовку первой редакции и принимался переделывать. Теперь, когда он стал глубже изучать технику творчества, когда проник в прошлое и понял, какой опыт накоплен в творениях стариков, многое подчас представлялось ему в работе Модеста неотшлифованным и не совсем ладным. Но одно поражало: верность замыслу во всем, вплоть до мельчайших деталей. Даже в инструментовке, подчиняя ее основной идее, Мусоргский находил приемы, выражавшие эту идею прямо, сильно и крупно. За изящной плавностью Модест не гонялся. Когда она где-либо получалась сама собой, он радовался ей, как ребенок, но как добиться ее, в общем, не знал. Тут Римский-Корсаков был большим умельцем; в понимании же широты и цельности мысли, в способности создавать сильные и яркие образы он готов был учиться у своего друга.

Так они и жили. Один писал по утрам, а потом отправлялся на службу; другой под игру соседа наинструментовывал то, что набралось за вчерашний день, а когда комната оставалась за ним, принимался сочинять дальше.

Иногда врывался утром Стасов, нарушая весь распорядок их дня. Пальто и шляпу он кидал куда придется и просил хозяйку поскорее раздуть самовар. Пока Модест и Николай одевались и умывались, Стасов проигрывал то, что стояло на пюпитре. Чье это, он узнавал безошибочно по почерку; кроме того, и у Мусоргского и у Римского-Корсакова был свой стиль, который можно было узнать по нескольким тактам.

В эту келью композиторов он являлся как вестник внешнего мира. Он давал обоим знать, что их опер все ждут и что надо выходить поскорее на большую дорогу.

– Знаете, Мусорянин, – сказал он как-то, – у меня для вас богатейшая есть идея. Сюжет из семнадцатого века, петровские времена: раскольники, стрельцы и Петрово войско. Вас на бунт тянет – там такой бунт можно будет учинить, что куда там «Борис»!

Мусоргский жадно слушал. Даже у Римского-Корсакова заблестели глаза, когда впервые в их комнате возник еще смутный, но невероятно заманчивый замысел «Хованщины».

– Да надо же мне с «Борисом» разделаться, а то будет как с «Саламбо» и «Женитьбой»: одно брошу, начну другое, а толку не получится.

– Нет, «Бориса» дописывайте всенепременно, тут никто вам потачки не даст.

Римский-Корсаков собрался уже на занятия и Стасов взялся за шляпу, чтобы идти в библиотеку, а Мусоргский заговорил опять о «Хованщине»:

– Очень вы меня зацепили ею, Бах! Даже зуд во всем теле чувствую… Ну ладно, кончим с «Борисом», тогда грянем такое… Бахинька, милый, вы мне материалы готовьте тем временем – истории и историйки, все, что к сему делу могло бы подойти.

– Ага, теперь уже не Никольский вас натолкнул, а я! Так и запомните.

– Всю жизнь будем помнить ваши заботы, и всю жизнь будем отбивать вам земные поклоны.

Мусоргский проводил обоих и, вернувшись, застыл посреди комнаты. Страницы «Борисовой» партитуры лежали перед ним, но приниматься за них не хотелось. Ах, какой замысел! Что за мысль подал ему Стасов! Скорее приступить к новому, скорее…

И тут, с воодушевлением думая о новой работе, Мусоргский неожиданно решил, что одной «Хованщиной» дело не обойдется. Нет, господа ученые чистоплюи: еще одну оперу создадим – о народном движении тоже, и назовем ее не более не менее, как «Пугачевщина». Что тогда скажете, почтенные господа?

XI

«Борис Годунов» был наконец дописан – во второй раз. Два года прошло с тех пор, как его отвергли, и снова Мусоргский, засунув с трудом партитуру в портфель, отправился со своим детищем в театральный комитет.

День был тихий, но снежный: мокрый снег падал на лицо, проникал за воротник, набивался даже в портфель. Мусоргскому пришлось несколько раз протирать корешок партитуры. «Ужасно все-таки тяжела, – подумал он не то с гордостью за сделанное, не то с сожалением. – Неужто заставят нести обратно?» При этой мысли сердце его сжалось.

Так же выглядело большое темное, заставленное стойлами и шкафами помещение театральной конторы, тот же канцелярист сидел за столом. С молчаливым бесстрастием он принял из рук автора партитуру. То ли он знал, что это вторая редакция, то ли данное обстоятельство вовсе его не касалось. Когда Мусоргский напомнил об этом, на лице секретаря ничего не отразилось:

– За ответом прошу пожаловать через месяц.

Надев шляпу, Мусоргский медленно спустился по лестнице.

С той минуты, как рукопись попала в чужие руки, У него снова похитили его надежды. Они витали над его головой, пока опера сочинялась, а тут рассеялись и пропали. Похвалы, предсказания, восторги – все слышанное им потеряло над ним свою власть.

Театральный комитет должен был собраться снова, чтобы рассмотреть «Бориса Годунова». Но Направник почему-то медлил.

Контрабасист Ферреро уже несколько раз напоминал ему:

– Надо дать ответ настолько твердый, Эдуард Францевич, чтобы автор больше не беспокоил наш театр.

Певцы тоже требовали скорейшего рассмотрения. Те, кто. знали «Бориса» по вечерам у Шестаковой, разнесли молву о нем. Многие ждали с надеждой, когда на императорской сцене появится наконец произведение, достойное театра Глинки и Даргомыжского.

Режиссер труппы Кондратьев, видя, что комитет не торопится, и опасаясь, что «Бориса Годунова» могут опять провалить, обратился от лица артистов к Направнику:

– Мы просим у вас разрешения присутствовать при том, как опера будет обсуждаться.

Вскинув кверху очки, тот сухо на него посмотрел:

– Вы, господа, не имеете доверия к мнению комитета?

– О «Борисе» столько говорят, Эдуард Францевич, что нам

хотелось бы услышать его самим.

Направник пожал плечами:

– Ничего не могу обещать. Поговорю с другими членами комитета.

На другой день к нему с этим же обратились артисты Платонова, Мельников и Петров, составлявшие украшение труппы. И не только они – многие обращались. Ссориться и создавать в труппе напряженные отношения не хотелось, но и потакать желаниям артистов Направник не считал возможным.

Несколько дней он не давал ответа. Потом, когда певцы снова обратились к нему, он, вынужденный принять решение, строго произнес:

– Мы можем дозволить присутствовать при одном условии: чтобы действия комитета не подвергались ни критике, ни обсуждению. Если вы обещаете не нарушать работу ни одним своим словом, я соглашусь. Но повторяю: вы должны быть безмолвны в то время, когда комитет данной ему властью будет обсуждать оперу господина Мусоргского.

Артисты приняли его условие.

В зале, где собирался Репертуарный комитет, народа в назначенный день оказалось необычно много. Члены комитета, появившись, проследовали при полном молчании.

Направник настороженно оглядел сидящих.

– Только, господа, строжайшая тишина! – напомнил он.

Концертмейстер стал исполнять оперу.

Члены комитета сидели хмурые, замкнутые, точно даже друг перед другом не желали выказывать свое отношение к музыке. Певцы, наоборот, с трудом сдерживались. Их молчаливые взгляды, когда они посматривали друг на друга, говорили о многом.

После того как «Борис Годунов» был целиком сыгран, Направник обратился к членам комитета.

– Прошу высказываться, господа, – предложил он вполголоса.

Первым попросил слова Бец, капельмейстер драматического театра:

– О последней сцене я говорить не буду: хотя за долголетнюю практику мы привыкли не удивляться ничему, она, признаюсь, сильно меня озадачила. Если же коснуться всего остального, то надо признать, что автор учел кое в чем наши справедливые притязания. Женская роль, которую он ввел, – едва ли не самая удачная в новой редакции. Но я нахожу, что для певцов материала все равно недостаточно.

Певцы с удивлением переглянулись, но, зная строгость Направника, не решились подать свой голос. Уловив движение,

прошедшее по рядам, он предостерегающе постучал по столу.

– Нет, господа, – закончил Бец, – оснований для пересмотра решения комитета я не нахожу.

Другой член комитета высказался почти в том же смысле. Он остановился также и на последней картине, назвав ее простым бунтом, который автор пытается протащить на подмостки императорской сцены.

– Притом должен отметить: у господина Мусоргского слаба техника сочинения. Закругленные обороты не удаются ему совсем, у него в музыке много грубого, потому что гармонией, как видно, он достаточно не владеет.

Ферреро – тот заявил прямо, что возиться с оперой больше нечего: нисколько она не похожа на то, что может украсить театр; в ней столько мужицкого, добавил он, что только самые примитивные вкусы могла бы такая музыка удовлетворить.

Направник находился в нерешительности. Как честный музыкант, он не мог не признать достоинств прослушанного произведения; как человек определенных вкусов и взглядов, он не мог принять большую часть того, что автор сделал. Художник боролся в нем с исполнителем воли начальства.

Пришла его очередь высказать свое мнение. Он предостерегающе покосился на артистов, с трудом сдерживавших свое недовольство:

– Насчет мужицкой оперы не могу с вами согласиться, господа. Мужицкой называли и «Жизнь за царя» Глинки, идущую на императорской сцене вот уже много лет.

– Но там идея патриотическая, Эдуард Францевич! – возразил Бец.

Старик Осип Петров вздохнул и опустил голову.

– Не могу согласиться также с тем, – продолжал Направник, – что члены комитета осуждают необразованность автора. При многих неуклюжих оборотах, я вижу тут свои красоты. Правда, опера господина Мусоргского не может рассматриваться как цельное сочинение: она написана неровно, в ней наряду со сценами сильными есть места пустые. Я согласен только с одним: по характеру своему она не соответствует традициям Мариинского театра. Кроме того, для певцов чисто вокального материала мало, хотя материал для игры есть… Итак, – закончил он, опять покосившись в сторону артистов, – я принужден, хотя и с оговорками, присоединиться к мнению других членов комитета.

– Вернуть партитуру автору и скорее забыть о ней! – с торжеством произнес Ферреро.

Направник недовольно на него посмотрел. Он хотел остаться на позиции человека, справедливого даже в отказе. Кроме того,

он заметил, какое впечатление произвел отказ этот на певцов.

Не успели закрыть заседание, как артисты обступили его.

– Эдуард Францевич, как же так? – заговорила Платонова. – Как же вы могли сказать, что тут нечего петь? Я свою партию пела бы с наслаждением.

– Партия Марины еще туда-сюда, а Пимену что делать? Даже арии нет – один сплошной речитатив.

– С великой радостью спел бы, Эдуард Францевич! – заявил Осип Петров.

Направник хмуро возражал, без жара. Он не вполне был уверен в своей правоте, но при этом трезво сознавал, что менять принятое решение невозможно.

– У каждого исполнителя, господа, может быть свое мнение. Я свое высказал, ваше право – со мной не согласиться.

– Как же можно такую оперу не пропустить? – возразили несколько человек сразу.

Он молча пожал плечами и, попросив их посторониться, вышел. Другие члены комитета покинули зал еще раньше, не желая объясняться с артистами.

Певцы, возбужденные, долго еще обсуждали решение комитета.

– Вот, Геннадий Петрович, – сказал Петров, подходя к Кондратьеву, – вот они, наши нравы! «Аммалат-Бека» афанасьевского ставить можно, а «Бориса» нельзя! Мерзость и стыд! Не театральный это комитет, а водевильный!

– Что поделаешь, Осип Афанасьевич, такие порядки… – только и смог возразить Кондратьев.

Артисты расходились неохотно. Долго еще в коридоре, у выхода и на улице продолжалось возбужденное обсуждение того, свидетелями чему они были.

XII

Труппа Мариинского театра гудела: говорили о пристрастии в оценках, о невежестве комитета. Все требовали, чтобы «Борис Годунов» был поставлен. Отвергнутый и заклейменный, он не только не проиграл в общественном мнении, а, наоборот, сильно поднялся.

Направник оставался глухим ко всему. Он делал вид, будто толки эти до него не доходят. Но какое-то беспокойство мучило и его.

Однажды к нему подошел режиссер Кондратьев.

– Эдуард Францевич, я решил в свой бенефис поставить сцены из «Бориса», – решительно заявил он. – Помогите мне в этом, ваша поддержка нужна.

– Как же можно? – Направник вскинул плечи и резко выдвинул вперед острый свой подбородок. – Опера не идет, комитет отверг ее – как же тут ставить?

– В свой бенефис я имею право выбора. Позвольте мне это право использовать. Поможете, Эдуард Францевич?

– Какая же тут может быть помощь? – недоумевая, спросил он.

– Певцы готовы на всё, только согласитесь пройти с ними сцены!

Направник покачал головой, потом молча вытащил книжечку, в которой записывал все числа занятий. Он перелистывал ее, всматриваясь в мелко исписанные страницы.

– Мой бенефис в феврале.

– Не могу, у меня все занято.

– Работы не так много, Эдуард Францевич. Опытнейшие певцы будут участвовать: Петров, Леонова, Платонова, Сарриоти…

– Нет, не могу, – повторил Направник, опять покачав головой. – И к чему такое невыгодное сочинение брать? Лучших разве нет?

– Артисты будут репетировать в неурочное время, в любые часы, только бы вы дали согласие.

Направник поправил очки, пожевал недовольно губами, снова полистал свою книжечку. Не хотелось ни ссориться с режиссером, ни восстанавливать против себя певцов. Но и приниматься за такое рискованное дело не хотелось тоже.

– Уж если им так вздумалось, пускай учат сами. Когда приготовят, посмотрю, что из этого вышло. Но должен предупредить вас: самое большее, что я мог бы предоставить, это

две репетиции.

Таким образом, нехотя, он все же согласие дал.

Когда Кондратьев сообщил певцам, они тут же отобрали сцены – в корчме и две польские: в комнате у Марины и у фонтана; тут же распределили роли: Петров – Варлаам, Леонова – хозяйка корчмы, Платонова – Марина, Комиссаржевский – Самозванец. Кроме «Бориса Годунова», Кондратьев взял для своего бенефиса картины из «Лоэнгрина» и «Фрейшюца», но они шли как бы для заполнения программы. Все понимали, что гвоздем вечера будет «Борис Годунов».

Артисты сознавали свою ответственность перед русским искусством: если после стольких мытарств «Борис» провалится, ему долго потом не увидеть сцены.

Леонова и Петров рассказывали Мусоргскому, что происходит в театре. Он делал вид, будто относится ко всему философски, но в глазах его нетрудно было прочитать напряженное ожидание и душевную муку. Каждый раз, когда заходила речь о «Борисе», он волновался ужасно.

Как-то вечером Мусоргский забрел к Стасову размягченный и добрый. Желая скрыть от хозяина дома, что по дороге он заглянул в трактир и немного для храбрости выпил, Мусоргский уселся в темном углу.

Стасов шагал, как обычно, по комнате, размышлял вслух о том, как отнесется к «Борису» публика. Чем больше Мусоргский слушал, тем теплее становилось у него на душе, тем смелее он смотрел на завтрашний день. Бывали такие часы, когда после безнадежности и тоски приходила снова уверенность.

– Мне суд не страшен, Владимир Васильевич, – сказал он. – Я в музыкальную даль смотрю бодро. Вот говорят, будто я попрал все законы, а я говорю себе: «То ли еще будет!» Сюжетец, который вы мне подкинули, зреет. Кое-что пишется…

Он решил, что сказал слишком много, и остановился.

От Стасова Мусоргский направился к Опочининой. Ему нужна была поддержка. Делая вид, будто он без колебаний примет все, что с ним ни случится, он чувствовал себя после месяцев напряженного ожидания измученным и почти больным.

Опочининой дома не оказалось. Мусоргский сиротливо постоял в столовой, побродил по комнатам, которые еще недавно были родным его домом, подержал в руках фарфоровую собачку, которую любила Надежда Петровна, и побрел дальше.

Так нужно было ему чье-либо общество, что, не придумав ничего лучшего, он направился к Кюи. В последнее время отношения между ними стали более натянутыми и холодными, и виделись они теперь редко.

Кюи, установивший для себя твердый распорядок жизни, успевавший и романсы писать, и фортификацию преподавать, и статьи готовить для «Санкт-Петербургских ведомостей», смотрел на Модеста, как на человека совершенно бестолкового. Не отвергая его таланта, он считал, однако, что талантом своим Мусоргский распоряжается плохо.

Встретил Кюи его приветливо, но, заметив, что Модест чуть навеселе, взял с ним тон иронический. Мусоргский с грустью подумал, что в неподходящую минуту его сюда принесло. Другой бы на месте Кюи понял, как он страдает и как жаждет поддержки. Ирония собеседника лишь оскорбила Мусоргского, и он замкнулся. Сев в качалку и покачиваясь с деланно беззаботным видом, он стал говорить о каких-то пустяках.

– С «Борисом» как – нового ничего? – вспомнил Кюи.

– Будто бы собираются ставить. Да ведь я к этому равнодушен. «Борис» для меня – прошлое, я другим теперь занят.

Напускная его беспечность разозлила Кюи. Он не стал расспрашивать ни о новой работе, ни о том, кто и когда собирается ставить «Бориса». Когда Мусоргский собрался уходить, Кюи не стал его удерживать.

– Захаживайте, Модест, – произнес он небрежно. – Что-то вы стали редко бывать.

Мусоргский долго еще бродил по холодному Петербургу. Все кругом было замерзшее, застывшее, неуютное; ни одного лица знакомого. Только мысль об Осипе Петрове, дедушке русской оперы, хлопотавшем за его «Бориса» и рассказывавшем ему всё, утешала немного.

Мусоргский надумал было пойти к нему на Подьяческую. Но, дойдя до канала, остановился в нерешительности. Он озяб, устал; наверно, не застанет Осипа Афанасьевича дома, да и Анны Яковлевны нет; опять придется пережить огорчение.

Он подумал: «Уж эти меня не подведут, уж это вернейшие люди, светлой души!» И с этой немного успокоившей его мыслью побрел назад.

XIII

В вечер бенефиса театр был набит до отказа. Так уж в последние годы повелось, что на русскую оперу стали ходить с охотой. Тем более, сегодняшний вечер заключал в себе нечто из ряда вон выходящее: молва о «Борисе Годунове» обошла весь Петербург. Поклонники новой музыки – молодежь, студенты, демократическая интеллигенция – ждали возможности узнать наконец, что же это за опера. Хулители «могучей кучки» тоже ждали этого случая: в полном составе они явились в Мариинский театр. Язвительные, придирчивые, недоброжелательные, жаждущие нанести удар по противнику, они критически посматривали по сторонам, недовольные тем, что публика слишком оживлена, что в театре царит нездоровое возбуждение, что из такой заведомо плохой оперы крикуны пытаются сделать событие исключительное.

Сцены из вагнеровского «Лоэнгрина» и веберовского «Фрейшюца» прошли, как им и положено было, хорошо. Бенефицианта и всех участников вызывали, занавес поднимался и падал. Главное было впереди, и все сознавали, что из-за него-то и затеян весь вечер. С каждой картиной нетерпение возрастало.

Когда дошла очередь до «Бориса Годунова», атмосфера в театре была уже накалена.

Начали со сцены в корчме. Все было необычно: фигуры беглых монахов Варлаама и Мисаила, послушника-беглеца, обстановка корчмы и сама хозяйка, разбитная, бывалая женщина. Каждая фраза была напоена простой, характерной и до предела народной интонацией. Одних это привело в восторг, других заставило вспомнить все, что говорилось о бедности русской песенной интонации.

Автор вывел на сцену новый мир, с его переживаниями, со всеми оттенками поведения каждого человека. Новыми были и характерность, и юмор сцены, и портретная сила изображения. Баба-корчмарка, поющая «Сизого селезня», могучее «Как во городе…», однообразно-заунывное «Ехал ён» – все воспринималось как небывало смелое.

Сцена прошла при напряженном внимании театра. Успех был неслыханный. Артисты то и дело появлялись перед занавесом, но их появление не утоляло чувств возбужденного зала.

Мусоргский, сидевший в ложе, нервно тер руки и из глубины ложи смотрел в одну точку. Он был в тумане и на пылкие реплики друзей не отзывался. Волнение зала доходило до него словно издалека, и только об артистах, спасших «Бориса

Годунова», он думал с особенной, вызывавшей слезы нежностью.

В польских сценах было меньше речитативов. Создавая атмосферу шляхетской жизни, автор пошел, казалось, по стопам Глинки: тут были и красивость и закругленность фраз, более привычные для слуха. Но и тут чуткий до душевных движений Мусоргский передал великое множество метко схваченных, точных по рисунку интонаций.

Платонова в роли Марины создала образ расчетливой, властной и по-своему обаятельной женщины. Монах Рангони умело использовал ее как орудие иезуитской политики. Когда послушник-беглец появился в роли претендента на трон, перед зрителями возник словно новый образ: не затравленный юноша, спасающийся от преследования, а человек, вкусивший от интриг и власти. Скрывать свои чувства Самозванец еще не научился и в любви объяснялся слишком пылко; но достаточно было одной резкой, обидной фразы Марины, чтобы в нем вспыхнули честолюбие и гордость человека, рвущегося к власти.

За перипетиями действия театр следил с неотрывным вниманием. Реализм музыки раскрывался во всей своей подкупающей полноте, и, когда обе сцены кончились, весь зал поднялся и аплодисменты прокатились сверху донизу.

Успех был беспримерный; перед ним, казалось, должны были отступить противники оперы. Фаминцын, Феофил Толстой, сидевшие в передних рядах, переглядывались, но молчали. Они даже не пытались иронизировать. Перед энтузиазмом публики они оробели.

Артисты выходили уже много раз. Не хватало на сцене автора. За ним прибежали в ложу и, упирающегося, провели за кулисы.

Он поклонился публике, исполнителям, дирижеру, а публика, в свою очередь, приветствовала его неистовыми рукоплесканиями.

После спектакля друзья привезли Мусоргского к Людмиле Ивановне. Несмотря на поздний час, она не ложилась, ожидая Мусорянина и всех, кто с ним был.

– Победа полнейшая! – закричал Стасов с порога. – Обнимите его, голубушка, и за нас, потому что мы от усердия способны его задушить.

– Как я сегодня счастлива, – сказала Людмила Ивановна, – если бы вы знали, Моденька!

Много было произнесено в тот вечер горячих, дружеских слов. Даже Кюи, отбросив свою снисходительность, говорил добрые слова. Казалось, все сознают, что русская музыка стала с этого дня богаче и ярче.

Долго еще друзья гуляли потом по озябшему, закоченевшему городу, не чувствуя холода. Дошли до дома Бородина, там остановились. Стасов даже снежки стал кидать в стоящих. Говорили шумно, несмотря на поздний час. Расходиться не хотелось, и все повернули к дому Кюи.

Чистое, в звездах, прозрачное небо казалось ужасно холодным. А они шумели, шутили, возились и даже городовому, подошедшему узнать, почему такой шум стоит, предложили принять участие в разговоре об опере.

Городовой строго сказал:

– Я при деле нахожусь, господа. Я за порядком наблюдаю, а тут у вас беспорядок.

Он отошел на два шага и, пока все не стали расходиться, ждал.

Наконец Мусоргский, герой сегодняшнего дня, остался один. Тут бы ему и порадоваться наедине с собой, снова пережить все перипетии спектакля, вспомнить, что говорилось. Но, по контрасту, вспомнилась история с портретом, заказанным неким Пороховщиковым для Славянского базара в Москве. Картина, порученная Репину, должна была изображать славянских композиторов, ныне здравствующих и покойных. В ней нашлось место для бездарного князя Львова – автора гимна, для сочинителя духовных песнопений Бортнянского, а для Мусоргского места не нашлось. Когда Стасов по этому поводу устроил шум, Пороховщиков нагло ответил, что он не намерен засорять такую картину разным мусором.

С каким-то мстительным удовлетворением вспомнил об этом Мусоргский после всего, что было сегодня в театре. Неужели и сегодня, после того как «Борис Годунов» встал наконец в ряд русских опер, кто-нибудь осмелится бросать автору такие оскорбления? Нет, господа, теперь не получится. «Борис» – только начало. Пусть укрепится на сцене, и тогда автор скажет следующее свое слово. Сколько вы ни старайтесь, как вы ни унижайте его, а победит все-таки он!

XIV

Победа казалась теперь несомненной. Кто же посмеет мешать «Борису», если публика в оценке его проявила такую горячность?

Но мнение репертуарного комитета не было отменено. Направник лишь для бенефиса Кондратьева пренебрег им да еще в концерте Русского музыкального общества поставил отрывки из новой оперы. Отменять выводы комитета полностью он не собирался.

«Бориса» больше не ставили. Сколько ни толковали в труппе, как ни жаждала спектаклей публика, администрация поступала так, как считала нужным.

Так прошел целый сезон. Так бы прошел и следующий, если бы певица Платонова, заключая с дирекцией новый контракт, не потребовала, чтобы в ее бенефис «Борис Годунов» был поставлен полностью.

Это смахивало на бунт артистки, вступившейся за права русского композитора. Платонова угрожала уходом, а терять ее было почти невозможно: еще в прошлом году из-за произвола дирекции несколько очень хороших певцов ушло из труппы.

Управлял императорскими театрами Гедеонов – не тот, на которого походили русалки в опере Даргомыжского, а сын его. Человек с такими же баками, как отец, но вялый, с характером менее твердым, зато и не столь грубый, он заниматься судьбой «Бориса Годунова» не собирался. Но, когда ему доложили, что Платонова не подписывает контракт, Гедеонов принужден был вмешаться.

За это время и в репертуарном комитете произошли изменения: председателем был назначен контрабасист Ферреро, менее самостоятельный, чем Направник, и более трусливый. Гедеонов решил его припугнуть.

Когда Ферреро вошел в кабинет, директор встретил его сурово и даже не пригласил сесть.

– Что же это такое? – с начальнической строгостью заговорил Гедеонов. – Я послал вам «Бориса Годунова» для нового рассмотрения, а вы и на этот раз позволили себе забраковать его!

Действительно, уже при новом председателе комитет снова отклонил «Бориса».

Оробев, Ферреро стал оправдываться:

– Ваше превосходительство, да она из рук вон плоха, эта опера! Мы думали уже, как с нею быть. Еще отдельные сцены туда-сюда, а целиком ставить нельзя – провалится, и выйдет скандал.

Равнодушный к судьбе «Бориса», Гедеонов был вовсе не равнодушен к тому, как принимают в театре его слова.

– Откуда у вас такая уверенность, господин Ферреро? – грозно спросил он. – Я, наоборот, слышу о ней одно лишь хорошее.

Ферреро сделал шаг к нему и, понизив голос, попробовал объяснить убедительнее:

– Извольте, ваше превосходительство, меня выслушать. Мы не отделяем автора от всей его группы разрушителей музыки. Их друг из того же кружка, Кюи, ругает нас при каждом случае. Теперь уже пущено в ход такое словечко, а Кюи пропечатал его: нас, изволите видеть, называют не репертуарным комитетом, а водевильным! Ведь это есть сущее поношение и подрыв престижа театра! Вот, прошу взглянуть… – Он полез в карман за газетой.

Гедеонов остановил его:

– Данное обстоятельство к делу не относится. Других соображений у вас нет?

– Да ведь опера никуда не годная!

– Ага, вы на своем прежнем мнении стоите? Прекрасно, я тогда просто с вами считаться не буду. Двоевластия у меня в театре не будет!

Он отошел от стола и повернулся спиной к контрабасисту, оставив его в растерянности и страхе. Тот тихонько удалился, не осмелившись беспокоить его превосходительство вопросами.

Гедеонов, погорячившись, невольно заявил себя чуть ли не сторонником сомнительной оперы. Это тоже не входило в его планы, и на следующий день он решил сделать внушение зачинщице дела – Платоновой.

– Неужто, сударыня, я должен по вашей милости лишиться службы? – начал он, вызвав ее к себе. – Что это за условия? Что вы нашли особого в этом «Борисе»? О господах из «могучей кучки» толкуют, будто они новаторы, а я их новшествам не сочувствую, позвольте вам заявить.

– Как же не сочувствуете, – возразила она находчиво, – когда вы им заказали балет «Младу»?

На лице Гедеонова появилась гримаса. Действительно, возомнив себя способным к сочинению либретто, он задумал нечто эффектное: чтобы целая группа композиторов положила на музыку его сочинение. Другой такой группы, кроме «могучей кучки», не было, и Гедеонов обратился к ней. Но обсуждать это с Платоновой он не собирался.

– Балет, сударыня, это одно, – заметил он назидательно, – а опера с историческим содержанием – другое. Притом среди группы, о которой идет речь, Мусоргский самый крайний и самый

неугомонный. Зачем он вам?

– Тем более чести для вас, что, не сочувствуя автору лично, вы с такой энергией защищаете интересы русской музыки, – сказала она.

Гедеонов ворчливо что-то пробормотал. Протягивая милостиво руку певице, он вспомнил, однако, снова о хлопотах, которые она ему причинила.

– И зачем только вы, сударыня, в такие вопросы вникаете? Русская музыка! А кто вам сказал, что именно Мусоргский ее представляет? Вздор какой! Вам бы с вашими данными петь и петь – так нет! Да еще господа Петров и Леонова тоже из-за «Бориса» целый заговор учинили…

Но дело было сделано: согласие дано, и Гедеонову неудобно было отступать.

Стояла зима 1874 года. 2 января, как обычно, в день рождения Стасова собрались у него. Ему исполнилось пятьдесят лет. Друзья отпраздновали этот день скромно. Милий, все более отдалявшийся от кружка, не пришел. Кюи заглянул ненадолго и покинул общество. Те, кто остались, больше говорили не о хозяине-имениннике, а о том, кто должен был стать именинником вскоре, – о «Борисе» Мусоргского.

– Четыре года история тянется, только подумать! – сказал Стасов. – Но знаете что, Мусорянин? Вы не слабее стали, а крепче.

– До чего «Борис» теперь замечательный! – поддержал его Бородин. – Законченный, полный, – ну просто большой, другого слова не подберу.

– Да, он несравненный. Нет, господа, наша берет: «Псковитянка», «Борис», на очереди «Игорь», «Хованщина»… Ну, что скажут тогда враги наши?

Нет, будущее представлялось победным.

В театре тоже все были полны надежд. Первого представления «Бориса Годунова» ждала вся труппа.

Вскоре Мусоргский почувствовал, однако, на себе железную руку администрации. Направник потребовал от него сокращений; он, как опытный человек, заявил, что в таком виде опера не пойдет: действие растянуто, с такими длиннотами показывать ее публике невозможно.

Направник делал сокращения, выбрасывал большие куски. Мусоргский, страдая, принужден был уступать. Направник действовал с неумолимостью человека, знающего законы оперной сцены и требующего, чтобы любое произведение, какое бы оно ни было, отвечало этим законам. Он заявил, что сцена в келье никуда не годится, и настаивал, чтобы автор ее удалил.

– Помилосердствуйте, Эдуард Францевич, без нее

последующее будет непонятно: она сцену в корчме связывает с польскими сценами.

– Надо было писать, господин Мусоргский, так, чтобы связь не была громоздкой и однотонной. Нет, – решительно вздернув кверху подбородок, заключил Направник, – она не может идти.

Мусоргский возражал, убеждал, в нем восставала авторская гордость, но сделать ничего нельзя было: даже теперь, накануне постановки, он находился в зависимости от чужих вкусов и мнений. Выбора не было: или соглашаться, или забрать «Бориса Годунова» и на долгие годы расстаться с мыслью увидеть его в театре.

Считалось, что симфонист он плохой: вокальная линия у него гибка и податлива, а оркестром он будто бы не овладел как следует. Даже Балакирев в пору дружбы, услышав его «Ночь на Лысой горе», разругал автора за нее и отверг.

Направник без конца указывал Мусоргскому на разные несообразности его оркестрового письма. Защищаться было почти невозможно: против автора «Бориса» выступал человек, знавший оркестр отлично, и переубедить его было невозможно. И тем не менее Мусоргский понимал свою правоту. Все, что Направнику представлялось несуразным, он внутренне оправдывал и готов был отстаивать, если бы не полное его бесправие.

Так, в волнениях и унижениях, шла подготовка. Кроме узкого круга друзей, никто не говорил автору, что в его оркестровом письме есть выразительность необыкновенная; что сценические образы Бориса, Варлаама, Шуйского, Самозванца, Марины сделаны с силой бесподобной, что он, как никто, сумел передать драму народную. Говорили о недостатках оперы, и, спасая свое произведение, Мусоргский уступал, подчинялся, испытывая ужасные страдания.

Что, правда, могло бы его порадовать в дни, когда шла подготовка, это декорации. Незадолго перед тем на драматической сцене поставили пушкинского «Бориса Годунова». Спектакль продержался недолго, и декорации пропали бы без пользы, не поставь Мариинский театр «Бориса Годунова» Мусоргского.

И, конечно, должны были радовать автора исполнители: все, что было в труппе лучшего, приняло участие в его спектакле.

XV

Уже оркестровое вступление заставило театр насторожиться. Оно было величественно, кратко и трагично; в нем были скорбь народная, величие народное и ощущение затаенной силы.

Поднялся занавес. Зрители увидели: люди бродят по двору монастыря, собираются в группы; они не знают ни того, что происходит в палатах Новодевичьего монастыря, ни того, кто же займет царский престол. Пристава с дубинками утихомиривают согнанных сюда людей; народ становится на колени, печальное его пение заполняет сцену.

Все тут было очерчено рукой художника: равнодушие толпы, живые ее реплики, скорбь, которую она должна из-под палки изобразить, боярское волнение, боярское лукавое ханжество. Такого широкого, цельного зрелища никто, кажется, до сих пор не создавал.

А вторая картина пролога – венчание Бориса на царство – с великим колокольным звоном на сцене, торжественное шествие царя и бояр из Успенского собора, славление народом нового царя и вместе с тем ощущение великой, неодолимой пропасти, лежащей между царем и массой, – во всем была та же широта, величественность и масштабность. В монологе Бориса «Скорбит душа», в словах о зловещем предчувствии, сковавшем сердце, приоткрывалась трагедия властителя, жаждущего получить поддержку народа и предчувствующего одиночество, которое ждет его.

Трагедия, развертывавшаяся в музыке, задевала по-разному. Одних удивляло, беспокоило, раздражало, что автор нарушил все правила музыкального письма и что вместо округленных, плавных построений в его музыке преобладают построения речитативные, близкие к человеческой речи. Других именно новизна и смелость привлекали больше всего: все в этой опере представлялось необычайным по величавости, цельности и простоте. Слушали с небывалым, горячим сочувствием. Таким реализмом и такой силой веяло от музыки, такая огромная правда возникала перед зрителем, что театр в иные минуты замирал. Те, кто пришли на первое представление с единственной целью опорочить автора, разгромить его оперу, начинали сомневаться, удастся ли им своими статьями победить восторженное отношение публики к детищу Мусоргского.

К концу второго действия зал был наэлектризован. Когда опустился занавес, началась овация.

По коридору металась группа девушек, взволнованных тем,

что венок, приготовленный ими, не вынесен на авансцену. Им казалось, что и в этом повинна зловредная дирекция.

К Мусоргскому в ложу вбежали несколько человек:

– Пожалуйте, Модест Петрович, вас требуют, ждут!

Растерянный, еще не отдавший себе отчета в том, действительно ли это победа, Мусоргский прошел за кулисы. Он шел как в тумане; попался огромный венок из цветов, Мусоргский чуть было не споткнулся. Не заметив, что написано на ленте, он двинулся дальше. Его под руку привели на сцену. Наконец-то публика увидела автора «Бориса Годунова». Всем хотелось получше его разглядеть: невысокий, плотный, с мягкими очертаниями лица и каштановыми волосами, он производил впечатление человека, от которого исходит необычайное благородство.

В зале возникла новая овация. Мусоргский стал раскланиваться. Участники спектакля окружили его. В эту минуту даже враги кучкистов не в силах были противостоять признаниям, которыми публика награждала полюбившегося ей композитора.

Кажется, всю жизнь можно было прожить, помня сегодняшний вечер. Когда Осип Афанасьевич, выражая чувства всей труппы, обнял автора, овация в зале достигла своего апогея.

Мусоргский в последний раз поклонился и вышел. Но не прекращавшиеся аплодисменты вернули его, и все возобновилось.

Кто узнал бы в нем человека, который ходил по ночным улицам Петербурга бессильный, разбитый, неспособный победить равнодушие начальства? Кто узнал бы в нем человека, тянувшего в захудалом трактирчике вино и мечтавшего забыться от унижений и горестей? Кто, наконец, узнал бы в нем автора, которого до последнего дня корили мнимыми несообразностями его письма?

Признание поставило Мусоргского выше критики. Зал сумел защитить своего композитора. Он сердцем почувствовал правду его творения, ту, во имя которой были нарушены правила голосоведения и красивые обороты речи. Он уловил то, что композитор идет нехожеными путями. Борис страдающий, Борис, окруженный детьми, пытающийся от горечи одиночества и забот государя скрыться под сенью семьи, – сочетание простого–человеческого с тем, что есть тирания, и трагедия тирании, – это откровение музыкального искусства потрясло зрителей.

Автор, создавший эти картины, пламенно мечтавший, чтобы они дошли до народа, отдавший все свое сердце и все вдохновение в надежде на то, что когда-нибудь в переполненном зале оценят его труд, сегодня мог считать себя вознагражденным.

– Моденька, милый, ну можно ли после сегодняшнего не

верить в хорошее? – твердил, наклонясь к нему, Бородин. – Через головы всех докучавших, вредивших, всяких мосек и злых дворняг вы получили то, что заслужил ваш талант.

Мусоргский собирался что-то ответить, но дверь ложи в эту минуту отворилась и настойчивый вежливый голос произнес:

– Модест Петрович, просят вас пожаловать за кулисы.

Опять повторилось то же, что после первого акта.

Самая горячая демонстрация произошла после сцены смерти Бориса и особенно после сцены под Кромами. Сила, жившая в народе, угнетаемая столетиями, вырвалась наконец на волю, сметая все со своего пути. Музыка и сценическое действие заключали в себе грозное напоминание о том, какое могущество таится в среде угнетаемых и каким страшным оно может стать для всех, кто держит массы в узде.

Это была крамола, не виданная в театре, смелая до вызова, не всеми понятая, но ощущаемая большинством. И те, кто ее ощутил, бурно ликовали и настойчиво требовали автора.

Впервые на русской оперной сцене утверждалась правда народного гнева и народного могущества. Зал, в котором была молодежь, множество горячих сердец, почувствовал в этой правде нечто близкое его идеалам.

Были, правда, такие, которые, аплодируя, думали: «Нет, не уцелеть «Борису» в Мариинском театре: для казенной сцены это слишком необычно и смело. Хорошо еще, что удалось посмотреть, а то, без сомнения, снимут с репертуара!»

Но остановить лавину признания было сегодня невозможно: она неслась неудержимо и смела бы всякого, кто попробовал бы стать на ее пути.

Часть четвертая

I

Мусоргский проснулся со смутным воспоминанием о вчерашнем; ему даже показалось, что вчерашнее лишь померещилось во сне. Он потянулся, повернулся на бок. Двигаться не хотелось: хотелось закрыть глаза и без конца припоминать то, что было.

Он так и сделал. Но тут раздался осторожный стук в дверь.

– Спите, Моденька?

– А? Нет-нет, Надежда Петровна. Ну как же спать? Давно не сплю.

– Как бы на службу не опоздали!

Среди необыкновенных картин, проходивших в воображении, возникла будничная, реальная, рисовавшая истинную его жизнь картина: надо вставать, поскорее собирать бумаги и идти на службу.

Торопиться сегодня он был не в силах: все делалось, наоборот, с преувеличенной медлительностью, как будто каждое лишнее движение оскорбляло, разрушая видения вчерашнего дня.

Мусоргский появился перед Опочининой, в квартире у которой остался на ночь, засидевшись после спектакля. Он вышел к ней преувеличенно вежливый и стал извиняться за беспокойство и хлопоты, которые причинил ей вчера.

– Ах, как я вам обязан, как бесконечно, на всю жизнь, обязан! – повторял он.

С этим особенным чувством благодарности ко всем людям Мусоргский вышел на улицу.

Было суровое зимнее утро. Колючий, едкий, хитроватый ветер то вонзался в лицо всеми своими колючками, то неожиданно отпускал, и тогда казалось, что мороз не сильный и день не такой уж злой. Только по инею на спинах лошадей видно было, какой холод на улице. Витрины магазинов были затянуты сплошь льдом. Зажженные в витринах лампы мало помогали делу: лед почти не оттаивал.

Мусоргский сбросил пальто, отдал меховую шапку. Он старательно топал, чтобы согреться; руки тоже сильно озябли.

– Мороз нынче знаменитый, – заметил служитель.

К Модесту Петровичу он питал расположение особое, и тот иной раз задерживался возле вешалки: житейская мудрость служителя привлекала его, и Мусоргский любил с ним поговорить.

Дом Лесного ведомства был обычный департаментский дом, с темными длинными коридорами и сводчатыми потолками, с

высокими кабинетами и однообразно расставленными столами.

Мусоргский занял свое место и принялся за свое дело. Он составил бумагу, которую еще дня три назад надо было составить. Чиновник из другого отдела, воспользовавшись свободным местом возле него, присел, чтобы настрочить несколько строк.

Строчил он минуты две, а потом, подняв с любопытством голову, справился:

– Пришлось мне давеча афишку читать. Фамилия указана вроде ваша. Не родственник ли вам автор? Не припомню – то ли о водевиле речь, то ли о чем другом театральном.

– Нет, не родственник.

– Я подумал: наверно, в родстве состоит с нашим сослуживцем. И, признаюсь, полюбопытствовал. Такого родственника, между прочим, интересно иметь: и в водевиль когда-нибудь сходить, и за билет платить не придется.

За соседним столом приостановилось движение пера, и другой чиновник вмешался в разговор:

– Вы, Модест Петрович, романсы, сказывают, сочиняете?

– Ежели сочиняю, то редко, – без охоты отозвался Мусоргский.

– Под гитару или так?

– Под гитару.

– Я б вас в одну компанию свел: там романсы любят и девушки есть с воспитанием.

Мусоргский вгляделся в его лицо внимательнее: это был еще молодой, но увядший на службе чиновник, из тех, которые долго еще будут сидеть за канцелярским столом, прежде чем женятся. Ни раздражения, ни недовольства он в душе Мусоргского не вызвал – одну только мысль о полынной судьбе человека.

Опять заскрипели перья. В однообразии служебного дня не было места для бурных мыслей: они если и врывались, то ощущение тяжелых будней тут же гасило их.

Немного погодя первый чиновник отправился в свою комнату; место, которое было свободно, благо сосед Мусоргского заболел, занял человек, перешедший с другого конца канцелярии; тут было удобнее работать.

– Правда ли, что ваше сочинение на сцене ставится? – спросил он.

Мусоргский подтвердил.

– Так ежели у вас голова такая, зачем для театра выдумывать? – продолжал чиновник с искренним недоумением. – Лучше бы что-нибудь по коммерческой части – и доход и почет. – Он придвинул свой стул и доверительно зашептал: – Теперь даже

столбовые дворяне пускаются на спекуляции. Вашего брата, простите, разорившихся помещиков, до черта стало в столице, и все ищут прибыли. Возьмите лесные дела: это мы с вами тут дни убиваем, а в нашем ведомстве можно большие дела оборачивать. При уме, конечно, и связях. Раз на сочинительство ума хватает, лучше по деловой части идти, так я считаю: дохода больше.

Он долго еще развивал свою мысль, то опасливо оглядываясь, не заметил ли кто, что они не работают, то придвигая ближе к собеседнику стул.

– По моему понятию, прямо вам скажу, одна только жажда наживы движет цивилизацию и подымает в стране богатства. Которые люди служат наживе, те, по-моему, есть самые просвещенные.

Сегодня было особенно трудно ждать, когда кончится служебный день: уж очень разительно не походила департаментская затхлость на то, что он вчера пережил. Так вот и устроена жизнь, думал Мусоргский: больше половины дня здесь, где иссыхают вдохновение, порывы, даже мысли; в обществе поэта и друга, Голенищева-Кутузова, меланхолические разговоры о смысле существования о тленности всего живого; а потом, скажем, Стасов, и там все другое. Но Стасов уехал, о вчерашнем ничего не знает и сегодняшнего мрачного настроения не поправит.

Когда Мусоргский вышел на улицу, его встретил тот же колючий, неприятный ветер. Домой, на Шпалерную, идти не хотелось. Надо было что-то придумать такое, чтобы вернулось вчерашнее настроение.

Ему повезло: навстречу размашистой, барской походкой шел приятель Наумов. Еще издали он начал широко улыбаться и махать рукой:

– Дорогой вы наш, милый Модест Петрович! Петербург весь гудит про вашу победу. Все в полном восторге!

– И вы были? – спросил Мусоргский, воспрянув духом.

– Ну как же! Как же можно пропустить такое событие! Видел вас в ложе, но подойти не решился, потому что в сиянии славы вы казались мне прямо-таки земным небожителем.

От этих слов Мусоргскому стало легче.

Наумов был из помещиков. Он служил прежде во флоте, но давно вышел в отставку. От хозяйства отстал, обеднел, но умел скрывать свою бедность под маской лихости. Кроме того, отличаясь восторженным складом натуры и любя музыку искренне, он относился к Мусоргскому с обожанием.

Тут же на улице он наговорил с три короба восторженных слов. Простодушный, доверчивый Мусоргский проникся вновь

убеждением, что никто больше не посмеет унижать его и не замечать его места в искусстве. Унылый служебный день сам собой, незаметно растворился в пламени пылкого обожания.

– По этому случаю мы с вами должны, Модест Петрович, пропустить по рюмочке коньяку, да и погода к тому располагает, – с той же пылкостью решил Наумов. – Но условие: угощаю я.

– Именинником был до некоторой степени я, – возразил Мусоргский; он опасливо пошарил в кармане и, нащупав какую-то бумажку, тверже закончил: – Условие будет обратное, а зайти в ресторан я не прочь.

«Что ж, пускай Наумов, – подумал Мусоргский. – Радуется искренне, спасибо и за это». Он с обидой вспомнил, что вчера Кюи даже в ложу к нему не зашел. Нет, пусть Наумов.

Свернули на Невский, затем на Садовую. На углу Гороховой был трактир, облюбованный ими давно. Тут всего приятнее было сидеть, то ли в обществе, то ли вдвоем в кабинете. Шум, суета половых, музыка, бурные разговоры, признания – все помогало чувствовать себя уважаемым, любимым, признанным, а не маленьким чиновником Лесного ведомства, который принужден строчить полдня бумаги.

– Уверяю вас, слово дворянина и офицера даю! – горячо говорил Наумов. – Перед вами теперь все пути открыты. Я и супруге, Марии Измаиловне, говорил вчера, вернувшись из театра: «Ну, всё! Модест Петрович теперь вознесется, до него не достанешь!»

– Полно вам! – возразил Мусоргский.

Очень нужно было ему признание – не такое, как в кружке, когда подбодрят, похвалят, а завтра опять начнут критиковать, а такое, чтобы публика, общество узнали его, приняли и полюбили.

Вечер прошел в горячих разговорах. Мусоргский больше слушал, и пылкие уверения приятеля несколько успокаивали его.

Домой он вернулся поздно. Сосед по комнате, Голенищев-Кутузов, еще не спал.

– Где ж ты был, Модест? Я полночи тебя дожидался и, если бы не знал, что такой успех, подумал бы бог знает что.

– Прости, Арсений, – сказал Мусоргский. – С одним человеком облегчил себе душу. Я в нервическом ожидании нахожусь: жду откликов, как приговора.

Поэт Голенищев-Кутузов, хотя был намного моложе Мусоргского, давно уже преодолел робость по отношению к старшему другу. Он был несколько задет тем, что Модест со спектакля вчера не пришел домой, но в этот вечер не стал его укорять.

– Все будет хорошо, – говорил он. – Публика свой суд изрекла, теперь дело за критикой: суд ее должен быть благосклонным.

Мусоргский слушал задумчиво. Нервы его были напряжены до предела: решалась судьба его жизни. Мимо «Бориса Годунова», он знал, печать пройти не сможет. Но что скажут, какое слово изрекут, предугадать было невозможно.

Голенищев успокаивал его, а он с сомнением, не решаясь верить в то, что придет наконец признание и его детище станет достоянием народа, качал головой.

II

Купив на улице газету, Мусоргский вошел в подъезд большого темного дома: читать на улице было неудобно; Мусоргский заметил лишь, что статья подписана Кюи; не терпелось узнать поскорее, что в ней сказано. Наверно, тут и насмешливость и придирки, но общий тон благожелательный, как в тот раз, когда в бенефис Кондратьева были показаны отдельные сцены. Кюи тогда написал немало хорошего о «Борисе».

Но что это? Неужели это Кюи пишет подобное?! Не веря себе, Мусоргский еще раз посмотрел на подпись. Тут не снисходительство, не высокомерие, а жестокое осуждение!

Опустив газету, он прошептал:

– Что за ужас!

Мусоргский сунул газету в карман, даже не сложив ее, и пошел своей дорогой. Мысли сбивались; он возвращался к одному и тому же и снова терял. Как же так, как могло это получиться? Ну разошлись, ну пути оказались разными, бывает же! Но уважение, память о дружбе надо же было сохранить!

Швейцар, встретивший его, не дождался от Мусоргского ни одного слова. На вешалку тот отдал пальто молча.

Сегодня было особенно тяжело сидеть долгий день за столом и сочинять бумаги. Мысли в голову лезли мрачные. Если даже дружба не уберегла от такого удара, что же станут писать про «Бориса» другие?

Несколько дней прошли в томительном ожидании откликов. Мусоргский ожидал теперь лишь дурного, пристрастного, злого. То он твердил себе, что не могут принять «Бориса» без озлобления и насмешек, потому что слишком много в музыке нового, рвущего с прошлым, ниспровергающего авторитет власти, то начинал вновь надеяться и чего-то ждать.

Эти дни так измучили его, что когда отклики стали появляться, когда в них в самом деле автору пришлось прочитать много язвительных слов, он даже несколько успокоился – вернее, пришел в состояние устойчивой мрачности.

Всем, кто ни писал, доставляло особое удовольствие сослаться на отзыв Кюи: глашатай кружка, представитель «могучей кучки» сам публично признал, что в «Борисе Годунове» множество слабых мест. Другие вслед за ним повторяли теперь, что композиция оперы обнаруживает полную неумелость; что для автора музыка ничего не значит – это всего лишь горшок с красками, которыми он подмалевывает текст своего либретто; что автор, обнаружив отсутствие мысли, написал всего-навсего

несколько сцен, имеющих отношение к историческим фактам; что у него пристрастие к грубому звукоподражанию и обрисовке мелочей; что он неудачно смешивает комическое с серьезным, обнаруживая скудость музыкального содержания.

Кюи, задавший этим нападкам тон, не забыл вспомнить и о том волнении, которое проявили поклонницы Мусоргского, пожелавшие поднести ему на первом спектакле венок. Когда венок почему-то не вынесли, поклонницы, увидев в этом еще один пример пристрастия дирекции, подняли в печати шум. Заканчивая свою статью, Кюи изобразил этот полукомический случай издевательски:

«Начинающий композитор, которому делают подношения на первом представлении его первого произведения, не зная, каково это произведение в целом, не зная, каким оно покажется настоящей публике, должен испытывать только одно – страстное желание провалиться сквозь землю».

Значит, и в том оказался виновным автор, что в вечер своего триумфа не пожелал провалиться сквозь землю, увидев где-то за кулисами венок!

Мусоргский ходил больной, истерзанный нравственно и не находил себе места. Разве что Стасову за границу писать и жаловаться на несправедливость; разве что выслушивать признания Наумова, сидя с ним за столиком в трактире, или с Голенищевым-Кутузовым по вечерам говорить о бренности земного и бессмысленности, нелепости человеческих надежд.

Затратившись на постановку и видя беспримерный успех «Бориса Годунова» у публики, администрация не снимала спектакля. Опера прошла в первый сезон десять раз при переполненном зале. Такого давно не было на Мариинской сцене. Но каждый спектакль попирал, в сущности, то, на чем держался авторитет власти. Власть подавляла любые проблески вольнодумства, преследовала каждого, кто пытался говорить о правах народа, а опера вся была о народе и его независимом духе. Реакция ломала даже таких убежденных людей, как Балакирев. Вместо искусства идейного на первый план выдвигали буфф, оперетту, канкан. И вдруг появилось произведение, накаленное до предела, полное высоких гражданских страстей! Долго на сцене оно продержаться не могло. «Бориса Годунова» стали давать все реже.

Осмеиваемый критикой, но поднятый публикой, Мусоргский впервые познал славу. Окрашенная горечью и разочарованием, она облегчения ему не принесла.

Мусоргский, казалось, готов был продолжать борьбу, он был полон замыслов, но настроения мрачности и отчаяния владели

им, и он дал им выход в своих новых творениях.

В пору разочарований ближе всех оказался ему Голенищев-Кутузов. Дружба их началась с того, что молодой поэт подпал под влияние музыканта. Но после пережитых Мусоргским потрясений он, автор «Бориса», сам того не замечая, оказался в плену у художника-пессимиста.

Голенищев-Кутузов, вначале поддавшийся Мусоргскому, написавший под его воздействием драму «Смута», был по природе своей скептиком: его влекла к себе не поэзия борьбы, а меланхолия обреченности. Мусоргский, подружившись с ним, увлекся его талантом, решил, что этот утонченный лирик вместе с ним станет бороться за народные идеалы.

Он водил Голенищева-Кутузова с собой повсюду: к Стасову, к Шестаковой, к Петровым. В присутствии Голенищева-Кутузова исполнялись многие новые сочинения Мусоргского. То, в чем друзья Модеста видели реализм, иной раз казалось Голенищеву негармоничным и слишком натуральным, но спорить он не осмеливался. Мнения свои он держал при себе и в редких случаях высказывал их автору. Мусоргский долгое время был уверен, что Голенищев изменится, что скептицизм пройдет и меланхолия уступит место деятельному стремлению к правде.

Но оказалось, что не Мусоргский подчинил себе Голенищева-Кутузова, а, наоборот, тот его. Достаточно было Мусоргскому пережить провал надежд, отход Кюи, поношения критиков, чтобы безверие нашло для себя почву в его душе.

Реалист, он с такой же реальностью, с какой описывал прежде жизнь, стал описывать собственные ощущения беспросветности.

Ему казалось, что все вокруг придушено. Живые силы общества разгромлены; угнетение после годов реформ стало не меньшим, а большим. Прежде помещики угнетали народ; на смену им пришли алчные стяжатели – промышленники.

– Черт побрал бы этих биржевиков, этих разгаданных сфинксов девятнадцатого века! – говорил Мусоргский, видя в Голенищеве-Кутузове единомышленника.

Они поселились вдвоем на Шпалерной улице, и утешением для Модеста служила возможность излить перед другом горечь души.

Мусоргскому ненавистно было капиталистическое перерождение страны, как прежде ненавистно было рабство огромного класса крестьян. Он сознавал, что до свободы так же далеко, как прежде, но как бороться с угнетением, не знал.

Голенищев-Кутузов пытался убедить его в том, что дело не в общественном устройстве и не в политике властей:

– Жизнь, Модест, вообще полна печали и разочарований.

Сколько бы ни боролись за счастье, уловить его невозможно.

Мусоргский спорил. Голенищев-Кутузов действовал на него иными средствами: настроениями, меланхолической лирикой своих стихов.

Его поэзию Мусоргский любил. Он слушал стихи подперев голову, в позе усталости. Мысли друга и особенно его звучные строки находили во впечатлительной и опечаленной душе музыканта почву. Мусоргскому самому надо было выразить горечь своего сердца. Работать после «Бориса» хотелось, нужен был лишь соответствующий настроению материал. Таким оказался цикл стихов Голенищева «Без солнца».

Прежде, демократ и борец, Мусоргский этой печальной стороной никогда не ходил, а тут дружба со скептиком, неверие в жизнь, собственные разочарования толкнули его на тягостный путь пессимизма.

На травлю «Бориса» и на мрачные настроения, царившие в его душе, ответил Мусоргский циклом песен «Без солнца».

Голенищев уверял Модеста, что это самое лучшее из всего, что тот создал, что тут раскрылось истинное его дарование и способность читать в человеческих душах. Мусоргский сочинял песни о праздном, шумном дне, который окончен, об одинокой ночи. Тема одиночества выступала в них с едкой и горестной силой.

Но весь уйти в свою горечь он не мог; любое живое явление волновало его по-прежнему.

Публика шумела по поводу выставки Верещагина. Из туркестанского похода художник привез много картин и этюдов, в которых изобразил жестокую правду войны. Поднялся шум неистовый. Газеты стали обвинять Верещагина в том, что он исказил правду, а военные вопили, что в картинах его оклеветана армия. Подавленный бранью и криками, Верещагин сам изрезал ножом три наиболее правдивые картины.

Мусоргский успел побывать на выставке до того, как произошла эта трагедия. Услышав о ней несколько дней спустя, он вернулся домой взволнованный:

– Арсений, друг, ты помнишь «Забытого»? Так вот – его больше нет! Гениальное творение уничтожено.

Голенищев-Кутузов принял известие сдержанно: оно укладывалось в его понимание жизни.

– Да, многое пропадает. Столько бессмысленного мы подчас делаем… Жаль картину, она запомнилась мне. Но еще больше жаль автора.

– Наш с тобой долг восстановить ее. Найди, Арсений, слова для нее, а я постараюсь дать ей музыкальное воплощение.

Голенищев отнесся к этому без особой горячности, но идея картины, жестокой ли прямотой своей или чем иным, была близка ему все же.

Они жили в соседних комнатах. Двери иной раз растворялись настежь, и тогда обе комнаты превращались в одну большую. На этот раз Голенищев деликатно, воспользовавшись задумчивостью друга, прикрыл двери.

В комнате долгое время царила тишина. Мусоргский нервно шагал, думая о том, как трудна жизнь кругом и как трудно дышать художнику. Судьба Верещагина волновала его, как будто это случилось с ним самим и его, а не Верещагина, заставили уничтожить то, что написано кровью.

Дверь отворилась неслышно, и на пороге появился Голенищев-Кутузов – плотный, широкоплечий, с массивным лицом и медлительным взглядом.

– Ты хорошо помнишь картину, Модест?

– О да! Но ты же видел ее тоже? Солдат брошен на поле боя. Он погибает или погиб, вокруг нет никого, армия двинулась дальше, а его тело клюют вороны. Кругом пустыня. Никому дела нет до того, что солдат отдал свою жизнь. Ненужный больше, он предоставлен на растерзание шакалам.

– Я, знаешь, расширил немного ее содержание: рядом со смертью солдата у меня возникает, как вторая тема, мягкая и печальная, образ жены. Она качает ребенка и думает об ушедшем, не чувствуя, что он обречен умереть один. По-моему, тебе понравится.

Мусоргский кинулся в комнату Голенищева-Кутузова, схватил со стола стихи и сказал:

– Читай!

Он слушал, застыв на месте, вслушиваясь в каждое слово, в сочетание слов.

– Да, это для меня, – сказал Мусоргский. – Ты всегда чувствуешь, что мне нужно.

Позже, когда Голенищев вернулся к себе, он через дверь услышал первые звуки торжественно-мрачной, горестной, но полной протеста музыки.

Мусоргский не довел тему, возникшую в воображении, до конца. Его гнало вперед нетерпение: ему хотелось тут же воссоздать образ жены, качающей в колыбели ребенка.

Эта тема, однообразная, печально-мягкая, родилась вскоре, и Голенищев услышал ее тоже.

Он не ложился. До поздней ночи он слушал, как такт за тактом рождается произведение, начало которому положил он сам. Произведение Модеста казалось ему великим по цельности.

И в самом деле оно было великим. В балладе «Забытый» Мусоргскому удалось изобразить и трагизм бессмысленной смерти и протест против смерти.

III

Цикл «Без солнца» был уже создан. Друзья задумали новый цикл – «Песни и пляски смерти». Пусть жизнь печальна, Мусоргский продолжал верить в дружбу. Сжившись с Голенищевым-Кутузовым, он в своем простодушии надеялся, что так они и проживут еще долгие годы вдвоем.

Но Голенищев стал пропадать все чаще. Он возвращался поздно, и, уходя со службы, Мусоргский знал уже, что дома никого не застанет.

Одиночество, усугубленное в эту печальную пору жизни отъездом Стасова и крайней занятостью Бородина, пугало Мусоргского, он готов был проводить вечера с кем придется, только бы не сидеть одному.

Однажды, придя домой, Голенищев застал его в безвольной позе у рояля. Мусоргский не играл, а о чем-то тягостно размышлял.

Голенищев остановился в нерешительности, не зная, говорить ли с ним или пока не тревожить.

– Знаешь, Модест, – наконец отважился он, – я давно хотел объявить тебе, но все духу не хватало. Ты, наверно, сердишься на то, что я не бываю дома?

– Не сержусь, но скучаю. Ну что ж, – незлобиво сказал Модест, – я не хочу быть уздой. Ты поэт, у тебя свои интересы… Ты к жизни больше привязан, а я пребываю в печали.

– Нет, дело не в том… – И он наконец объявил: – Я женюсь, Модест, вот в чем причина.

Мусоргский повернулся, но с места не встал. Он смотрел на друга с такой печалью, точно тот нанес ему непоправимый удар. Так же вот Римский-Корсаков ушел к Надежде Пургольд, и они расстались. Теперь Голенищев… А он, наивный, думал, что дружба и общие интересы превыше всего на свете.

– Арсений, – сказал Мусоргский, – подумал Ли ты, что тебя ждет? Пустые, мелочные интересы – ведь в этом художник может погрязнуть.

– Ты, Модест, несправедлив. Невеста моя далека от этого.

– Ах, до замужества! А потом?

– Ты неправ, – с усилием повторил Голенищев-Кутузов.

Он видел, как опечален Мусоргский, но отступать было некуда. Да и его чувства к будущей жене были задеты. Объяснение тяготило обоих.

– Я никогда не видел ее, но я так привязан к тебе, что относиться к будущей твоей жене хорошо мне, кажется, будет

трудно, – сознался Мусоргский.

– Ты еще к ней привяжешься. Она человек доброй души и тебе понравится.

– Не знаю… Мне трудно представить это.

«Ах, эти рассуждения о бренности земного! – с раздражением подумал он вдруг. – Меланхолия, отрешенность!.. Вот он женится, устраивает свое счастье, а писать будет, как прежде, о бренности мира».

Голенищев-Кутузов ушел к себе. Мусоргский не спал всю ночь. Через дверь было слышно, как Голенищев что-то передвигает и что-то достает. Мусоргский, ощутивший вновь горечь одиночества, надеялся еще, что не все решено окончательно. И только утром, увидев сложенные чемоданы и ремни на полу, он понял, что в самом деле остается один.

Когда под вечер Мусоргский вернулся со службы, беспорядок, царивший в соседней комнате, поразил его. Дверь была раскрыта настежь, и пустота, возникшая с уходом друга, заявляла о себе во весь голос.

– Одни остались, Модест Петрович? – сказала хозяйка, войдя к нему. – Может, кого другого пустите или лучше мне сдать от себя?

– Я? – удивился Мусоргский. – Нет, никого. Сдайте сами.

Она начала подбирать с пола бумаги, потом стала подметать. Мусоргский рассматривал опустевшую комнату, не представляя, какой же она будет теперь.

Хозяйка оперлась на щетку:

– А за вами должок порядочный, знаете?

Это было сказано так некстати, что до него и не дошло даже.

– Внесу, вот только жалованье получу, – рассеянно отозвался Мусоргский.

Хозяйка покосилась на него и, ничего больше не сказав, опять начала подметать.

Потянулись унылые дни. Прежде, возвращаясь домой, Мусоргский знал, что его ждут стихи, разговоры, творчество, – теперь его ждало одиночество. Пытаясь утешиться, он отправлялся к Наумову, который всегда был рад его обществу. Жена Наумова отличалась, правда, строгостью и за поведением мужа следила, но они ускользали от нее куда-нибудь в ресторанчик из недорогих и там просиживали подолгу. Порывался всякий раз платить Наумов, но получалось так, что платил Мусоргский: ему, автору «Бориса Годунова», это пристало больше. Возвращаясь домой, он обнаруживал, что денег совсем не осталось.

Уже и весна прошла незаметно, и с Голенищевым Мусоргский

помирился, и даже стал изредка бывать у него, а за комнату все не платил. Он говорил себе, что отдаст хозяйке, как только получит деньги, но всегда находилось что-то такое, что надо было сделать в первую очередь. Он был щедр, широк и совсем не умел считать те скудные средства, которые попадали ему в руки.

Выступая на концертах в пользу студентов, Мусоргский никогда не брал платы. Устроители вечеров знали способность Мусоргского аккомпанировать так, что аккомпанемент превращался едва ли не в лучшую часть выступления. Его ловили то дома, то у друзей, то в ресторане. Уж если он обещал участвовать, то не подводил, надо было только застать его и доставить на концерт. В каком бы состоянии Мусоргский ни был, аккомпанировал он одинаково хорошо.

Однажды делегация от студентов явилась к нему с очередной просьбой. Мусоргский вышел вежливый до изысканности и даже стал изъясняться с ними по-французски. Он обещал выступить, но студенты уехали, полные сомнений.

В день концерта решено было поставить возле его дома дежурного, чтобы он, боже упаси, не исчез, забыв про свое обещание.

Когда в назначенный час за Мусоргским явились, его застали в необыкновенно размягченном состоянии.

– Друзья мои, – повторил он, – все обойдется как нельзя лучше. Прошу вас, не тревожьтесь.

Протерев лицо мокрым полотенцем, Мусоргский объявил, что готов ехать.

В артистической к нему подвели итальянского певца Морелли. Еще за несколько дней до концерта тот потребовал репетиции с аккомпаниатором. Устроители, зная, что Мусоргского им для этой цели не заполучить, уверяли знаменитого итальянца, что в репетиции надобности нет, потому что аккомпаниатор будет у него превосходный, из ряда вон выходящий.

Увидев своего аккомпаниатора, Морелли обратился к нему с претензией: почему он не пожелал репетировать? Репертуар сложный; кроме того, он, Морелли, не в голосе и будет петь не в том тоне, как написано, а на полтона ниже.

Мусоргский, вежливо выслушав, заявил, что господину певцу не следует ни о чем беспокоиться.

Но и распорядители начали беспокоиться. Если бы не великая слава Мусоргского, они решили бы, что центральный номер концерта провален: певец предупредил, что, если первая вещь пройдет неудачно, он продолжать не станет. Он расхаживал по артистической, мрачно посматривая в сторону аккомпаниатора.

Мусоргский с видом полного безразличия сидел в кресле, полузакрыв глаза. Давно бы следовало заявить, видя, как тут перешептываются и косятся на него, что он участвовать не желает. Но доброта и деликатность взяли верх. Мусоргский помнил свое обещание помочь молодежи и, хотя ему хотелось уйти, не уходил.

– Идемте, господин аккомпаниатор, – строго обратился к нему Морелли.

– Модест Петрович, – попросил распорядитель, – уж пожалуйста, не подведите нас!

Мусоргский кивнул. Ему было смешно и грустно: он, автор «Бориса», должен держать экзамен перед трескучим певцом! Вместе с тем он утешался мыслью, что выступает бесплатно, только по доброте своей и желанию поддержать молодежь.

Скромно заняв место аккомпаниатора, Мусоргский выжидающе посмотрел на певца. Тот метнул на него мрачный взгляд и начал.

Что это был за аккомпанемент! Морелли никогда еще не приходилось петь с таким музыкантом. Он изумленно слушал, с какой свободой и законченностью тот играл любые пассажи, транспонировал из одного тона в другой, исполнял певучие места.

Как только они под бурные аплодисменты вышли за дверь, Морелли кинулся к Мусоргскому:

– Простите меня! Вы есть гений! Я не знал, простите меня…

С вежливостью человека, одинаково принимающего унижение и славу, Мусоргский кивнул. Казалось, он рад только тому, что исполнил свое обещание.

К овациям на эстраде он привык. Не раз приходилось ему выручать устроителей разных концертов. Но денег при этом не было вовсе. То немногое, что Мусоргский получал, уплывало непонятным образом.

Хозяйка уже много раз напоминала о долге за комнату. Пока жили вместе с Голенищевым-Кутузовым, тот следил, чтобы долгов не было. Теперь, один, Мусоргский никак не мог справиться со всеми заботами. Он не понимал, на что тратятся деньги; кажется, кто-то на днях попросил взаймы, позавчера он заплатил за ужин…

И вот наступил такой мрачный день, когда, вернувшись, Мусоргский застал дверь комнаты запертой. Хозяйка исчезла. В дверях торчала записка, в которой сообщалось, что жилец тут жить больше не может, раз не платит. В коридоре стоял его чемодан.

Мусоргский в недоумении погладил бороду, начавшую в

последнее время заметно седеть, провел рукой по волосам. Бороться с такими трудностями было выше его уменья. Долг свой он отдал бы непременно, но хозяйка, по всей видимости, не желала иметь его своим жильцом. Бесполезно было спорить.

Подумав, Мусоргский решил просить приюта у Голенищева-Кутузова. Он вспомнил, что тот переезжает на дачу, а жена уже переехала.

– Арсений, – начал Мусоргский смущенно, – ежели я до твоего возвращения поживу у вас, ты сердиться не будешь?…

Он стоял на пороге квартиры с чемоданом в руке. Когда он шел сюда, полный сомнений, в мыслях его возникал не образ поэта-лирика, а образ благополучного барина.

Но Голенищев встретил гостя приветливо:

– Чего ж ты остановился? Сделай милость, заходи, я один. Графиня на даче. Сейчас самовар велю подогреть, и чай будем пить.

На Мусоргского пахнуло забытым уютом семейной жизни. Самовар кипел на столе, хозяин, как прежде, читал стихи. Снова казалось, что любовь к искусству связывает их прочно.

Друзья просидели так до утра, а утром Модест ушел на службу.

Сколько же раз за последние годы Мусоргский менял дорогу от дома до департамента! Он подбадривал себя: Голенищев человек деликатный; раз жены нет, можно пожить у него хоть до осени, а там будет видно.

Бесприютный человек, не знавший вчера, где приклонить голову, Мусоргский после ночного душевного разговора с другом думал не о дурном и трудном в своей жизни, а о хорошем. Он, в сущности, богат, как никто: песен у него без счета; кроме песен, есть «Картинки с выставки», сочиненные для рояля, и оркестровая «Ночь на Лысой горе»; к «Песням и пляскам смерти» надо будет кое-что присочинить, сюжеты для того есть; а всего милей ему цикл «Детская». Когда ни попадет Модест на дачу к Дмитрию Стасову, дети требуют, чтобы он что-нибудь спел оттуда. Они следят за событиями, которые в «Детской» изображены, с увлечением. Да что дети – сам Лист в восторг пришел от его цикла. Брат издателя Бесселя как-то соскочил с извозчика, увидев Мусоргского, и сообщил, будто Лист даже письмо ему написал. Письмо пропало, но, вспоминая об этом случае, Мусоргский всякий раз с гордой надеждой говорил себе, что рано или поздно его все признают. Вот Стасов зовет за границу и даже деньги предлагает прислать. Но нет: он сначала допишет «Хованщину», выведет ее в люди, предъявит друзьям и недругам…

Так думал Мусоргский, идя утром на службу. Достаточно

было одного хорошего вечера, чтобы страхи рассеялись и жизнь опять окрасилась в светлые тона.

Несколько дней прошло в мирных беседах и приятных мечтах. Возвращаясь со службы, Мусоргский неизменно заставал внимательного хозяина, и до позднего часа тянулся дружеский разговор. Даром что один был именитый барин, а другой бездомный художник, – казалось, искусство равняет их.

Однажды, придя к Голенищеву поздно вечером, Мусоргский застал квартиру запертой. Ни на звонки, ни на стук не отозвался никто. При мысли, что он снова без крова, Мусоргскому стало страшно. Он вытер с лица пот и принялся стучать громче.

По лестнице кто-то поднимался сюда. Мусоргский придал себе независимое выражение.

К нему подошел дворник:

– К графу изволите идти?

В голосе его были почтительность и настороженность.

– Да вот что-то не отворяют. Может, заснул…

– Они сегодня на дачу переехали.

От неожиданности Мусоргский растерялся; он спросил упавшим голосом:

– Ключа граф кому-нибудь для меня не оставил?

– Никак нет.

– Может, ты, голубчик, не знаешь? Я тут по приглашению живу.

– Нет, сударь, не оставили. Точно знаю, потому что выносил ихние вещи.

Проклятая рассеянность поэта, барина! Уезжая, он и не подумал, как попадет в квартиру Мусоргский. Ключ у него в кармане, и, наверно, Голенищев не думает в эту минуту, что его друг ждет под дверью и не знает, где ему ночевать!

Дворнику было интересно, что предпримет стоящий у запертой двери человек. Надев шляпу, тот сказал с деланной бодростью:

– Спасибо, дружок, что сообщил, а то я стучу-стучу… – и сунул ему в руку монету.

– Теперь уж осенью пожалуйте, – расположившись к нему больше, сказал дворник.

Мусоргский медленно спустился по лестнице.

Небо чуть посветлело; еще немного, и должен был обозначиться розовеющий его край. Город спал. Догорали свечи в фонарях. Прохаживались кое-где дворники.

Мусоргский брел вдоль набережной, вглядываясь в краски начинающегося утра. В Летний сад, что ли, пойти? Но там запирают на ночь ворота. От сознания бездомности стало тяжело.

Он присел на ступени подъезда. Голенищева винить не хотелось: ну рассеянный, забывчивый, не знает, что такое нужда. Через несколько дней хватится, что ключ остался в кармане, да что толку! Мысли были о чем-то более общем и печальном. Он не торопился уходить, решительно не зная, к кому направиться.

Край неба уже посветлел, начинался чистый и пока прохладный день.

Перебирая в памяти, к кому бы обратиться, Мусоргский дошел наконец до Наумова; ему стало легче: вот к кому прийти в такую раннюю пору не стыдно. Наумов добрый, он поймет.

Мусоргский бодрее зашагал по мосту, прошел мимо университета, Академии художеств и против пустынного садика увидел хорошо знакомый дом. Ну вот, последнее пристанище; на другое надежд больше нет. Робея, он открыл парадную дверь.

При виде его на лице Наумова появилось выражение суетливой озабоченности. Он оглянулся на дверь спальни и зашептал:

– Модест Петрович, голубчик, сюда заходите, сюда… Мария Измаиловна спит. В столовой посидим, пускай себе спит. Там, смотришь, встанет, и чаю авось напьемся.

Как он ни побаивался жены, а дружбе не изменил. Слушая его торопливую речь, Мусоргский мало-помалу приходил в себя, и страх одиночества отодвигался.

Опасаясь отказа, Модест Петрович объявил, что ему побыть бы тут хоть до службы: от них он прямо отправится в департамент, а там будет видно, как действовать.

Наумов таинственно повторял:

– Как Мария Измаиловна… Она добрая, даром что характер крутой…

Он понял все, но брать на себя решение не отважился.

Появилась супруга. Полная и величавая, она вышла в утреннем халате и при виде столь раннего гостя не скрыла своего удивления.

Мусоргский стал смущенно объяснять, что он к ним на время:

– Арсений Аркадьевич, уезжая, забрал с собой ключ. Такая история глупая приключилась… Я только до службы, простите, что так рано…

Мария Измаиловна смотрела на него критически: на его совести, считала она, частые отлучки мужа.

– Какой уж там ключ, Модест Петрович!

Муж, ожидая грозы, смотрел на нее с робостью.

– Уверяю вас, он увез с собой, – продолжал Мусоргский, выставив вперед ногу и прикидываясь человеком беспечным. – Он такой же рассеянный, как и я. Да, наверно, сам хватится.

Мария Измаиловна с сомнением покачала головой. Уверения Мусоргского, его смущенный вид были ей приятны.

– Уж, видно, придется пожить у нас, Модест Петрович. Я человек прямой: если нравится, милости просим.

Муж от радости приложился даже к ее ручке:

– Душенька, я всегда говорил, что у тебя золотое сердце! Модест Петрович человек знаменитейший, но ребенок совершенный. Вот пройдет про него слава на всю Россию, и нас с тобой добрым именем помянут, увидишь.

– Когда еще это будет! – вздохнула она. – Нет, оставайтесь, правда. Сейчас покормлю вас чем бог послал.

Мусоргский, приложив руку к груди, повторял:

– Благодарю, благодарю…

И он остался жить у Наумовых.

IV

Содружество, которое Стасов лет десять назад назвал могучим, с годами стало слабеть. И не то чтобы оно распалось, но каждый участник его, самоопределившись, выбрал свой путь.

Римский-Корсаков отдавал все силы консерватории. Сделавшись преподавателем, он сам засел за науку с таким рвением, как будто ничего до сих пор не знал. Автор двух симфоний и оперы, он решил начать всё сначала. Это был подвиг художника.

Реакция, мрачный дух притеснения, затхлая атмосфера 70-х годов – все не так мучительно терзало, потому что он был поглощен работой, которая укрывала его от внешнего мира.

Бородин, увлеченный наукой и музыкой, тоже не так горестно ощущал гнетущую тяжесть общественной атмосферы.

Мусоргский же не был защищен ничем. Он, мечтавший об освобождении народа, о борьбе с властями, он, автор «Бориса Годунова», в атмосфере реакции задыхался. Никто из друзей его не страдал так от того, что на смену вольностям 60-х годов пришла казенная, серая безысходность.

Окружающие не видели этого. Они видели нелады в работе Мусоргского и за это готовы были его упрекать: к технике сочинения он относится невнимательно, правила гармонии соблюдает не всегда, слабости свои выдает за оригинальность; речитативами пользуется широко, потому что мелодия плавная ему не дается.

Различие внутренних тяготений было прикрыто различием внешних приемов. Приемы видны были каждому, их можно было оспаривать и высмеивать, а тяготения – о них в кружке теперь говорилось мало: каждый шел своей дорогой.

Стасов – тот понял его, Лист где-то в Веймаре понял, а люди, стоявшие к Мусоргскому близко, иной раз пожимали плечами, дивясь на его новшества.

Стасов давно уже стал поклонником Мусоргского и заботливым другом, но заботиться о Модесте, при его самолюбии, скрытности, гордости, при его деликатной нетребовательности и мягкости, было почти невозможно.

«Хованщина» писалась урывками, хотя обдумывалась непрерывно. Замысел был огромный, больший, чем в «Борисе Годунове». В «Борисе» основой служил пушкинский текст, а тут приходилось создавать всё самому. И, хотя жизнь была не устроена, он терпеливо обдумывал сцену за сценой и многие из них клал на бумагу.

Что его привлекло в этом материале? Желание создать образ мятежного народа. История раскольничьего сопротивления составляла для Мусоргского лишь звено великой повести о борьбе за вольность вообще. После «Хованщины» ему представлялась еще одна музыкальная драма, с Емельяном Пугачевым в центре.

Затея была беспримерная, и не людям, молчаливо осуждавшим Мусоргского за незрелость техники, было ее оценить; и не графу Голенищеву-Кутузову, ушедшему в поэзию пессимизма, злобствовавшему там, где дело касалось больших народных проблем.

Только Стасов, которого сильное, крупное, смелое всегда привлекало, сумел стать вровень с замыслами своего друга. Он рылся в архивах, разыскивая материалы для «Хованщины»; все, что относилось к мятежам стрельцов и движению раскольников, он добывал для автора. Шаг за шагом вырисовывались образы Марфы-раскольницы, Досифея, князя Хованского, стрелецкого гнезда, пьяного, буйного и мятежного. Сколько пришлось подбирать, искать, отбрасывать и снова подбирать, чтобы наконец возникла та Марфа, которую ныне знают по «Хованщине»: влюбленная в молодого Хованского, ревнующая его, страдающая от его ветрености и увлекающая его за собой на костер в момент крушения раскольничьих замыслов! Сколько надо было перечитать и продумать, чтобы родился цельный Хованский, вождь стрельцов, самовластный начальник, готовый поднять мятеж против Петра, или Досифей, тончайший политик, держащий в руках раскольничью массу и лавирующий среди враждующих групп!

Нет, все, все требовало работы настойчивой, терпеливой сложной. Живя безалаберно, неустроенно, трудно, Мусоргский продолжал дышать чистым воздухом высоких помыслов и идей.

Денег по-прежнему не было. Все, что он получал, он совал либо Марии Измаиловне, либо вместе с мужем ее тратил в ресторанах. Собственная нерасчетливость утомляла настолько, что он даже не пытался привести свои дела в порядок. Столько замыслов наполняло его, что он иногда сознавал себя богачом. Но в пустых вечерах и бесполезных беседах за столиком уходили месяцы. Иной раз, как во сне, хотелось рвануться, сделать прыжок и порвать с той жизнью, которая затягивала его все больше.

В Петербург из-за границы вернулся Антон Рубинштейн. Между ним и людьми, которых прежде при нем чернили и называли недоучками, больше не стояли ни Русское музыкальное, общество с его интригами, ни консерватория. Рубинштейн услышал симфонию Бородина, «Антара» Римского-Корсакова, наконец, «Бориса Годунова» Мусоргского. Как честный большой

артист, он, не колеблясь, признал, что перед ним яркие, самобытные личности и крупные музыканты. Забыв прежнюю рознь, он первый протянул им руку.

Гости Стасова увидели в его доме хорошо всем знакомую фигуру. Рубинштейн изменился за эти годы мало: те же припухшие, в складках, веки, те же удивительные по выразительности руки и артистичность во всем облике; разве что он стал чуть-чуть сутулиться и в непокорной гриве волос появилась заметная проседь.

Мусоргский и Бородин стояли рядом. Разговаривали вполголоса о вошедшем; странное дело, ни тени обиды не было в их словах; забыто было все, что прежде разделяло Рубинштейна и их.

Он сам подошел к ним.

– Я слушал вашу музыку и музыку ваших товарищей, – сказал он с тем не совсем чистым выговором, который остался от многолетней жизни за границей. – Лучше опоздать, чем ошибаться до конца. Мне, господа, музыка ваша нравится, и я начинаю понимать, что такое русское новое направление.

Бородин сказал:

– Спасибо, Антон Григорьевич. Слышать это нам очень лестно.

Из-под полуопущенных век Рубинштейн внимательно смотрел на них. Мусоргскому показалась во взгляде его недоверчивость. Рубинштейн и в самом деле словно оценивал их и что-то решал для себя.

– Что ж вы теперь пишете?

Стасов, занимавший других гостей, незаметно наблюдал за их группой. Он был рад, что примирение состоялось, что из лагеря противников Антон Рубинштейн наконец ушел. Он гордился тем, что сыграл тут некоторую роль; разговаривая, как всегда, оживленно, он потирал от удовольствия руки.

Рубинштейн долго расспрашивал Мусоргского и Бородина, затем не то с сожалением, не то с искренним уважением произнес:

– Будущее за вами, да, – и отошел к другой группе.

Весь вечер Рубинштейн был в центре внимания. Окруженный композиторами, людьми, с которыми он прежде воевал, знаменитый музыкант чувствовал себя проще и лучше, чем во дворце Елены Павловны, чем во многих дворцах, где ему приходилось бывать. Чутье артиста было в нем сильно, и он понимал уже, что люди, которых иронически, с издевкой, называли «могучей кучкой», в самом деле могучи.

Мусоргский и Бородин, поглядывая на него, ни на минуту не

упуская его из вида, продолжали свой разговор вполголоса.

– Мы теперь в моду вошли, – шутливо заметил Бородин. – Где какое собрание, где ни соберутся музыкальные барыньки, требуют нас.

– И смешно и грустно. Ох, боюсь я моды! – засмеялся Мусоргский. – У Маковских, художников, только о новой школе и говорят. А мне что-то не верится, Александр Порфирьевич. Вот рубинштейновское признание дорого: даже гордость за нас всех сегодня почувствовал. Что ни говорите, а мировой музыкант, крупная личность.

В тот вечер Рубинштейн много играл. Он играл с охотой, словно хотел привлечь к себе этих прежде далеких ему людей. Он играл свое и чужое: Шопена, и Мендельсона, и отрывки из своей новой оперы.

– Нет, все же он божьей милостью музыкант, этот Рубинька, – шепнул Мусоргский Бородину. – Как хорошо, как радостно думать, что такой человек живет в одно время с нами!

На улице, когда возвращались, Мусоргский продолжал толковать о встрече.

Дошли до квартиры Бородина и, как когда-то, долго стояли около двери, продолжая начатый разговор.

Мусоргский рассказывал о своей работе: и про гаданье Марфы, и про Шакловитого, и про то, как убивают Хованского. Словно о живых, хорошо знакомых, он толковал – с увлечением, доверчиво, не допуская мысли, что Бородину это может показаться неинтересным.

– А то зайдемте? – нерешительно предложил тот.

– Нет, Екатерина Сергеевна будет потом недовольна. Она вас почти не видит.

– Да, минуты свободной нет… А так хочется писать, Модя, если бы вы только поняли! – Затем Бородин справился озабоченно: – Где ж вы теперь поселились?

– У добрых людей… Наумовы приютили. До осени только, а там погляжу.

Бородину сделалось не по себе: конечно, надо было позвать Модеста жить к себе. Но тогда он и вовсе сочинять не сможет, и день уйдет на разговоры… Жертвовать часом досуга, единственным часом, когда можно писать, Бородин был не в силах.

Расстроенный, чувствуя себя виноватым, он стал прощаться.

V

Вскоре Бородину пришлось по своим научным делам отправиться за границу. Путь лежал в Иену; от Иены было рукой подать до Веймара, где жил в то время Лист. Соблазн повидать знаменитейшего музыканта, друга русской музыки, был слишком велик.

Гостиницы Веймара, опрятного, чистенького городка, были забиты приезжими, потому что в ближайшие дни должны были начаться знаменитые веймарские концерты.

Номер удалось получить с трудом. Утром Бородин вытащил из чемодана единственный костюм, который захватил с собой, и отправился на розыски Листа. Адрес был ему неизвестен, но он полагал, что каждый сможет указать, где живет прославленный музыкант.

Зная строгие правила немецкой жизни, Бородин хотел навестить старика после обеда, то есть после часу дня. Первые розыски ничего не дали. Бородин решил наведаться в магазин художественных изделий: там ему назвали улицу, но не назвали дома, где живет Лист.

Улица оказалась тихонькой, в зелени, с домиками, увитыми плющом. Никто и тут не мог сказать, где надо искать Франца Листа.

Наконец какой-то старик высказал предположение:

– Не доктор ли Лист нужен вам? Тут есть доктор под такой фамилией.

Получив его адрес, Бородин отправился туда. Он увидел двухэтажный домик, увитый виноградом сверху донизу. Решетчатая калитка вела в сад. В саду на скамейке сидел господин в соломенной шляпе. Господин этот подтвердил, что доктор Лист живет здесь, но как раз в данное время обедает, а после обеда будет до четырех часов отдыхать.

Пришлось снова отправиться бродить по городу. Тут было много заслуживающего внимания: домик Гёте, домик, где Шиллер когда-то жил, дом поэта Виланда… Бородин гулял ровно столько, сколько нужно было, чтобы доктор Лист выспался.

Когда он вернулся к домику, обвитому виноградом, на скамейке вместо господина в соломенной шляпе оказались две дамы. Они сообщили, что доктор занимает второй этаж. Когда Бородин стал подниматься по лестнице, он обнаружил, что единственную захваченную им с собой визитную карточку выронил где-то. Он кинулся вниз; к счастью, одна из дам нашла ее.

Наверху высоченный, могучего сложения лакей принял у него карточку. Бородин попросил доложить о себе. Сейчас, думал он, выяснится, что тут живет не музыкант знаменитый, а вольнопрактикующий врач.

Вдруг перед ним выросла фигура длинного человека в черном сюртуке, с острым носом и седыми длинными волосами.

Бородин не успел произнести ни слова, как хозяин заговорил громко, словно декларацию делал:

– Вы написали, месье, превосходную симфонию. Не далее как позавчера я играл ее в присутствии великого князя, и я счастлив, что вы меня посетили. Анданте ваше – шедевр, первая часть превосходна, скерцо восхитительно, и притом нет ничего этакого… – Он изобразил пальцами фигуры, которые часто встречались в сочинениях у немцев. – Нет, это вполне оригинально.

Лист выпалил все это по-французски, в один присест, сжал руку Бородина и увлек его за собой Он усадил его на диван и стал расспрашивать о композиторах современной России.

Несмотря на преклонный возраст Листа, в движениях его была живость, даже неугомонность. Во всем, что он говорил, обнаруживался острый интерес к тому, что шло из России.

Обласканный, обрадованный, Бородин забыл, что приехал в Германию вовсе не как музыкант и что только из любопытства завернул в Веймар. Лист спрашивал, что он сделал за последнее время, что намерен сделать, что пишут господин Балакирев, господа Римский-Корсаков и Мусоргский. Всех он знал, сочинения, дошедшие до него, играл; «Исламея» балакиревского учила сейчас одна из любимейших его учениц.

Все, что вышло из-под пера кучкистов, Лист считал необычайно новым, интересным и нужным. Кумир Германии, он, нисколько не стесняясь, хулил немецкую современную музыку и композиторов, которых тут исполняли, объявил совершенно бездарными.

Говорил Лист то по-немецки, то по-французски. Он перескакивал с одного на другое, охотно подхватывал то, о чем заговаривал собеседник, владевший, к счастью, обоими языками.

Перед изумленным Бородиным сидел лишенный и тени важности великий артист, один из знаменитейших музыкантов мира, и говорил без умолку. В ответ на его похвалы Бородин попробовал было заметить, что сознает сейчас недостатки своей первой симфонии: там есть много неловкого, слишком он злоупотреблял переходами из одной тональности в другую.

Лист закричал:

– Боже вас упаси трогать в ней хоть одну ноту! Вы на

отличном пути, уверяю вас. Не слушайте тех, кто станет вас поучать.

А ведь как часто пытались его поучать в Петербурге, сколько раз друзья и особенно противники пытались указывать ему на разные недостатки!

Лист продолжал с горячностью юноши:

– Не бойтесь быть оригинальным. Поверьте, это ваше право. Вы, музыканты России, из числа тех немногих, кто действительно имеет право на это! Помните, ради бога, что такие же точно советы давались во все времена: от них страдали Моцарт, Бетховен и многие другие.

Здесь, в этом домике, Бородин услышал о новой русской музыке больше, чем живя в Петербурге. В домике великого музыканта, среди моря бюргерской благополучной пошлости, с которой Бородин имел возможность познакомиться в последующие дни, царил дух истинной свободы и независимости.

Новое русское направление было принято Листом так легко именно потому, что оно было национальным и, стало быть, входило в общий поток духовных ценностей человечества. А доморощенные петербургские хулители писали, что это музыка трактиров и кабаков!

– Завтра ваша соотечественница будет играть у меня на уроке «Исламея». Приходите, месье Бородин, обязательно – вы должны послушать ее, мне очень хочется.

Побыв в атмосфере листовского домика, Бородин почувствовал себя еще ближе к родному искусству. Мысль, что он привезет друзьям признание такого музыканта, прославленного артиста, полное, решающее, веское, окрыляла его.

VI

Тем временем, отложив «Хованщину», Мусоргский принялся за другое. «Хованщина» требовала всех его сил, а тут он нашел сюжет для себя более легкий. Это была новая попытка вернуться к близкому его сердцу реализму Гоголя.

С «Женитьбой» не вышло: она так и лежала недописанная. А тут было нечто более простое и поэтичное. Это ему подсказал Осип Петров.

– Взял бы ты, Моденька, – сказал он однажды, – «Сорочинскую ярмарку». Всё там для тебя – и легкость, и живость, и народные типы… Вот получилась бы опера – характерная, веселая, с огоньком!

Мысль эта пришлась Мусоргскому по душе; захотелось сбросить на время гнет «Хованщины», уйти от идеи смерти, следовавшей за ним по пятам, пока сочинялись «Песни и пляски смерти». Да и в «Хованщине», по замыслу автора, сопротивление раскольничьей массы приводило к самоуничтожению. Именно потому, что Мусоргский был этим полон, он почувствовал потребность повернуть в сторону, от народного горя – к народному жизнелюбию. Тут и там перед глазами его стоял народ, в одном случае – истомленный страданиями, в другом – полный жизненных сил, веселья и юмора.

Переходя от одной крайности к другой, Мусоргский искал высшей для себя полноты.

Но чтобы писать «Сорочинскую ярмарку», надо было знать хорошо Украину – колорит ее жизни, запах полей, говор людей, характер народного юмора. Чуткий до правды, он боялся согрешить против нее, неверно уловить нужную ему интонацию. Необходимы были полные знания о Малороссии, а их не хватало – он чувствовал лишь, где именно искать правду.

Чем упорнее был Мусоргский в своих поисках, тем больше сомнений у него возникало. Он был так требователен к себе, что перестал доверять своему чутью и фантазии. Смелый во всем, не боявшийся уходить в далекое прошлое, в XVI и XVII века, Мусоргский в нерешительности остановился перед романтикой XIX века только потому, что национальная окраска ее была несколько иная. В конце концов, можно ли великороссу понять Украину, не окунувшись в ее жизнь, не соприкоснувшись тесно с ее людьми? Вот что его мучило.

Долго возился Мусоргский с образами Хиври, Параси, жил представлениями о них, и, после колебаний и сомнений, его снова потянуло на трагическое: он вернулся к судьбам Хованских,

Шакловитого, Голицына, Досифея и Марфы.

Что же хотелось Мусоргскому тут вывести? Если в «Борисе» идея была ясна и народ выступал в роли высшего судии, то чью правоту хотел отстоять автор в «Хованщине»? Раскольников? С чьей неправотой он спорил? С Петровой крутой повадкой, направленной и против интриг царевны Софьи, и против происков бояр, и против стрелецкой вольницы? Но ведь именно Петр взнуздал Россию и пусть насильственно, но повел по пути прогресса. Быть до конца с Петром Мусоргский не мог, потому что мысль о насилии властителей претила ему. Но он не мог не видеть и того, что ересь церковная не рождает передового движения. От народа, самой идеи народа невозможно было отступиться, но чутье художника не позволило ему приписать той массе, которую он вывел в «Хованщине», прогрессивные мысли.

Поэтому с таким трудом шла работа. Страстно хотелось вместе с народом ввести идею борьбы, даже революции, а тут мыслим был лишь мятеж. Но на мятеж толкала реакционная масса раскольников, и конец его мог быть только трагическим и печальным.

Друзьям казалось, что Мусоргский потому так трудно работает над «Хованщиной», что живет бестолково, разбрасывается. А не потому ли, в частности, сохраняя всю силу своего таланта, разбрасывался Мусоргский, что идея, владевшая им, душила его своей тяжестью и не давала расправить крылья так, как это было во времена «Бориса Годунова»?

Уйти от «Хованщины» было невозможно: слишком много замечательного он нашел. Но жить, создавая ее, с той же внутренней свободой, как в годы, когда сочинялся «Борис», было тоже немыслимо. Давила неразрешимость сюжета, а то гениальное, что уже найдено, не позволяло бросить работу на полпути и повернуть на другую дорогу.

Так кидался Мусоргский от «Хованщины» к «Сорочинской ярмарке» и затем опять возвращался к «Хованщине». Страдая от непосильной тяжести, живя до крайности неустроенно, он искал утешений и нередко находил их в ресторанном шуме.

В трактире «Малый Ярославец», который Мусоргский для себя облюбовал, бывали артисты, художники и писатели, но чаще набивался народ случайный, грубый, привыкший шуметь и скандалить. В этой обстановке Мусоргский становился донельзя вежливым. Окружающим было не понять, что это за чудачество и откуда эта редкостная деликатность там, где обычно ищут лишь повода для столкновений. Мусоргский не в силах был объяснить, почему он так держится, что оберегает в себе, какие заветы хранит чистыми и нетронутыми. Драма его состояла в том, что он

потерял душевную тесную связь с окружающими. Они не понимали его, он видел, но объяснить, в чем причина его беды, казалось почти невозможным. Невысказанная драма тяготила его все больше.

Теперь Мусоргский стал и Стасова избегать. Чего тот не делал, чтобы вернуть себе дружбу Модеста, но Модест от него ускользал. Появляясь у Стасовых в доме, он бывал так же внимателен и деликатен; затем исчезал надолго, и никак не удавалось напасть на его след.

Кто знает, доберись Мусоргский до своей «Пугачевщины», вырвись на простор истинно народного движения, он бы, может статься, снова воспрянул духом. Но в «Хованщине» сюжет был беспредельно мрачен, да и жизнь вокруг питала мрачные настроения. То, что составляет душу произведения, его идея, тяготило и угнетало своей неразрешимостью.

И все же писалось произведение гениальное – Стасов понимал это, как никто. Он видел, какие глубины вскрывает автор, с какой силой рисует большие социальные столкновения. И опять, как в «Борисе», была та же уверенность, что еще ни один музыкант так не писал.

Как ни противоречива была идея «Хованщины», создавал ее тот же художник революционного темперамента и демократ. Пусть вокруг господствовал дух наживы и газеты в болтовне о том, что пришел век здорового предпринимательства, пытались утопить идеалы 60-х годов, – Мусоргский оставался верен этим идеалам.

Отрываясь на время от своих опер, он писал романсы. Наряду с трагической балладой «Полководец», где снова возникла тема смерти – полководца, царящего над полем боя, – Мусоргского манили к себе мотивы народные. То у Алексея Толстого, то у Плещеева, то у Голенищева-Кутузова он находил близкие ему мотивы. Эти упражнения были нужны, как они нужны певцу для развития голоса: огромная по замыслу работа требовала таких упражнений, которые помогли бы на небольших вещах ощутить все могущество своего дара.

VII

Как-то сидя у Петровых, Модест услышал разговор Осипа Афанасьевича с женой:

– Так и пройдет, видно, печальная эта дата: никто не вспомнит.

– Не горюй, – сказала она. – У нас с тобой друзей настоящих много: кто-нибудь да вспомнит, увидишь.

Там, где речь шла о дружбе, Мусоргский не умел сохранять равнодушие. Он насторожился. Делая вид, будто его занимает что-то другое, он слушал, о чем говорят Петровы, и вдруг понял всё. Ах, стыд какой! Чуть было все не упустили из виду, что у Осипа Афанасьевича скоро юбилей. Пятьдесят лет на сцене! Исполнитель Сусанина, Фарлафа, Мельника, Варлаама, он прошел вместе с русской оперой весь ее путь. Театральная администрация могла бы замолчать такое событие, но друзья?

На цыпочках Мусоргский прокрался к выходу, решив скрыться незаметно. Оставаться в бездействии он не мог, но что делать, не знал. Он постоял в подворотне, затем передумал и вернулся. Анна Яковлевна вышла к себе; Петров один, что-то мыча вполголоса и разглаживая седые, в скобку, волосы, критически рассматривал себя в зеркале.

– Дедушка милый, простите нас, грешных! – начал Мусоргский. – Мы так погрязли в дрянненьких наших делах, что светлый праздник искусства чуть было не пропустили.

– Вот уж на тебя, Моденька, не рассчитывал, – сказал Осип Афанасьевич, оборачиваясь к нему. – Разве тебе с твоим простодушием это под силу? Ты прост, как дитя, а тут начнутся хлопоты, огорчения…

Мусоргский принялся уверять его, что за высшую честь для себя почтет взяться за организацию юбилея.

Петров слушал с сомнением.

– Ходить, выпрашивать, унижаться – нет, тебе, Модя, это не к лицу, да и мне тоже. Русский артист скромен, но горд. Уж лучше промолчать, чем на унижение натолкнуться. Мне твое имя так же дорого, как мое собственное.

Модеста, в практических делах флегматичного, на этот раз было невозможно унять.

На следующий день он с работы направился к Стасову:

– Вы всегда, Бахинька, были нашим Громогласовым. Надо, чтобы голос ваш прозвучал, как труба Иерихона, и разбудил всех глухих и сонных. Юбилей Осипа Афанасьевича не подарим никому – это дело наше.

Уговаривать Стасова не пришлось. Вдвоем, да еще привлекши Людмилу Ивановну, они стали обсуждать, с кем повести разговор и как действовать. Решили к администрации обратиться в последнюю очередь, сначала же привлечь общественные силы искусства. Мусоргский готов был ко всем обратиться, всех поставить на ноги. То, что руководить им будет Стасов, укрепляло его в решимости.

– Легче мне думать про нашу затею, раз вы за нее взялись, Владимир Васильевич. Уж мы с вами сие дело доделаем, я уверен.

Видя, что он увлечен, Стасов, как прежде, надавал ему поручений: какое кому написать письмо, к кому пойти, с кем встретиться – и Модест ушел воодушевленный.

С тех пор у Мусоргского только и было в мыслях, что юбилей. Когда он изредка появлялся на Подьяческой, Осип Афанасьевич пробовал утишить его:

– Оставь, Модя, не надо. Сам не рад, что при тебе разговор зашел. Меня и Анна Яковлевна за это бранит, видя, как ты хлопочешь. Не надо ни почестей, организованных по заказу, ни приветствий, написанных холодной рукой. Я в жизни этого холода боялся больше всего. Еще когда от начальства, так на то оно и начальство, а от друзей…

Мусоргский уверял его, что все откликаются искренне и что весть о юбилее задела всех глубоко.

– Не мертвечиной же люди питаются – им всегда нужно живое. Вы для всех, дедушка, выражение живого в искусстве.

Петров покачал недоверчиво головой:

– Вокруг живого, Модя, так много наросло, что настоящее сквозь него пробивается с трудом. Твой «Борис» тоже разбудил все силы общества, а вот когда его отодвинули, никто не возвысил голос протеста. И сборы делал, и успех был громадный, а победило не это – победила как раз мертвечина.

– Тут хоть на мнения газет могут сослаться, союзника нашего, господина Кюи, в пример приведут. А против вас, дедушка, ничего привести не возможно – у вас жизнь кристальная.

Как будто вразумляя своего друга, Петров наклонился к нему и произнес тише:

– У нас, Модя, с тобой есть общее: ты русский свободный дух показал во всей его силе и тем неугоден начальству; оно тебе сцены под Кромами никогда не простит. А мне Сусанина, Мельника, Варлаама… многого не простят.

– Чествовать вас все-таки будем!

– Ну, соберемся дома, велика важность. Я люблю вас, друзья мои, всей душой: при вас я чувствую себя не стариком, а гордым воителем. Придете сюда – посидим, вспомним старое, попоем, вот

и хорошо будет, вот и отрада мне.

Но дело, затеянное Стасовым и Мусоргским, успело уже превратиться в широко общественное. Администрация рада бы замолчать юбилей, но, видя, что его требуют все, пошла скрепя сердце на чествование.

Мусоргский был по-прежнему душой этого начинания. Он, случалось, и раньше относился крайне небрежно к службе, а тут, чтобы свидеться с нужным человеком, без колебаний пропускал работу. На него косились, угроза увольнения нависала над ним все серьезнее, но он об этом не думал.

Артистка Леонова, слышавшая про шаткое служебное положение Мусоргского, раза два заговаривала с ним об этом.

– Бросили бы вы, Модест Петрович, службу совсем. Вам, с вашим талантом, – и сидеть за канцелярским столом! Какой из вас столоначальник?

– До столоначальника не дослужился, Дарья Михайловна.

– Композитор с таким именем, гордость наша – и целый день корпеть над бумагами! Это ужас! Только у нас такое возможно: я полмира объездила, а подобного нигде не встречала.

Осип Афанасьевич, услышавший их разговор, сказал позже Мусоргскому:

– Она на тебя, Моденька, целится – решила привести в свой стан.

– Да какой же ей от меня интерес?

– Я тебе говорил – ты чист и прост, как дитя, а кругом люди практичные. Дарья Михайловна молодец, я ее за талант уважаю. Но она со сцены ушла – повернула в другую сторону. Знаешь, какой успех ей принесло турне по Азии и Америке? Это не то что наш брат: как ни пой, а господин Гедеонов тебя не заметит.

– Но от меня ей какая же польза?

– Этого я, дружок, не знаю. Наверно, все-таки есть: Дарья Михайловна о пользе помнить умеет.

Мусоргский, которому это было непонятно, продолжал возражать:

– Когда за «Бориса» труппа вступилась, она была в числе самых горячих.

– Потому что она артистка большая и вкус у нее настоящий. Поживем, Модя, увидим. А за то, что ты так хлопочешь, я тебя еще больше, кажется, полюбил. Не почет, а память мне дорога.

В эти дни прежние связи ожили: Шестакова, Стасов, все, кому дороги были слава и честь театра, сплотились теснее. Имя–Петрова было в числе тех, которые объединяют не только старых единомышленников, но и людей разных групп: и консерватория готовила делегацию, и Бесплатная школа, и Русское музыкальное

общество, и общество драматических писателей.

Устроители могли быть довольны: юбилей прошел с сердечностью и единодушием необыкновенными. Не только делегации – весь зал был полон чувства любви и благодарности к великому певцу. Холодный Мариинский театр, знавший разные официальные торжества, давно не помнил спектакля, на котором так сердечно приветствовали бы юбиляра.

Когда Петров в роли Сусанина появился на сцене, публика вся поднялась, и овация долго не давала возможности петь. Он стоял умиленный, растроганный и благодарным взглядом оглядывал ярусы огромного театра.

Мусоргский чувствовал себя счастливым. Он то вставал в ложе и вместе со всеми начинал неистово хлопать, то садился в изнеможении и украдкой вытирал платком слезы.

Казалось, вместе с этим радостным торжеством возвращаются для искусства хорошие дни. Раз общественные силы одержали победу, почему бы им не одолеть рутину и косность во всем?

Долго еще после спектакля, оставшегося у всех в памяти, Мусоргский ходил, полный надежд.

Но прошло немного времени, и Петрова из театра уволили. Еще воспоминания о юбилее не остыли, а он получил уведомление, что дирекция императорских театров переводит его на пенсию.

– Вот и допелся, вот тебе и юбилей! – с горечью встретил Модеста Осип Афанасьевич.

Мусоргский взял в руки бумагу, прочел.

– Ах, гадость какая! Какая, однако, гадость!

– Да-с. И тебе урок тоже, потому что очень уж ты веришь в добро.

– Без этого жить невозможно, дедушка.

Петров прищурился и задумчиво покачал головой. Сегодня, после удара, он был настроен невесело.

– Трудно без этого, да, но капля здравого смысла, как в драгоценном сплаве лигатура, нужна. Ты так горячо требовал одного только чистого, что, видя грязь, не сумел уберечься. Не честность свою не сберег, а стойкость… – Видя, что Мусоргский хочет что-то возразить, Осип Афанасьевич опередил его: – Я тебе, Моденька, не судья, я твою душу вижу. Но мне, как и Дарье Михайловне, больно, что такой огромный талант не все дает нам, чего мы от него ждем.

– К чему работать? – горько ответил Мусоргский. – Вот с вами по-гадкому поступили, моего «Бориса» отставили – и так повсюду.

– Я все-таки не сдаюсь и не сдамся, – сказал Осип Афанасьевич. – Я по-прежнему всею душой с вами. Вот принес бы

что-нибудь свое, я бы, хоть и горько мне, стал петь с тобой.

Мусоргский с грустью признался, что нового за последнее время ничего не создал.

VIII

На службе дела шли все хуже. Если бы кое-кто из начальства не знал, что за одним из столов сидит не просто писец-чиновник, а знаменитейший музыкант, дело давно кончилось бы увольнением: находились любители сочинять приватные рапорты, в которых сообщалось, что вчера Мусоргский опять отсутствовал, а на прошлой неделе просидел в задумчивости полдня, не приступая к делам.

Начальство приберегало такие рапорты до случая. Прочитав, оно вздыхало и предавалось размышлению о том, как беспутен все-таки русский человек: службу имеет, музыку своего сочинения ставит в театре, все блага государственные ему предоставлены, а он вместо благодарности неглижирует.

Однажды Мусоргского, когда он сидел за своим столом, позвали к начальнику департамента.

Он чуть было не запутался в поворотах коридора, которые до сих пор плохо знал.

В приемной пришлось прождать долго. Из окна видны были две осины с толстыми стволами. Листья на них после недавнего дождя чуть-чуть распустились и были нежно-зеленые. Зрелище это почему-то утешило Мусоргского, и он представил себе покой деревенской жизни.

Секретарь, выйдя из кабинета начальника, сказал:

– Пройдите-с.

Начальник, массивного сложения человек, хорошо подходил к мебели кабинета: он был тяжеловесен и грузен. Вид у него был весьма озабоченный, и на вошедшего он не взглянул. Мусоргский подождал, затем без приглашения опустился на стул. Начальник с удивлением поднял глаза и увидел большие, немного выпуклые глаза, смотревшие на него, бледное полное лицо, мягкую бороду, в которой серебрилась седина. Перед ним сидел человек чуть обрюзгший, одутловатый и, видимо, страдавший одышкой, но в выражении лица его было достоинство и благородство.

Решив, что в том обычном тоне, в каком он разговаривает с подчиненными, лучше объяснения в данном случае не вести, начальник выбрал тон покровительственно-озабоченный.

– Господин Мусоргский, я имею основания быть вами недовольным, – начал он и, подождав, добавил: – До меня дошли не вполне благоприятные для вас отзывы. Как прикажете поступить?

Мусоргский промолчал.

– Я имел бы полное основание предложить вам подать в

отставку. – На лице его появилось подобие улыбки. – К несчастью, я сам до некоторой степени любитель музыки. Ваша деятельность на этом поприще мне известна. Я полагаю, главное свое начертание вы еще выполните, когда придете в соответствующий возраст. В искусстве, надо думать, зрелость, как и на поприще государственном, приходит поздно. Мне не хотелось бы, чтобы судьба той или иной песни, которую вы сочините, зависела от того, насколько милостиво к вам начальство. Я иду поэтому на акт благосклонности… О чем вы сами хотели бы меня просить, господин Мусоргский?

– Я должен поблагодарить ваше превосходительство. Вы, видимо, понимаете, что на любой службе существуют обстоятельства, которые трудно сочетать с музыкальной деятельностью.

Начальник посмотрел на него неодобрительно: он ждал благодарности подчиненного и не предполагал выслушивать его рассуждения.

– По мере возможностей я старался сочетать одно с другим, – продолжал Мусоргский, – но бывали у меня и упущения.

Начальник кивнул, поощряя такое отношение к собственным ошибкам.

– Упущения, и притом немаловажные, – добавил он.

– Если возможно, я просил бы о предоставлении отпуска на летние месяцы. Быть может, несколько укрепив свое здоровье и занявшись вновь сочинением, я сумею более рачительно относиться к своим обязанностям по службе.

Начальник молча смотрел мимо Мусоргского, видимо, занятый важными государственными мыслями.

Он произнес:

– Я подумаю. Подавайте рапорт по начальству.

IX

Мусоргский поселился в деревне. Тихая петербургская мягкая природа, нежные краски и прозрачность воздуха, восходы, которые он встречал где-нибудь на крылечке, и закаты, которые он провожал то у ручья, то на лесной прогалине, принесли его душе покой. До сих пор Мусоргский был так полон мыслями о человеке, так поглощен его внутренней жизнью, прикован к его думам, что для созерцания внешнего мира оставалось места немного. А тут природа, тихая, скромная и гармоничная, явилась перед ним, как когда-то в детстве.

Утром, напившись свежего молока, Мусоргский уходил гулять. Крестьяне, встречаясь с ним, снимали почтительно картузы.

– Здравствуй, барин, – говорили они.

Потом, почувствовав, что он хоть и барин с виду, но какой-то при этом другой, стали величать его по имени и отчеству:

– Здравствуй, Модест Петрович.

Поглядывали на него с некоторым удивлением. Мусоргский был так прост и доступен, как будто в голове у него не все ладно: ни барства, ни строгости, ни важной осанки. Он очень любил гулять с ребятишками. Стоило им увидеть его, как они бежали навстречу. Как ни сложны были мысли Мусоргского, но с детьми, будь это в семье Дмитрия Стасова или же с деревенскими, у него складывались добрые и равные отношения. То, что он рассказывал детям, похоже было на импровизации, но казалось очень правдивым и захватывало их.

В это лето Мусоргский сильно продвинулся и в «Хованщине» и в «Сорочинской». Лето прошло мирно и ясно.

Но, вернувшись в Петербург, он попал в прежние условия. Теперь, кроме шестаковского, один дом у него оставался, где на него не косились и не спрашивали, почему он так беспорядочно, непутево живет. Осип Афанасьевич, отягощенный собственной бедой, отставленный от дела, которому отдал всю жизнь, понимал страдания человека, который идет не в ногу со временем и которому трудно дышать.

Мусоргский знал, что его здесь любят. Он мог сидеть и подолгу молчать. А то Осип Афанасьевич начинал при нем вспоминать прошлое: Глинку, свои скитания по Украине с водевильной труппой, провинцию и театр.

Согретый его рассказами, Мусоргский немного оттаивал:

– Хорошо мне в вашем доме, дедушка!

– На тебя, Модя, Людмила Ивановна и Владимир Васильевич

иной раз сердятся, а я тебя не виню. Горько мне, когда думаю о твоей жизни, но обиды нет.

Мусоргский сказал с горечью:

– Они думают, я свихнулся, а ведь я живу своими планами и полон ими. Иной раз даже сердце сожмется – так много мыслей в голове. Но как увижу мерзость окружающего, как вспомню про канцелярский стол, становится тошно и хочется забыться. Это слабость, пусть. А не слабостью было ли писать про моего «Бориса» гадости? Этого я бы никогда не смог.

Осип Афанасьевич слушал с сочувствием.

– Надо со службы уходить… А дальше что же будет? С твоей гордостью и неумением…

– Пойду в аккомпаниаторы, – усмехнулся Мусоргский. – Я когда с военной службы ушел, готовился стать тапером. Вот какой путь пришлось проделать, чтобы к этому же прийти! Доконала-таки меня жизнь… Владимир Васильевич – он другой складки: от библиотеки и книг ему не горше, а легче. А я вожусь с бумажной трухой, там ничего нет живого. Иной раз проснусь – свет в окне тусклый, день как следует не занялся, петербургский пасмурный день. В такую погоду взять под мышку портфель и плестись в канцелярию тошно. Может, смирения у меня не хватает. Но я полон замыслов, планов, дерзаний, поймите!

Осип Афанасьевич понимал драму великого композитора, как понимал и свою драму: напрасно он пытался уверить себя, что сделал в жизни всё и теперь остается лишь доживать: ни голос, которым он владел с прежним блеском, ни темперамент артиста не мирились с этим. Отставленный от театра, Осип Афанасьевич втихомолку страдал.

Он гас незаметно и зимой угас.

Когда Мусоргский, придя на Подьяческую, увидел в углах стола свечи, когда, пошатнувшись, заметил гроб и священника, он разрыдался. Несколько человек стояли в молчании около гроба. Мусоргский вышел в другую комнату и, как ребенок, начал плакать навзрыд.

Последний дом, где его принимали с теплом и любовью, был утерян. Мусоргского охватило невыносимое чувство одиночества. Вспомнились хлопоты по юбилею, горячность друзей, желавших в последний раз увенчать артиста славой. И вот великий певец в гробу и никогда больше не встанет…

Он не мог больше здесь оставаться. Квартира наполнялась людьми, их присутствие было еще тяжелее, чем одиночество.

Мусоргский тихо вышел из квартиры.

Печальны были эти похороны. Стоял зимний туманный день. Толпа медленно шла за гробом. Боясь отморозить лицо, терли

носы и щеки. Артисты хора не решились запеть на улице, и только возле открытой могилы зазвучала «Вечная память». Мерзлая земля плохо поддавалась лопатам. Когда кто-то указал, что край могилы сделан неровно и надо выровнять, а то гроб застрянет, пришлось с трудом отбивать замерзший слой. Все молча ждали, пока гробовщики выравнивали могилу.

Мусоргский поддерживал гроб. В тот момент, когда гроб начали опускать, он почувствовал, что руки слабеют и сейчас он уронит тяжелую ношу. Он сделал неимоверное усилие над собой. Гроб перехватили снизу веревками и стали медленно опускать.

Глядеть, как кидают в могилу землю, было невозможно. Отойдя в сторону, Мусоргский опять заплакал.

К нему подошла Людмила Ивановна.

– Моденька, не надо, – сказала она. – Вы о его жизни подумайте. Не страшно с нею расстаться, когда она такая светлая и большая.

– Мне за себя страшно, – признался он. – Теперь я совсем один.

– Что вы, милый! Вы наш и нашим останетесь. Мы все вас любим.

Мусоргский сжал ей руку и сквозь слезы произнес:

– Спасибо.

Но он тут же отошел еще дальше. Издали он наблюдал, как над могилой поднимается холм. Вот уже холм стал вровень со снегом, потом поднялся над ним. Нет больше дедушки, и никогда больше не будет звучать его голос…

Вспомнился «Полководец» – это было последнее, что пел при нем Осип Петров. Сознание одиночества сдавило сердце еще больнее.

Мусоргский пошел, не дожидаясь, когда начнут расходиться другие.

X

Как-то на углу Загородного ему попался Балакирев. Мусоргский узнал его со спины, по характерной определенности линий. Лучше было повернуть назад. Но интерес к человеку, которого он прежде так сильно любил, заставил его пройти еще несколько шагов. Балакирев, как человек нервный, почувствовал этот пристальный взгляд и обернулся.

Они кинулись друг другу навстречу. И, как будто не стояла между ними стена отчужденности, заговорили о прошлом – о кружке и Бесплатной школе. Балакирев снова вернулся к творчеству. Отдавая дань восточной теме, он возобновил работу над симфонической поэмой «Тамара». О себе он рассказывал так, словно и не уходил от друзей.

Ему было тяжело смотреть на располневшего, тяжело дышавшего Модеста. А тот, когда Милий остановился и, перекрестившись, отвесил поклон при виде иконы, почувствовал точно удар: он вспомнил обо всем, что их разделяет.

Но что-то вернулось к Милию: это не был насмерть перепуганный человек, шепчущий про себя непонятные слова. Вернулось прежнее: широкие интересы, умные мысли. Балакирев попробовал было даже заговорить тоном наставника, как будто Мусоргский – тот же ученик. Это было наивно, печально, но тронуло сердце Модеста.

– Давайте, Мусорянин, как прежде, видаться. Я многого из того, что вы написали, не знаю. А сейчас что сочиняете?

Мусоргский ответил невнятно – что-то такое, что могло показаться значительным, но могло быть и ничем.

Балакирев посмотрел на него с опасливым недоверием и пробормотал в ответ:

– Ну-ну… Я-то думал, вы за пояс заткнете всех. Мне Бах про вас много рассказывал. Мы с ним встречаемся.

Узнав, что Мусоргский на волосок от увольнения и даже на службу бросил ходить, Балакирев забеспокоился:

– Владимир Васильевич знает про это?

– Зачем ему знать? Я, слава богу, сам по себе. Они меня осуждают, – сознался Мусоргский, – за то, что я с Наумовыми вожусь. А Наумовы люди сердечные, он добрейшей души человек. Семья его столько для меня сделала, что уйти от них и забыть всю их доброту было бы просто неблагородно.

Балакирев в ответ произнес с прежней своей прямотой:

– Мне сказывали, он на вас дурно влияет. Правда, что вы ему поддались?

– Все это выдумки, чтоб меня унизить, – с обидой сказал Мусоргский. – Все вы гордые, а я без гордыни. Я человеку с душой прощу, если у него ума меньше.

– Но вам надо работу найти, – резко сказал Балакирев.

– А! – Он беззаботно махнул рукой.

Так на улице они и расстались. Но Балакирев не успокоился. Придя к Стасову, он заявил, что друзья обязаны что-то сделать, чтобы спасти Мусоргского.

Стасов был в самом деле зол на Модеста. Он резко сказал:

– Его Наумовы губят. Я этих темных людей не желаю знать, а он на меня дуется.

– Владимир Васильевич, тут дело в другом. Что такое нужда горемычная, вы не так близко знаете, как я. Надо место найти для него, да не чересчур строгое. Есть у меня друг, Тертий Иванович Филиппов, – человек высоких нравственных правил и религиозный. Может, к нему обратиться? Он поймет.

При упоминании о религии Стасов поморщился:

– Почему же сей муж совести для вас это сделает?

– Нас сблизила вера, – ответил Балакирев коротко.

– Хоть бы что-нибудь другое!

Но предложение встретиться с Филипповым он не отклонил.

Тертий Иванович оказался человеком доброжелательным. Мусоргского он знал, творения его ценил высоко, помочь ему готов был искренне. Сухощавый, строгий похожий на старообрядца, он даже не улыбнулся, когда сказал:

– Вы хотите, господа, чтоб я для вашего друга нарушил правила, кои обязательны во вверенном мне учреждении? Это грех, разумеется. Что ж, поделим грех между нами троими.

– На мою долю хоть всё кладите, – шутливо сказал Стасов.

– Надо спасти для России Мусоргского. Все, что в моих силах, попробую сделать. Пускай Модест Петрович подаст заявление о зачислении его в ведомство Государственного контроля.

– Только, Тертий Иванович, он и у вас станет манкировать, – предупредил Балакирев.

Филиппов вздохнул:

– До той минуты, пока можно, буду терпеть.

Когда вышли от него, Стасов заметил:

– А он ничего. Знаете, Милий, он мне даже понравился.

– Я ж говорил: высоких моральных понятий человек.

Мусоргский не знал, что о службе для него хлопочут друзья. Уволенный из Лесного ведомства, он отнесся к этому довольно беспечно. Кое-какую надежду он питал на Бесселя, напечатавшего «Бориса Годунова» и другие его произведения. Должны же были там накопиться хоть небольшие деньги!

Бессель долго считал, сколько причитается автору: и за право печатания, и за право постановки «Бориса Годунова» на сцене, и поспектакльные отчисления – всё сосчитал. Вышло что-то около семисот рублей.

– Только всего я и заработал – за всю жизнь?! – с удивлением спросил Мусоргский.

Бессель щепетильно ответил:

– У меня, Модест Петрович, копейка в копейку, ничего не пропущено. Точный итог таков: семьсот один рубль, ноль пять копеек. Извольте посмотреть сами.

– Да ну нет… Не много же дали мне сочинения!.. А за вами, Василий Васильевич, что остается?

– Большую часть этой суммы вы в разные сроки забрали. Тут у меня каждое получение записано.

– Сколько же я могу теперь получить? – нетерпеливо справился автор.

Бессель опять принялся подсчитывать. Он бросал на костяшки суммы, что-то вычитал…

– Рублей тридцать пять. Это уж я закруглил, а то тридцать четыре с копейками получается.

Мусоргский был жестоко разочарован: он надеялся получить значительно больше.

– Ну хоть пятьдесят дайте.

В лице издателя появилось выражение холодной отчужденности; сделав усилие над собой, поборов свое нежелание, он сказал:

– Только из уважения к вашему славному имени… Теперь уже долго от меня ничего не ждите, Модест Петрович.

Мусоргский вышел от него, сознавая себя вновь богатым. Но денег хватило на несколько дней: и Марии Измаиловне надо было отдать, и в трактир, где он задолжал, да и горестный денежный итог своей двадцатилетней работы надо было чем-то заглушить.

Когда Балакирев разыскал его, он был совершенно без денег. Узнав, что для него нашли новую службу, Мусоргский не обрадовался и не удивился:

– Опять кропать исходящие? Что же, Милий, буду кропать.

– Я занимаюсь тем же.

– Вот мы с вами и два сапога пара. Давайте пойдем моего «Бориса» послушать. Хоть обкорнали его, как пуделя, а снять совсем не решаются: редко-редко, но дают.

Условились пойти в театр.

Снова был горячий прием, и публика вызывала автора. Мусоргский, хотя явился в театр в визитке, решил, что она слишком потерта: он не вышел на вызовы.

С горестным наслаждением слушал Балакирев музыку, так хорошо знакомую ему. Прошлое вставало перед ним – славное, богатырское прошлое.

Сцену в келье сняли, потому что она будто бы задевала религиозные чувства. Балакирев, сам теперь религиозный до ханжества, думал, что она бы как раз ничего в нем не задела и не оскорбила. Он помнил ее величавое течение, ее строгий возвышенный тон и страсть, кипевшую под обличием спокойствия. Странное дело: хотя Балакирев, казалось бы, ушел от мирских страстей, все было ему близко в «Борисе». Разбуженные театром, мелькали в воображении образы «Тамары». Он вновь сознавал себя человеком, для которого вне искусства жизнь пуста.

И сцену под Кромами давно исключили, потому что она будто бы не имела прямой связи с главной идеей оперы – раскаянием Бориса, и далеко не лучшие исполнители пели сегодня, и великого Осипа Петрова в роли Варлаама не было, а опера жила, волнуя театр и вызывая бурю восторга.

Мусоргский не в состоянии был оторвать глаз от сцены.

– Не умерла моя опера, – бросил он, – самому даже удивительно! Жаль, что кельи нет, люблю я ее. Корсинька обещает поставить в одном из концертов Бесплатной школы.

Болезненная гримаса появилась на лице Балакирева: упоминание о школе до сих пор было для него мучительным.

Вышли из театра – никем не узнанные – автор и его бывший друг: младший ревизор Государственного контроля и конторщик Варшавской железной дороги.

Стоял зимний погожий вечер, мороз был не сильный, тротуары были в инее; под фонарем он блестел и играл. Мусоргский, заметив играющий след, осторожно обошел его, не желая затаптывать.

– Модест, – спросил Балакирев после долгого молчания, – а дальше что же будет?

– Писать хочется.

– Вам надо бросить пагубную привычку.

Мусоргский незаметно усмехнулся. «А религиозное ханжество разве не пагубно тоже?» – подумал он, но не сказал.

– Летом пожил в деревне и, представьте, Милий, влюбился в природу. Хочется уехать из Петербурга: зимой он чужим кажется и гнетет меня, а летом душит.

– Куда поехать-то? – неодобрительно сказал Балакирев. – Нет же у вас ни гроша за душой. Только поддержку Тертия Ивановича потеряете, не на кого будет тогда опереться вовсе.

– Он доброй души человек, – отозвался задумчиво

Мусоргский, – только и он меня не разумеет: суров, требователен, а мне нужно другое.

Балакирев, готовый смиренно отбивать поклоны перед иконами, на этот раз с прежней своей строптивостью возразил:

– Мало ли что кому нужно! Разве на том жизнь построена, чтобы каждый добивался того, что ему надобно? Как раз в том, чтобы подавлять желания, состоит задача самовоспитания.

– И это говорите вы, Милий?! Такой неукротимый человек!

– Я подавил в себе страсти и за это господа бога благодарю. Вот если бы и вы так же – были бы еще у вас светлые времена.

– Нет, Милий, я тот же, кем был. Меня, наверно, другое время вскормило.

– Да ведь это время крамолы было!

Мусоргский покачал головой и без всякого вызова ответил:

– Духом крамолы я живу до сих пор – в этом, Милий, главная запятая. «Бориса» писал, полный им, и «Хованщину», и даже «Сорочинскую». Выше всякой земной и небесной власти признаю лишь одну – народную. Народ страдает, бунтует, режет правителям головы, заблуждается, сжигает себя, по темноте своей, на костре – мне он всё дорог, и писать буду только о нем.

Балакирев хотел возразить, но в душе его художник не умер, и слова друга дошли до него.

Прощаясь, он дольше обычного удержал руку Модеста и с печальной примиренностью произнес:

– Дай вам бог счастья! Для себя я его не жду, а вам от души желаю.

XI

– Ну, и дальше что же будет? – говорил, бегая по маленькой комнате, Стасов. – Тертий Иванович недоволен. На всю вашу манкировку он смотрит сквозь пальцы, но служба есть служба. Вы приличия самого малого и то не соблюдаете – совсем перестали ходить!

Стасов то и дело задевал за стул. И, может быть, потому, что стул был единственный, а Мусоргский сидел на кровати, ему не хотелось садиться, и он раздраженно бегал по комнате.

– Слишком он в бога верует, ваш Филиппов.

Стасов с еще большим раздражением накинулся на него:

– Оставьте вы бога при нем! Хотя бы то поняли, что он в вас верит, – вот в чем его добродетель. Вы, надежда русского искусства, музыкант громаднейший, живете так, что прямо неловко и совестно. Ну что за комнатка, что за обстановка? В арестантской и то лучше. Тут писать невозможно.

– Это верно, – согласился Мусоргский.

Стасов продолжал бушевать, а сам с тревогой видел, что Модест относится к этому безучастно и если отвечает, то коротко и неохотно. Нет, это не прежний Модест, с горячим умом и живым ко всему интересом! Мусоргский был где-то за пределами досягаемости.

И в самом деле, немного погодя Мусоргский, без всякого внешнего побуждения, сообщил:

– Мне уехать хочется, посмотреть, как трава в поле растет.

– Уехать? – недоверчиво переспросил Стасов. – Куда?

– Дарья Михайловна зовет в поездку двинуться с нею, – ответил Мусоргский нерешительно.

Он знал, что Стасов отнесется к этому плохо, однако не предполагал, что тот опять перейдет в атаку.

– Леониха-то? Вот тоже, связался черт с младенцем! Дарья Михайловна дельная баба, но прижимиста и все из вас вытянет!

– Прежде всего, она прекраснейшая артистка. Я, Бах, не желаю слышать про нее ничего дурного.

– Прикажете, стало быть, замолчать? Подумаешь, удача какая – Леонова им занялась! У нее, знаете, губа не дура: такого пианиста, такого первоклассницейшего музыканта в таперы себе приспособить! Ведь это какую дерзость надо иметь!

– И не тапером вовсе, а полноправным участником. Мы хотим искусство настоящее пропагандировать. Россия наша живет отбросами, питается опереткой, дешевкой последнего разбора. А мы с Дарьей Михайловной Глинку, Шуберта, Даргомыжского,

Шопена повезем… Свое буду исполнять.

Стасов не сдавался:

– Что хотите со мной делайте – я ей не верю. Попомните мое слово: останетесь в проигрыше.

– Она благородно со мной поступает: видит, что мне тут невмоготу, и хочет помочь. Об этом больше думает, чем о собственных интересах.

– Дитя, простодушный ребенок! Да где она такого аккомпаниатора еще найдет? Вы знаменитый композитор, член могучего объединения – пристала ли вам такая мелкотравчатая затея? По России в качестве аккомпаниатора проехать – ведь вы авторитет нашей группы уроните! Об этом, Модест, вы подумали?

«Группа»! – подумал с горечью Мусоргский. – «Могучее объединение»! Где оно? В чем оно? В том, что Кюи первый бросил в него ком грязи? Что Римский-Корсаков, забравшись в свою ученость, махнул на него рукой и считает конченным человеком?»

– Дорогой Бахинька, – давно он так не называл Стасова, – разве я со своим скромным именем могу кого-либо опозорить? Упаси бог! Я балакиревского «Исламея» буду исполнять. Дарья Михайловна романсы Глинки, Даргомыжского, Корсиньки, Бородина будет петь – какой же здесь урон авторитета?

– Как хотите, а только Дарья Михайловна ваша мне не по сердцу.

– Она человек доброй, широкой души. Мне больше всего теперь от людей доброты хочется.

– Кабы зла не было, и то ладно, а то еще доброты захотели! Да ведь вы кремень, вас разве переспоришь? – Он протянул свою длинную, крупную руку, как будто предлагая примирение. – Писать-то хоть с пути будете? Я все время буду за вас в тревоге.

– На писания, Бахинька, я горазд, – ответил Мусоргский с облегчением, видя, что тот сдался. – В писаниях мой дух чист и бодр.

Он с охотой пожал протянутую ему руку. Стасов оставался верным его другом: из-за такой малости, как поездка по Украине, не стоило, в конце концов, ссориться и рвать давние, прочные отношения.

XII

И вот уже поезд вез их на юг. В купе сидело трое: Леонова, ее спутник и он. Гриднин, человек обходительный и услужливый, старался во всем показать свою заботу о Мусоргском. Он сам прежде что-то писал в драматическом роде, но от искусства давно отбился. Жизнь его была ныне связана с Дарьей Михайловной. Голос у Дарьи Михайловны, хотя лет ей было немало, сохранил свою красоту и вполне мог бы прокормить обоих. Следовало только как следует аттестовать его перед публикой.

Гриднин взял на себя выпуск афиш, устройство помещений и все другое; ему льстило, что он везет по России двух таких больших артистов, и он без конца твердил:

– Вы, Модест Петрович, о житейских делах не тревожьтесь – это забота практиков. Наша участь этим заниматься, а вы, художник, думайте лишь о собственном покое.

Для того чтобы покой был полнее, Гриднин то и дело доставал из большой плетеной корзины закуски, развязывал пакеты, раскладывал на столике салфетку и непременно ставил бутылочку коньяка или водки.

Леонова, сильно располневшая за последние годы, с массивной фигурой и крупными чертами лица, с немного тяжелым взглядом больших глаз, со снисходительной нежностью наблюдала эту слабость Мусоргского. Чего не может позволить себе большой человек! Когда после первой рюмочки разговор заходил о второй, она ласково разрешала:

– Что с вами поделаешь, раз уж так хочется! Я, Модест Петрович, ни в чем не могу вам отказать.

Вначале Мусоргский пробовал было уклониться от их попечений:

– Лучше я, Дарья Михайловна, голубчик, до буфета дойду и там чего-нибудь захвачу.

Но они и слышать об этом не хотели.

– Какие тут могут быть счеты! – говорил Гриднин. – Едем вместе – и едим, стало быть, из одних запасов. Иначе и не думайте, Модест Петрович.

Оба так очаровали Мусоргского, что он не раз думал, как несправедливы были Шестакова и Стасов. Леонова – артистка с головы до ног и человек во всем независимый. Не поладив с театральной администрацией, она ушла со сцены; уйдя, объездила полмира; теперь решила нести искусство в провинцию. Чем не задача? Почему бы ему, человеку без крова, не отозваться на такое предложение? Помимо всего другого, Гриднин и

Леонова уверили Мусоргского, что он с гастрольной поездки привезет не менее тысячи. Тысяча рублей, шутка ли? Он тогда и «Хованщину» и «Сорочинскую ярмарку» доведет до конца.

Но деликатный Мусоргский вскоре почувствовал себя не совсем ловко. У спутников были какие-то свои отношения: то Дарья Михайловна обратится к Гриднину с такими нежными словами, которые говорят только с глазу на глаз, то у нее с Гридниным начнется донельзя практический разговор: к кому обратиться в Полтаве, наносить ли визит губернатору или нет, сколько за зал отдать и можно ли там торговаться.

Гриднин в таких случаях говорил с удовольствием:

– Вам, моя драгоценная, нельзя, а мне можно. Я как нельзя лучше все оберну, будьте спокойны.

Во время таких разговоров он посматривал на наивного музыканта поощрительно, как бы снисходя к его полной жизненной непрактичности.

Мусоргский в этих разговорах участия не принимал, он смотрел в окно. Если бы не пыль, которую заносило в вагон, хорошо бы высунуться совсем и подставить себя встречному ветру! Он сидел в рубашке, без пиджака, с расстегнутым воротом, с засученными рукавами. Ветер, несшийся навстречу, приносил с собой ощущение стремительности и отрады.

Мусоргский наслаждался. Давно он так не ездил, давно не глядел на простой божий мир. Мир этот, оказывается, прекрасен, несмотря ни на что. Он прекрасен, раз существует такой ветерок, раз такие краски сочно лежат на лугу, над лесом и выше, до самого неба, и небо безоблачно чистое. В Петербурге такого неба нет, думал он, и краски жухлые, побуревшие. Мысль о Петербурге вызывала бессильное ожесточение; лучше было совсем не вспоминать о нем, раз здесь так хорошо.

Когда попали в Полтаву, Мусоргский пришел от нее в восторг.

Какое все благодатное! Воздух мягок до примирения, до забвения всякого зла; краски подобраны так, что, куда ни глянь, составляют нежные и гармоничные сочетания.

В пути никто на станциях не ругался, и отовсюду доносилась певучая украинская речь. Мусоргский жадно прислушивался к говору, ловил оттенки и особенности интонации, каждую шутку старался запомнить, точно она помогала ему раскрыть внутренний мир Украины, и сличал с тем, что изобразил в своей «Сорочинской». Чутье говорило ему, что он не погрешил против правды: то, как он себе рисовал Украину, не расходится с тем, что теперь ему открывается.

В Полтаве Мусоргского поразили стройные пирамидальные

тополя, черные по вечерам на фоне совершенно синего неба. Он видел Малороссию, увековеченную Гоголем, и все было в ней мило и дорого, и все он воспринимал горячо.

Чувство благодарности к Леоновой, вытащившей его из мертвого Петербурга, росло. Мусоргский оставлял без внимания деловые разговоры, которые теперь без всякого стеснения велись при нем. С Гридниным Дарья Михайловна держала совет, кого из местной знати надо посетить: одни в имениях, другие за границей. На первый план выступал тот практический разум, который Мусоргскому был недоступен.

Впрочем, кое-что в поведении спутников озадачивало его и даже коробило. В пути, например, толковали о том, что сбор в Полтаве будет отличный, Гриднин ручался за это честью. А тут, хотя билеты раскупались очень бойко, тот же Гриднин вдруг заявил, что на хороший сбор рассчитывать не приходится – расходы оказались непомерно велики. Да и Дарья Михайловна все время выставляла себя пропагандистом русской музыки, а когда дело дошло до концерта, сказала:

– Модест Петрович, миленький, надо бы нам с вами кое-что посмотреть… Знаете, публика – она капризна. Ей надо угодить. – И подсунула ноты Мейербера и Гуно.

«Бог с ней! – подумал он. – У каждого свои слабости. Зато певица она все же отменная».

Мусоргский терпимо отнесся и к тому, что Гриднин, отдавая в печать афишу, очень странно назвал те номера из «Бориса Годунова», которые должен был исполнять их автор.

– Знаете, Модест Петрович, публика доверчива, ей приманка нужна, ее надо и именем взять и чем-нибудь остреньким. Я вот как тут обозначил… – Гриднин поднес к глазам Мусоргского первый экземпляр афиши, доставленный из типографии: – «Венчание царя Бориса под великим колокольным звоном при народном славлении». Ничего звучит? А второй нумер будет у нас назван так: «Вечерняя прогулка гостей в садах сандомирского воеводы Мнишека». Оно как будто заманчивей.

Мусоргскому казалась смешной и неприятной эта дешевая картинная раскраска, но он согласился, только бы не вступать в пререкания. Ко всем этим хлопотам он относился безучастно.

Его больше привлекали прогулки по городу, возможность слушать мягкую украинскую речь, глядеть с балкона вечером на полную луну – такую же, какая во времена Мазепы глядела на город и на сады Кочубея.

Концерт прошел очень хорошо. Несмотря на жару, публики собралось множество. В первых рядах сидели знатоки и любители, помнившие по Петербургу имена Леоновой и

Мусоргского. Кроме того, Леонова успела побывать в нескольких именитых домах и была там принята ласково. Она и Мусоргского с собой возила и представляла его всем как автора знаменитой оперы. Словом, все было сделано для того, чтобы завоевать благосклонность публики. И в самом деле, каждый номер провожали долгими аплодисментами.

Мусоргский, появившись в качестве солиста, с такой великой свободой стал играть, так изумительно изобразил густой колокольный перезвон, с такой звучностью и переливами, что в зале собрания возникла картина не то величального торжества, не то могучего церковного праздника, не то грандиозного народного движения. Когда он кончил, грянула буря аплодисментов.

Мало кто знал, что за пианиста они слушают; да и как композитор Мусоргский был большинству неизвестен, но музыка его выглядела так, как будто она родилась в недрах народной жизни давно и только переложена на фортепьянные голоса. Лишь немногие ценители поняли, какое это великое творение, но все приняли его с воодушевлением.

Леонова выступала в костюмах, исполняя целые сцены. Мусоргский, играя все на память, заменял, казалось, целый оркестр. Впечатление было такое, будто это театр и перед зрителями возникает кусок большой жизни, которою живут в столице.

Под пирамидальные тополя, которые росли перед зданием, пришло в самом деле большое искусство. Под окнами зала собралось много слушателей. Число их все увеличивалось, и к концу концерта возле дворянского клуба стояла толпа. Не шевелясь, слушали доносившуюся в раскрытые окна игру. Кто играет, не знали, но что играют удивительно, было понятно всем.

Гриднин выбежал на крыльцо в одном жилете. Ему было жарко. Окинув толпу деловым взглядом, он с досадой подумал: «Эх, не нашлось в городе лучшего помещения, а то можно было бы много еще билетов продать!»

Впрочем, план турне был составлен так, что по второму концерту нигде не давали: считалось, что провинция и один с трудом примет.

Мусоргского и Леонову в артистической поздравляли, обнимали, благодарили. Просили на обратном пути заехать снова. Говорили, что такого концерта Полтава еще никогда не слышала.

Но, когда на следующий день Дарья Михайловна и Гриднин сели считать доходы, оказалось, что их совсем мало. Точно опасаясь, чтоб третий участник не усомнился в подсчетах, они

стали подробно припоминать, на что ушли деньги: гостиница, питание в пути, зал, прислуга, афиша, извозчики… Мусоргскому было неловко, что они так стараются, как будто он мог не поверить им.

Та же история повторилась в Елизаветграде, в Одессе, в Херсоне. Материальных благ поездка Мусоргскому не приносила. Он, впрочем, примирился с этим: уже не первый раз жизнь подносила такие сюрпризы и опрокидывала его планы.

Он радовался тому, что природа на юге благодатная; что в Елизаветграде удалось побывать там, где провел свою юность Осип Петров; что почти в каждом городе встречались люди, судившие об искусстве тонко и метко; что за аккомпанемент к шубертовскому «Лесному царю» его чуть не на руках носили; что «Рассвет на Москве-реке» и «Марш стрельцов» из «Хованщины» принимали отлично; что гадание Марфы вызывало тоже бурные одобрения, – что, словом, истинное искусство, пропагандируемое двумя артистами, проникло в провинцию и, стало быть, поездка если не материальные, то большие духовные результаты принесла.

Но в тех случаях, когда публика принимала хуже, Мусоргский терял свое мужество, и самые печальные мысли овладевали им.

В Ялту прибыли вечером. Мест для них не нашлось, город был переполнен приезжими. Гриднин метался по гостиницам и вернулся ни с чем. Вообще, как ни странно, все обещая, он ничего не умел устраивать. Он был из числа тех, кто ценит собственные усилия независимо от того, приносят ли они результат. Когда ничего не выходило, Гриднин начинал сердиться.

– Номеров нет, – сказал он недовольно. – Придется в частном доме ночевать. Идемте, господа, я условился тут в одном месте.

Леонова и Мусоргский сидели в порту на скамейке. Вечер был темный, звездный, мимо ходили гуляющие, а они, как бездомные, с чемоданами, ждали уже часа два, не зная, где проведут ночь.

Когда Леонова выразила было неудовольствие, Гриднин, обычно покладистый, заворчал:

– Вы отдыхали тут, а я избегал весь городишко. Говорят: «Ялта, Ялта!» А что в ней хорошего? Грязь и убожество!

Он подозвал татарина, и тот взвалил на плечи чемоданы.

В комнатке, которую раздобыл Гриднин, действительно было убого: низкий потолок, маленькое оконце, воздух спертый.

Мусоргский вышел на улицу и долго не возвращался. Уже и раньше в подобных случаях его охватывала тоска. В комнате, он знал, Леонова и Гриднин ссорятся, упрекают друг друга в каких-то непонятных денежных прегрешениях. Когда оба в минуту

затруднений стирали с лица налет возвышенного, когда в облике большой артистки проступали черты житейской практичности, ему становилось особенно грустно.

Всю ночь Мусоргский не спал. Козлы скрипели, пружины матраца резали бок. Потихоньку вздыхая, Мусоргский никак не мог объяснить себе, почему он здесь, оторванный от друзей, одинокий, и с какой стати он сделался аккомпаниатором.

Следующий день прошел неудачно: афиши оказались плохими: зал, снятый Гридниным, был беден и мал. Гриднин ходил злой, от его услужливости не осталось и следа.

Сколько надежд возлагалось на Ялту, как часто Леонова и Гриднин уверяли Мусоргского, что публика тут изысканная и валом повалит на их концерт! Нет, публики собралось мало, и слушали невнимательно.

Мусоргский играл через силу, Леонова тоже, казалось ему, поет без подъема. С трудом провели первое отделение.

Войдя в артистическую, Мусоргский тяжело опустился в кресло. Он сидел свесив руки, сутулый, с спущенной головой и чувствовал себя беспредельно несчастным.

Но судьба, видно, над ним сжалилась. В артистическую вбежала какая-то женщина и кинулась к нему:

– Модест Петрович, дорогой, как же это мне ничего не сообщили, ни о чем не предупредили? Да разве можно так концерты устраивать? Да ведь я бы всех оповестила, всех подняла на ноги!

Перед ним стояла дочь Стасова, Софья Владимировна Фортунато. При виде ее Мусоргский чуть не расплакался: что-то близкое и родное пришло сюда вместе с нею; не стало прежнего одиночества и мыслей о заброшенности.

Софья Владимировна начала расспрашивать, какими судьбами он здесь; она познакомилась с Леоновой. Уже и Гриднин вертелся около них и жаловался на то, что город анафемский: нигде этого не было, а тут они на мели оказались.

– Да разве так надо было начинать? – И тут же Софья Владимировна решила: – Завтра все необходимо повторить, я сама за это возьмусь. И вовсе не в этом зале. Я как увидела имя Модеста Петровича на афише – глазам своим не поверила: решила, что недоразумение какое-то. Просто из любопытства пришла посмотреть. Ну вы, Модест Петрович, никогда ничего не умели устраивать, но вы… – И она обернулась к Гриднину.

Стараясь выглядеть светским мужчиной, он развел руками, показывая, что перед ее энергией и обаянием пасует.

Конец концерта прошел так же вяло, но присутствие Софьи Владимировны изменило для исполнителей все. Мусоргский и

Леонова только для нее, казалось, и пели, только к ней и обращались; вместе с нею в зал как будто проникли другие ценители музыки, и теперь было для кого выступать.

На следующее утро Софья Владимировна принялась за хлопоты. Она перетащила приезжих из грязной комнатушки в лучшую гостиницу города, затем пустила молву о том, что в Ялте проездом выдающиеся петербургские музыканты. При гостинице был зал лучше того, в котором вчера выступали, и концерт был устроен здесь.

На этот раз концертанты имели большой успех. Опять Гриднин суетился, довольный публикой, городом, сбором. За день он успел побегать, и ему казалось теперь, что это именно он повернул мнение общества в пользу концертантов.

В Ялте, по настоянию Софьи Владимировны, пробыли несколько дней: артистов приглашали к себе наперебой, они ездили по окрестностям. Софья Владимировна не отпускала от себя Мусоргского ни на шаг, и снова ему казалось, что он окружен превосходными людьми, что все о нем заботятся и все отлично разбираются в современной музыке.

Не хотелось в эти дни думать о том, что осталось горького позади, и о том, что ждет их в других городах.

А ждало разное. В иных случаях приходилось для успеха играть в одной программе с водевильной труппой. Рядом с отрывками из «Бориса» давались то «Женщина Отелло», то оперетка «Женское любопытство», то водевильчик «Странное стечение обстоятельств», то еще худший водевиль – «Бенгальский тигр, или Ревнивый муж и храбрый любовник». После этого выходила Леонова и пела отрывки из «Сусанина» Глинки.

Мусоргский, участвуя в этом, утешался тем, что есть на свете отличные люди и, куда ни приедешь, везде любят искусство; что есть в жизни небо, солнце, широкая и привольная, как душа дедушки Осипа Афанасьевича, степь, изумительные тополя, мягкая украинская речь.

Ему казалось, что он набрался за поездку сил и терпения для унылой петербургской жизни.

XIII

В Петербурге все оказалось прежним: и служба до вечера, и безденежье, и Наумов с женой.

Мусоргский вернулся бодрый, сбросивший с себя, как ему казалось, груз лет. Но из того, что он привез с собой нового, только «Песнь Мефистофеля» на слова Гёте понравилась друзьям; «Близ южного берега Крыма» и «Гурзуф у Аю-Дага» оставили их равнодушными. Друзья решили, что он слишком увлекся изобразительной стороной, а идею пьес не разработал. «Буря на Черном море», нравившаяся ему, тоже вызвала недоумение; талантливого было много, но тоже лишь в изобразительном плане: волнение, звуки прибоя. Замысел, форма казались настолько беспорядочными, что в фантазии, которую Мусоргский играл с таким увлечением, друзья не увидели ничего, что стоило бы его таланта.

После встречи с ними он ушел вконец расстроенный; опять все то же: непонимание, охлаждение, одиночество.

Потянулась унылая полоса. Мысль о службе вызывала отвращение. К «Хованщине» возвращаться не хотелось: чтобы продолжать оперу, нужен был душевный подъем; в состоянии упадка и безнадежности невозможно было возвращаться даже к уже написанному.

Тертий Иванович щадил Мусоргского сколько мог. Через Балакирева он передавал просьбы приходить на работу хоть для вида.

– Ведь большой же совести человек! – говорил он Балакиреву. – Попробуйте его, Милий Алексеевич, усовестить.

Сам всю жизнь служивший, он никак не мог понять, как это чуткий и деликатный Мусоргский пренебрегает своими обязанностями.

Балакирев знал, что уговоры ни к чему не приведут. Страшнее всего было упрямство деликатного человека, потому что деликатность и мягкость лишь прикрывали то, что он уже решил.

Мусоргский служить не желал. Он готов был делать все, хоть тапером играть, только бы не ходить в департамент. Высиживание часов, томительное ожидание минуты, когда можно будет наконец сложить бумаги и отправиться восвояси, изнуряли его. Он чувствовал себя опустошенным. Куда теперь пойти? Не «Хованщину» же писать в таком состоянии! Он готов был куда угодно отправиться, только бы не оставаться наедине с собой. Чаще всего он отправлялся в «Малый Ярославец»: там хоть

видимость жизни была – если не искусство, то хотя бы разговоры о нем. Каждый высказывался свободно. Мусоргский просиживал в трактире до поздней ночи и домой возвращался мрачный, стараясь не думать, что утром его ждет та же постылая служба.

Однажды Филиппов, позвав Балакирева, сказал:

– Больше, Милий Алексеевич, не могу. Я и так взял на себя грех немалый. Нельзя спрашивать с других, если потакаешь во всех слабостях одному. Он подает сослуживцам дурной пример. Либо меня за это уволят, либо другие станут хуже работать.

Балакирев не стал ничего возражать, он сам был раздражен упрямством Мусоргского.

– Что ж, увольняйте, Тертий Иванович.

Филиппов задумался:

– А как же он жить станет?

– Вот так и будет жить… Я ничего за него не придумаю, и вы не придумаете.

– Наш долг – тех, кто видит, какой могучий талант у него…

– «Талант», «талант»! – с ожесточением ответил Балакирев. – Кто их у нас опекает, эти таланты? Если сам не в силах дойти до цели, участь твоя печальна.

Он не заметил, как безжалостно звучат его слова, потому что в эту минуту думал больше о собственной участи.

– Нельзя так судить, Милий Алексеевич, грех! – заметил Филиппов с укором.

– Я бит жизнью и ею учен… Что ж вы, однако, предлагаете?

– Думал я так: если бы договориться между собой, образовать что-то вроде сообщества и предложить автору обеспечение на предмет окончания «Хованщины»? А то ведь он и «Хованщину» не закончит.

Балакиреву стало грустно оттого, что руку дружеской помощи протянул не он, а другой – человек, лишь недавно узнавший Мусоргского.

– Я согласен, Тертий Иванович, что же…

– Еще кто бы принял участие?

– Ну, Стасов, конечно. Еще два-три человека найдутся.

– Помощь должна быть скромная, только чтобы он мог существовать, без излишеств всяких.

Балакирев махнул рукой. Он ощущал в себе раздражение против бывшего друга и не в силах был с собой ничего сделать. «Может, время такое жестокое? – подумал он. – Но жестоко оно равно для всех». Сам он тоже бьется, тоже решает большие вопросы в душевных мучениях. Ему разве кто-нибудь предложил свою помощь? Пианист, о котором говорили, что ему равных нет, дирижер, композитор, создатель «могучей кучки» – разве он не

пошел в конторщики? Разве, когда его вытеснили отовсюду, гневный голос протеста смёл противников?

Все было хотя позади, но отзывалось болезненно, когда кто-нибудь случайно касался больного места.

– Что же, вы поступаете благородно, – сказал Балакирев вставая. – Ваш почин заставит присоединиться других.

– Между мной и Мусоргским лежит пропасть, – произнес Филиппов тихо. – Я не соглашаюсь с ним ни в чем, но долг русского человека говорит мне, что надо спасти его сочинения.

Балакирев обратился к Стасову; еще кое с кем поговорили, и вскоре друзья объявили Мусоргскому, что группа почитателей решила обеспечить его труд по окончанию «Хованщины». Фамилии не были названы, чтобы не задеть его гордость.

Мусоргский сидел уже без работы и, просыпаясь, не знал, как прожить день. Он говорил себе, что не пропадет: случится что-нибудь такое, что поможет ему существовать.

Почин поклонников его таланта был принят им со всем простодушием, на какое Мусоргский был способен.

– Ну теперь работа пойдет, – сказал он. – Из одной только благодарности к неведомым друзьям я должен буду взяться за дело. Нет, Милий: вы в меня больше не верите, а ведь я еще буду дерзать. Буду! – упрямо повторил он.

Балакирев хмуро на него посмотрел и ничего не ответил.

XIV

Еще одна группа друзей отыскалась. Таким же образом было составлено сообщество, обязавшееся оказывать автору «Сорочинской ярмарки» денежную помощь до тех пор, пока он не закончит и эту оперу.

Работа возобновилась. Поселившись на даче у Леоновой, Мусоргский принялся за сочинение. Прежде всего он вернулся к «Хованщине». Кусок за куском, медленно и натужно, но дело подвигалось вперед.

Бывали дни, когда автора вновь охватывало вдохновение и все в сложном замысле оперы становилось видным. Огромная глыба продвигалась еще на один шаг ближе к цели.

Конец был уже виден. Еще одно, два, несколько смелых усилий – и «Хованщина» будет закончена. Вся она, трудно, но вдохновенно складывавшаяся на протяжении восьми лет, с ответвлениями, с добавочными сценами, которые не то войдут в окончательный вариант, не то нет, с гениальным своим оркестровым вступлением, с изумительно ярким гаданием Марфы, с арией Шакловитого, с плясками персидок, с ярчайшей сценой у Голицына, с Досифеем – словом, вся она была выведена.

В иные минуты Мусоргского охватывало счастливое упоение: вот оно – то, над чем он столько лет бился! Конец последней картины еще дописать – и можно садиться за оркестровку. Сквозь мучения, испытания, недоверие окружающих, как сквозь густую чащу, продвигалась вперед работа и вот пришла к своему завершению!

Скоро, очень скоро можно будет, как когда-то «Бориса», вложить партитуру в портфель и отдать театру.

Там, правда, сняли «Бориса Годунова», не посчитались ни с тем, что публика полюбила оперу, ни с тем, что опера делала полные сборы.

При мысли о дирекции театра в душе Мусоргского все начинало кипеть. Он припоминал унижения, которым подвергали его официальные представители искусства, и едкая горечь охватывала его.

Надо было все забыть, не думать ни о чем до поры до времени, не терзать себя раньше срока. Он старался жить будничной дачной жизнью, не заглядывая вперед.

Половину дачи Дарья Михайловна сдавала. На другой половине жили она с Гридниным, и там же одна комната отдана была Мусоргскому.

После поездки на юг, после того как Мусоргский вернулся

оттуда с добрыми воспоминаниями, но без денег, Дарья Михайловна считала себя немного обязанной опекать его. Она думала о нем снисходительно: беспомощный, совсем как юродивый в его «Борисе»; его всякий может обидеть.

– Пишете? – говорила она, проходя в своем пышном халате мимо окна. – Вот умница, вот хвалю! Зато уж вечером попируем, надо же чем-нибудь возместить такие труды.

Вечером начиналось если не пиршество, то возлияние. Услужливый Гриднин доставал вино и коньяк. Произносились тосты: за то, что написано, за то, что еще будет написано; за оперы, которые Мусоргский сочинил, и за те, которые смутно рисуются ему в грядущем. Мусоргский чувствовал себя окруженным людьми, без придирок и школярства принимающими его труд; ему казалось, что он в этой среде обретает душевный покой.

Но самое нелепое и невероятное заключалось в том, что деньги таяли и их ни на что не хватало. Мусоргский ходил в поношенной, залашенной визитке, в которой неловко было появляться в обществе или в театре. У него никогда не было ни гроша за душой. А долги, несмотря на попечения друзей, на благородные их заботы, росли и росли.

Если бы его спросили, как это происходит, он не смог бы ответить. Да это и не мучило его особенно. Одна мысль поглощала Мусоргского: скорее закончить свой труд – представить обществу наконец две свои фундаментальные оперы.

После поездки на Украину Мусоргский стал увереннее продолжать «Сорочинскую ярмарку»: теперь он знал, что колорит музыки верен, образы обрисованы метко, юмор и сочность гоголевского письма сохранены. Ему случалось во время поездки играть украинцам отрывки из оперы, и всякий раз они находили, что дух Украины, характер ее народа бесподобно схвачены автором.

Надо было дописать, дописать во что бы то ни стало. Впереди открывались новые дали, но прежде всего предстояло завершить эту работу.

К концу лета Мусоргский стал понимать, что без службы ему все равно не продержаться. Какая-то странная сила поглощала деньги, сколько бы их ни было. Нужда напирала со всех сторон; она все теснее обступала, а он не желал о ней думать. Но чем длиннее делались летние вечера, чем сильнее шумели за окном деревья, тем более тревожные мысли приходили в голову.

Как же существовать? Как может существовать художник, гонорар которого за долгие годы составил всего несколько сот рублей?

Мусоргский как-то признался Дарье Михайловне, что это сильно его беспокоит.

– Я, дорогой, сама об этом тревожусь, – ответила она с участием. – Мы с Гридниным говорили: «Ну как же наш Моденька будет? Неужто ему совсем и во всем себя ограничить? И так уж живет – только дышит!» Нашла я, кажется, выход, только не знаю, как вы посмотрите: может, решите еще, что я корысть свою соблюдаю…

Он наклонился к ее руке:

– Вы несравненная, Дарья Михайловна! Только истинно талантливая артистка может быть такой доброй.

Леонова и в самом деле была добра, но доброта ее сочеталась с инстинктивной потребностью не упускать из вида собственные интересы.

– Вот вы меня хвалите, Модест Петрович. Правда, из кубка славы довелось отхлебнуть несколько глотков. Вы ведь помните, как меня на руках носили, когда я в опере пела? Но старость все-таки приближается, и никуда от нее не денешься, – продолжала Дарья Михайловна, грустно улыбнувшись сквозь белила и румяна, положенные на лицо. – Хочется после себя хоть память оставить в нашем вокальном искусстве, хоть след какой-нибудь. Есть у меня ученицы, да ведь это не школа. Вы, голубчик, должны это понимать.

Мусоргский кивнул.

– Вот, школу задумала организовать, – закончила Леонова решительнее.

Мусоргский понял уже, куда Дарья Михайловна клонит. Он смущенно опустил глаза, испытывая неловкость. Сколько раз твердили ему друзья, что нельзя ронять себя, занимаясь аккомпанементом. Так ведь он до сих пор аккомпанировал ей, несравненной певице, а тут речь пойдет о неопытных, начинающих. И на это согласиться тоже? О, горькая, горькая жизнь!

– Что ж вы такой грустный стали, Моденька? – заметила Леонова. – Ах, вы что-нибудь не так подумали! Вы совсем меня не поняли! Я о чем мечтала? – сказала она, беря его за руку. – О том, чтобы мы с вами были директорами, чтобы появилась первая русская настоящая школа пения. Вы и я – какое бы сочетание было! Изумительный художник слова и звука – и я, старый практик, знающий тайны вокала как никто.

В предложении ее было что-то заманчивое. Во всяком случае, оно не казалось унизительным: Дарья Михайловна не нанимала его в таперы.

– Спасибо, милая, – сказал Мусоргский. – С вами не страшно

идти на риск.

– Какой же тут риск, помилуйте! Тут, наоборот, все надежно: наше с вами имя привлечет много желающих. Дело поставим на широкую ногу. Гриднин будет у нас распорядителем, а на вас будет одна художественная часть. Уж, во всяком случае, лучше, Модест Петрович, чем в контроле работать.

– Да, лучше, – согласился он и при этом вздохнул.

XV

Так была сведена на нет благородная затея друзей обеспечить Мусоргского.

Мусоргский снова был занят. Согнув спину, наклонив голову, он сидел за роялем и вслед за певицами выводил упражнения. Пели вокализы, и он аккомпанировал; пели гаммы, и Мусоргский послушно следовал за ними, время от времени внося в простое последование звуков свою гармонизацию. Когда пели дуэтом или втроем, он придумывал не только простые, обычные упражнения, но и гармонизовал песни на два или три голоса.

– Ах, какой музыкант! Чувствуете? – говорила Дарья Михайловна, обращаясь к ученикам. – Нигде во всей России нет больше такого художника, как у нас в школе.

Мусоргский, опустив голову, молчал. Похвалы ее не лишены были расчета, и ему становилось не по себе.

Проработав так добрую часть дня, он уходил.

– Прощайте, Дарья Михайловна, – говорил он невесело.

Чувствуя себя в чем-то перед ним виноватой, Леонова уговаривала его остаться, но Мусоргский в последнее время чаще отказывался. После такого дня хотелось побыть одному. А еще лучше было сесть в дальний угол трактира на Гороховой и молчать, наблюдая, как течет вокруг своя жизнь.

Иной раз, случалось, он загораживался газетой, чтобы его никто не видел, и так подолгу сидел, ни к кому не обращаясь. Затем угрюмо шел домой.

Дарья Михайловна не могла не заметить, что Модест Петрович выглядит плохо, что у него одышка, а иногда во время занятий все лицо вдруг начинает сильно краснеть.

– Голубчик, что с вами? – с тревогой спрашивала она. – Может, сделаем перерыв? Давайте, Модест Петрович, отдохнем, нам ведь не к спеху.

Она укладывала его на диван, и ученицы на цыпочках удалялись из комнаты.

Один раз с Мусоргским уже приключился припадок, и Леонова очень испугалась. Следовало бы наблюдать за ним, не упускать его из вида, но он жил отдельно. Нельзя же было следить за каждым шагом взрослого человека!

Так Дарья Михайловна утешала себя, видя, что здоровье Мусоргского становится все хуже и хуже. Он был задумчив, молчалив, печален и почти ничего не писал, кроме тех упражнений, которые исполнялись в классе.

Каждый раз, когда Мусоргский уходил, в душе Леоновой

шевелилась беспокойная мысль о том, что надо бы оставить его у себя. Однажды она даже посоветовалась с Гридкиным об этом, но тот отговорил ее:

– Что ж, опеку над ним возьмем, что ли? Уж если Модест Петрович в опеке нуждается, так есть друзья поближе нас, пускай и заботятся.

– Надо бы с Владимиром Васильевичем поговорить.

– Что ж мы первые к ним обратимся? Они нас не признают. Еще подумают, что мы ищем сближения. Нет, не стоит. Да и не так он плох, кажется.

– Нет, плох.

– Я людей этого склада знаю: они живучие.

Между тем Мусоргский, возвращаясь домой, иной раз со страхом думал, что ему нельзя оставаться одному: что-то в его состоянии резко переломилось – струна, до сих пор натянутая туго, до последнего напряжения, но державшаяся, сдала как будто. Все время он ждал, что придет развязка, – какая, он сказать себе не мог.

Денег не было по-прежнему, и куда они уходят, Мусоргский понять не мог. За комнату было два или три месяца не плачено. Каждый раз, проходя мимо хозяйки, он испытывал угрызения совести. Стараясь поменьше ее беспокоить, он даже самовар не стал по утрам просить.

Хозяйка строго посматривала на него и, когда Мусоргский проходил мимо, ворчала ему вслед:

– Образованные, а так поступают!.. Ежели денег нет, надо честно сказать – я еще кому-нибудь сдам.

– Да нет, заплачу непременно, – отвечал он виновато.

И в самом деле Мусоргский верил, что заплатит в ближайшие дни. Но просить денег у Дарьи Михайловны было неудобно; да, может, и забрано уже все, что ему причитается. Тут, как и во время поездки, он не в состоянии был разобраться и все принимал на веру.

Однажды хозяйка, набравшись духу, объявила:

– Больше терпеть не могу. Я и так из уважения к вашей доброй натуре ждала столько времени.

Мусоргский нервно стал рыться во всех карманах и, к счастью, в жилетном карманчике нашел смятые пять рублей:

– Пожалуйста, вот, прошу вас…

– Нет, Модест Петрович, это пустое, – сказала она, принимая деньги. – Вы должны мне поболе гораздо. Не серчайте, но только комнату сдавать вам больше невозможно. Я сама бедная женщина и вдова.

Мусоргский ответил смущенно:

– Понимаю, вы в полном праве… А когда же мне съехать?

– Да уж будьте так добры, сегодня: жилец один объявился, надежный человек, так мне нельзя его потерять.

Мусоргский кивнул: в это мгновение он вполне понимал ее мотивы; но вслед за тем подумал: куда же теперь ему деться и к кому пойти?

Был пасмурный, серый февральский день, когда Мусоргский вышел на улицу. Снег потемнел и слежался, и все вокруг казалось тусклым. Пальто на Мусоргском было зимнее, но ему стало холодно. Через несколько минут он продрог. Он брел по улице, ничего не замечая; странные картины проходили перед его глазами: одинокий шарманщик, с молчаливой покорностью смотревший из глубины двора на него, угрюмый извозчик, однажды довезший его до Кюи, как раз в тот день, когда познакомились с Балакиревым… Какое это все далекое! Все, что его окружало теперь, тоже казалось далеким. Он был совершенно один.

С нарастающим раздражением Мусоргский думал: он, известнейший музыкант, произведение которого совсем недавно исполнялось в концерте Бесплатной школы, он, которого без конца просят участвовать в концертах, бредет по Петербургу бездомный, не знающий, где приклонить голову!

В квартиру Леоновой Мусоргский вошел угрюмый и молчаливый. Дарья Михайловна была, наоборот, оживлена и чем-то в эту минуту особенно возбуждена.

– Что с вами, Модест Петрович? – спросила она, видя, как он грузно садится в кресло.

На лице его были растерянность и отчаяние:

– Мне негде жить. Без угла остался.

– Как же так? – произнесла она с удивлением. – Ведь у вас была приличная комната!

– Была – и нет.

Тон этот, раздраженный, даже вызывающий, был так несвойствен Мусоргскому; что она смутилась. Посмотрев на него внимательнее, Дарья Михайловна миролюбиво заметила:

– Что поделаешь, Модест Петрович! Большим достатком хвастать не могу, но прийти вам на помощь рада. Оставайтесь пока у нас.

Мусоргский отнесся к этому безразлично. Скорбь его была так велика, что даже внимание Леоновой не помогло.

– Я ждала вас, собственно, позже. Помните, какой у нас с вами сегодня день? Мадемуазель Соханская поет в домашнем концерте. Отец ее генерал. Если все пройдет хорошо, к нам потянутся девушки этого круга. Ничего, Модест Петрович: в грязь

лицом не ударим!

Мусоргский сидел опустив голову и думал о своем, нелегком. Когда Дарья Михайловна предложила ему поесть, он отказался.

– Да не печальтесь, все устроится! Ну, малость у меня поживете, а там найдем для вас что-нибудь. С вашим легким нравом и так приуныть – даже не похоже на вас.

Мрачность Мусоргского беспокоила Леонову: сегодня он был ей особенно нужен: надо было аккомпанировать мадемуазель Соханской, которая в первый раз показывалась в большом обществе.

Мусоргский не двигался; он словно осел в кресле, у него не было сил подняться. Нависшая над ним тяжесть угнетала сознание, мучила, и он не в силах был от нее освободиться.

– Может, рюмочку коньяку хотите? – прибегла к последнему средству Леонова.

Мусоргский поднял на нее тяжелый недоумевающий взгляд и мрачно ответил:

– Давайте, что ж.

Выпив, он поморщился неприятно и отвернулся. Когда Леонова предложила ему закусить, он только покачал головой.

– Моденька, милый, там у генерала будет много вина. Так уж вы, пожалуйста, после того, как наша барышня выступит, а до этого не берите.

Опять он посмотрел удивленно, но ничего не ответил.

Странное состояние раздвоенности испытывал Мусоргский. Точно впервые за долгое время он увидел себя со стороны: зачем-то едет к генералу, какая-то у него забота о генеральской дочке, какие-то отношения с этой деловой женщиной… Да что же это такое? Неужели он в самом деле до этого дошел – он, автор «Бориса», «Хованщины», «Сорочинской», «Детской»! Почему этот путь лишений, унижений, нужды? Кто повинен – он? Разве обиды, которые ему причиняли, раны, которые ему наносили, он сам себе наносил? Разве кто-нибудь догадывается, как жестоко он страдает?

Леонова хлопотала, выходила из столовой, давала распоряжения прислуге. Войдя, она посматривала с беспокойством на сидящего в кресле Мусоргского.

– Модест Петрович, я скажу, чтоб вам визитку немного отутюжили.

Мусоргский нехотя встал, через силу скинул визитку, в которой вот уже сколько времени появлялся везде.

Когда горничная появилась в столовой с его визиткой, Мусоргский даже не протянул за нею руку.

– Пожалуйте, Модест Петрович, – сказала она. – Совсем как

новенькая стала.

Что-то вроде грустной улыбки мелькнуло на его лице.

У генерала, когда Дарья Михайловна доставила его туда, Мусоргский держался с обычным своим достоинством и даже не без светскости. Народу в комнатах было много. Подходили дамы и говорили ему любезности. В ответ он вежливо кланялся.

Соханская, в белом платье, шепнула ему:

– Модест Петрович, дорогой, поддержите меня, я очень волнуюсь!

И опять Мусоргский поклонился, обещав ей свою поддержку.

Сев за рояль, он по старой привычке приподнял в воздухе руки и не без изящества опустил их на клавиши.

Аккомпанировал Мусоргский блестяще, как всегда. Ученица имела шумный успех у гостей. Леонова стояла улыбающаяся, довольная и старалась всех пленить своей добротой и артистичностью.

Когда начался концерт, Леонова первые минуты волновалась за ученицу и за Мусоргского, но все прошло хорошо, и он за роялем был такой же, как всегда. У Дарьи Михайловны отлегло от сердца: весь день она провела в волнении, главным образом, из-за него. Нет, Модест Петрович такой же; даже что-то вроде неподвижной улыбки на лице. Ну, авось обойдется.

У нее были другие заботы: надо было завязать побольше полезных знакомств, очаровать побольше матерей, внушить им зависть к Соханским. Из гостиной она перешла в столовую, там побыла недолго и, разговаривая с супругой действительного тайного советника, вместе с нею прошла в кабинет. Все шло как нельзя лучше.

Вдруг вбежала растерянная хозяйка дома:

– Господину Мусоргскому худо!

Леонова смущенно сказала тайной советнице:

– Ах, извините, пожалуйста! – и кинулась в гостиную.

Мусоргский, видно, упал, когда ему стало плохо. С пола его перенесли на диван. Дарья Михайловна, перепуганная, подошла, все расступились перед нею.

Мусоргский лежал с закрытыми глазами; приоткрыв их, он виновато посмотрел на нее.

– Нет, ничего, теперь уже лучше… – пробормотал он с трудом. – Это пройдет, ничего…

Сзади послышался зычный, но благосклонный голос генерала:

– Да лежите, лежите!.. Бывает всякое, с кем не случается!

Мусоргский попробовал спустить ноги с дивана, но не смог. Он полежал некоторое время с закрытыми глазами, потом

вздохнул и произнес словно про себя:

– Нет, ничего… Я сейчас… – И в самом деле попробовал встать.

Мусоргского поддержали под руки и довели до кресла. Он старался двигаться без посторонней помощи, но двигался с трудом.

В гостиной было тихо. Дарья Михайловна, чувствуя себя виноватой перед Мусоргским, думала тем не менее, что вечер испорчен, что эффект от выступления ученицы пропал. Но нельзя было не тревожиться о больном человеке.

– Модест Петрович, милый, ну как вы? – спросила она.

Он кивнул ободряюще:

– Лучше, лучше…

– Может, поедем?

Мусоргский снова кивнул.

– Э-э, позвольте, – вмешался генерал, – я сейчас прикажу сани подать. Сани удобные, и лошади хорошие, домчат мигом.

Мусоргский приложил руку к сердцу, выражая свою признательность.

С той минуты, как его подняли, он чувствовал себя в чем-то виноватым. Не осталось ни раздражительности, ни мрачности – были сознание вины перед всеми и благодарность за заботы о нем.

Ему принесли сюда пальто. Генерал сам помог ему просунуть руки в рукава.

– Жаль, жаль, – заметил он благосклонно, – не довелось вас послушать, а мы рассчитывали… Ну, до другого раза.

Мусоргский осторожно спустился по лестнице, поддерживаемый под руку. Его усадили в сани. Леонова села рядом, прикрыв ему меховой полостью ноги.

– Ну как? – спросила она по пути.

– Ах, голубушка, сколько я вам хлопот причинил!

– Да это ничего, пустяки, только бы вы поправились.

– Я поправлюсь. Мне уже лучше. – Подумав, Мусоргский с тревогой спросил: – Дарья Михайловна, а вы мне позволите ночь у вас провести?

– Конечно. Ведь мы так и условились.

Леонова была в искренней тревоге за него. Мысль, что он поправится, располагала Дарью Михайловну к нему.

Мусоргский вошел в квартиру и, оглянувшись, сказал с облегчением:

– Вот и хорошо как, что приехали! – точно он в первый раз был в этих комнатах.

Леонова хлопотала вокруг него; она приказала постелить ему

в кабинете, но он запротестовал:

– Нет, лучше в кресле, так спокойнее. Мне этак легче дышать.

Он настойчиво просил об этом, и она в конце концов согласилась.

Леонова приказала девушке, чтобы та наблюдала за Модестом Петровичем, а сама пошла спать.

«Как теперь быть с ним? – думала Дарья Михайловна с тревогой. – Может, и вправду все пройдет без следа? Ведь однажды уже что-то подобное приключилось».

Утром Мусоргский объявил, что чувствует себя значительно лучше. Он опять стал благодарить и извиняться, что причинил Дарье Михайловне столько хлопот.

Обрадованная его состоянием, Леонова твердила, что это все пустяки и что каждая на ее месте поступила бы так же.

– Вот мы с вами кофе сейчас напьемся, Модест Петрович. Потом опять отдыхать ляжете, и помаленьку все придет в прежний порядок. И опять мы с вами в классах начнем хлопотать. А вчера вечер какой был удачный!

Она суетилась вокруг него, послала девушку помочь ему умыться, но Мусоргский не пожелал:

– Да я сам, спасибо.

Он умылся, расчесал перед зеркалом свои сбившиеся за ночь волосы и пошел в столовую.

Не дойдя до стола, он вдруг упал.

– Ах, боже мой, что ж это! – воскликнула Дарья Михайловна, кидаясь к нему.

Мусоргский лежал, вытянувшись во весь рост, ничком на полу, большой и тяжелый. Дарья Михайловна с горничной не в силах были поднять его; они с трудом повернули его на бок, чтобы он не задохнулся.

XVI

Оставлять больного у Леоновой было невозможно. Когда Дарья Михайловна прибежала к Стасову и сообщила, в каком состоянии его друг, тот понял, что только больница могла бы еще спасти Мусоргского. Да и Леонова твеодила, что боится брать на себя ответственность.

Дав знать о случившемся Балакиреву и другим, Стасов кинулся хлопотать о койке, но не так это было просто. Он обошел знакомых, достал записки к тем, от кого это зависело. Определить бездомного, неслужащего человека в больницу оказалось делом почти невозможным.

Два дня ушло на хлопоты, а толку не было; наконец кто-то надоумил Стасова отправиться к некоему доктору Бертенсону, работавшему в Николаевском госпитале. Сказали, что тот любит музыку и потому отнесется к боль-кому с большим сочувствием.

Действительно, Бертенсон выслушал Стасова очень сочувственно.

– Да, я Модеста Петровича знал немного, – сказал он. – И «Бориса» смотрел, да и самого его в одном доме слышал однажды… Эх, беда какая! Больница нужна непременно, а как устроить туда, ума не приложу.

Видя с его стороны такое отношение, Стасов решил действовать энергичнее.

– На вас только и надежда, – сказал он. – Мы пробовали всё, что было в наших возможностях, а как дальше действовать, просто не знаем. Вас группа почитателей Модеста Петровича просит: Римский-Корсаков, Бородин, Кюи, я, – помогите нам.

Бертенсон думал, как поступить.

– Принимать в госпиталь лиц гражданского звания мы не имеем права: госпиталь военный. Но случай особый. Попытаться разве поговорить с главным врачом?… Могли бы вы, Владимир Васильевич, зайти часа через два?

– Ведь он бывший офицер гвардии, он великий музыкант! Неужели нигде не найдется места для такого человека? Ведь это ужас что такое, позор!

– Да, я знаю… Но что поделаешь – такое положение! Зайдите, пожалуйста, часа через два.

Когда Стасов явился снова, Бертенсон встретил его смущенный.

– Все мои доводы оказались бессильными, – сообщил он. – Главный врач ни за что не соглашается поместить гражданское лицо – за это он может получить выговор.

– Что ж теперь делать? Ведь мы испробовали все. Последняя надежда была на вас…

– Есть лишь одна возможность определить больного, – сказал Бертенсон с тем же смущением. – Уж не знаю, как вам и предложить… Я бы мог выдать Модеста Петровича за своего денщика, тогда бы приняли.

– Великого композитора России – нельзя, а денщика вашего – можно? Сколь же мы еще дики!

– Владимир Васильевич, будьте благоразумны. Я сделаю всё, чтобы Модесту Петровичу было здесь хорошо. Надо попытаться спасти его, если это в наших возможностях.

– Хорошо, – решил Стасов. – Пусть денщик.

– Но группа ваша не будет протестовать потом?

– О вашем, господин Бертенсон, благородном отношении мы сохраним память навсегда.

Бертенсон деловито сказал:

– Тогда везите его скорее, пока я не сдал дежурство.

Палата, куда положили Мусоргского, была чистая, белая, крашенная масляной краской, с высоким окном. Она была перегорожена надвое, но не доверху. Во второй половине тоже стояли кровати. Бертенсону удалось добиться, чтобы туда никого не клали; главный врач обещал без крайней надобности палату другими больными не занимать.

Мусоргского, хотя он числился вольнонаемным денщиком, постарались обставить со всеми удобствами, какие допустимы в военном госпитале. Рядом с кроватью поставили два столика. На одном клали еду, на другом лежали газеты и книги. Книги доставляли друзья. Зачем-то ему понадобился трактат «Об инструментовке» Берлиоза. Видно, помышляя об оркестровке «Хованщины», Мусоргский решил освежить в памяти то, что в свое время поразило его в берлиозовском труде.

Бертенсон, взяв его на свое попечение, распорядился пускать к нему всех, кого больной пожелает видеть. Друзья навещали его каждый день.

Мусоргский был оживлен и бодр. После того как припадок кончился, он почувствовал себя значительно лучше; ему казалось, что он скоро сможет подняться.

– Теперь за работу! – твердил он. – Хватит баклуши бить. «Хованщина» по нас соскучилась, да и «Сорочинская» тоже.

Окруженный заботами, он забыл в своем доверчивом простодушии, что за порогом госпиталя его снова ждет нужда, что он остался без крова и что «Борис» его не идет на сцене. Память берегла одно лишь светлое.

Бертенсон, осмотревший больного в первый же день, заявил с

привычной бодростью врача:

– Все будет хорошо, только терпения наберитесь, Модест Петрович, и слушайтесь нас.

Но, выйдя к Стасову в коридор и опасливо посмотрев, нет ли кого поблизости, он сказал совсем другое:

– Обманывать вас я не имею права, Владимир Васильевич…

– Безнадежен?

– Да…

Каким-то рассеянным движением, не замечая, что делает, Стасов погладил бороду.

– Сколько же времени он проживет?

Бертенсон стал объяснять, как будто желая сделать его своим союзником:

– Организм подточен, нервная система расшатана до предела. Недели две, месяц, а может, и того меньше…

Когда Стасов вернулся в палату, Мусоргский оживленно разговаривал с Александрой Николаевной Молас – той самой Сашенькой Пургольд, на которую когда-то смотрел блестящими влюбленными глазами. Такой же блестящий, показалось Стасову, был у него взгляд и такая же живость.

– Эх, кабы силы поскорее вернулись! Я бы своротил многое, дерзнул бы…

– И дерзнете, непременно дерзнете, – сказал Стасов. Александра Николаевна осторожно пожала руку больному, добавляя свое уверение к стасовскому.

Теперь Мусоргского навещали все: и сестра Сашеньки, Надежда Николаевна, и Римский-Корсаков, и Бородин, и даже Кюи.

Увидев Кюи первый раз в палате, Мусоргский вздрогнул. Он лежал высоко на подушке, голова была поднята. Большими, полными горечи глазами он смотрел на вошедшего.

Кюи словно и не заметил этого взгляда. Он вошел так, как будто навещает больного не в первый раз, и в тоне укора начал:

– Вот, милый мой, допрыгались! Надо бы наказать вас пожестче, но и этого хватит. Теперь хоть лежите сколько прикажут, а то опять расхвораетесь.

Он протянул руку, и Мусоргский молча подал свою.

– Все еще дуетесь на меня за «Бориса»? Ничего, Модест: я столько хорошего писал о вас, что один раз можно было и поругать. Ну, бросьте сердиться – мы еще с вами помиримся на «Хованщине».

Мусоргский беспокойно подвинулся, желая лечь ниже; казалось, ему хочется спрятаться под одеяло.

Кюи стал рассказывать последние новости про театр и

Бесплатную школу; он вел себя так, точно и ссоры никогда не было. Правда, Мусоргский больше молчал. Он с удивлением думал, что в сердце его злобы нет. Почему? Ведь ничего не забыто. Может, он понимал, как получилось, что статья была тогда написана, и понимание сделало злобу ненужной.

Кюи, войдя, положил на подоконник довольно объемистый сверток. Теперь он принялся разворачивать его.

– Что это вы? – спросил Мусоргский.

– А-а, халат принес. В больничной обстановке пригодится, а мне ни к чему. Он для больницы подходит.

В свертке оказался сероватого тона просторный халат с широкой малиновой оторочкой. Мусоргский пробовал было отказаться, но из этого ничего не вышло: Кюи настоял на своем.

– Потом непременно наденьте, – сказал он, кладя халат на стул. – В нем тепло будет вам и удобно.

Халат оказался в самом деле удобным, и Мусоргский стал проводить в нем свои дни. В этом халате доктор Бертенсон заставал его изредка в кресле, в этом же халате он позировал Репину, когда тот, явившись однажды и недолго посидев, объявил, что намерен писать портрет с Модеста.

– У вас теперь правильное выражение. Сколько я вас ни знаю, а такого выражения еще не было.

– Душа у меня успокоилась. Наверно, поэтому, – объяснил Мусоргский.

Репин знал уже все. К нему, услышав, что он на короткое время вернулся в Петербург, прибежал Стасов; он заявил, что необходимо срочно, не откладывая ни на один день, писать портрет и увековечить облик Мусоргского, их великого друга.

Репин боялся этой встречи. Столько связано было для него с именем Мусоргского: вечера у Стасова, душевные долгие разговоры, дружба… Мысль, что позировать будет человек, приговоренный 'к смерти, мучила и страшила его.

Но, оказавшись в палате, он с первых же слов сумел взять деловой и дружески-профессиональный тон. Мусоргский поверил тому, что лицо его приобрело правильное выражение.

Когда Репин явился на следующий день со всеми принадлежностями, он застал друга своего в кресле, в халате с малиновой оторочкой, с немного встрепанными, наспех причесанными волосами. Под халатом была украинская вышитая рубаха.

Сев ближе к окну, Репин стал распоряжаться:

– Голову поверните правее… Нет, не так… Да не упирайтесь бородой в грудь… Фу, какой вы непонятливый, Модест!

Говоря эти, в общем, ненужные слова, Репин тем временем

зорко наблюдал за выражением лица больного. Глаз его, острый, приметливый, все схватывающий, старался уловить мысль, страдания и боль, то выражение простоты и величия, какое он однажды поймал уже в лице Мусоргского. Он как бы ловил гениальную душу художника. Мучаясь тем, что он, в сущности, прощается с человеком, через силу сдерживая слезы, Репин смотрел на сидевшего в кресле больного.

Когда Репин вышел из палаты, Стасов уже поджидал его:

– Как, Илья Ефимович? Получается?

Обоим было тяжело, оба страдали. Но Стасов твердо знал, что для будущих поколений именно Репин обязан сохранить облик гениального русского музыканта.

– Получается? – переспросил он.

– Пока не могу ответить. Через день-два сам пойму лучше.

– Модест не устал?

– Я его только вначале мучил, потом предоставил сидеть, как ему хочется.

Они пошли по гулкому коридору госпиталя. Оба мучительно сознавали, что в конце коридора лежит их друг, великий современник, дни которого сочтены.

XVII

Бывали дни, когда Мусоргский разговаривал странно, невнятно, почти заговаривался. Друзья поддакивали и со всем соглашались, но, выходя из палаты, давали волю своей печали. Потом наступало улучшение: мысли становились ясными; прежний яркий, сверкающий своеобразием ум светился в его речи. Казалось, что проблеск надежды опять появляется. Врачи, однако, повторяли упорно, что больной обречен и заблуждаться не следует.

Газеты писали уже на все лады, что Мусоргский при смерти, что он умирает. Номера газет друзья прятали от Модеста. Они старались скрыть все, что могло бы принести ему волнение. Но событий 1 марта – это был 1881 год – не скрыли: наоборот, притащили с собой газет побольше. В тот день был убит Александр Второй. Пусть событие взволновало Мусоргского, зато оно наполнило его надеждами. Каждого, кто входил, он встречал вопросом, что теперь будет. Ему неведомо было, что царь, который вступит на трон после застреленного царя, Александр Третий, собственной рукой вычеркнет из репертуара его «Бориса», как крамольную оперу; неведомо было и то, что реакция оплетет жизнь России еще гуще. Мусоргский страстно ждал перемен. Не желая его огорчать, друзья делали вид, будто тоже верят в благие изменения.

Мусоргский лихорадочно просматривал газеты одну за другой, потом принимался за берлиозовскую инструментовку. Ему казалось, что он живет общей со всеми жизнью.

Балакирев и Стасов, вновь поговорив с Бертенсоном, решили принять срочные меры по охране всего, что написано композитором. Надо было сделать кого-нибудь наследником его прав. Посоветовавшись с Римским-Корса-ковым и Бородиным, они остановились на кандидатуре Филиппова.

Тертий Иванович, к которому они пришли за согласием, хотя и знал, какое тяжкое бремя берет на себя, согласился.

– Но прошу вас, господа, об одном: подготовьте больного. Пусть он не видит во мне узурпатора своих прав. Я принимаю это как долг перед нашим искусством, однако облегчите мне мою миссию в эти тяжелые дни.

Мусоргский никак не желал понять, зачем ему душеприказчик, если он сам займется в ближайшее время своими делами.

– Мы хотим избавить вас от хлопот и забот, – стал объяснять Стасов. – Пора вам, Мусорянин, отойти от этого в сторону. Тертий

Иванович так благороден и добр, что соглашается взять на себя дела по изданию и постановке ваших вещей.

– А Корсинька как? – подумав, спросил Мусоргский. – Тоже передаст свои дела ему?

– Корсинька позже. Он, как-никак, здоровее вас.

– Я тоже поправлюсь, Бах. Я в Крым уеду.

– Уедете, непременно.

Балакирев стоял у окна и смотрел во двор госпиталя; он чувствовал себя бесконечно несчастным.

Мусоргский, по своей доверчивости, хотя и не понимал, для чего все это, в конце концов дал согласие.

На следующий день в палату явились Филиппов, нотариус, Стасов и Балакирев. Тягостны были эти минуты. Тертий Иванович ничего не говорил; он печально смотрел на великого музыканта и только один раз, когда Мусоргский в недоумении и тревоге поднял на него глаза, тихо сказал:

– Модест Петрович, я обязуюсь перед богом и людьми все от меня зависящее сделать, чтобы русские люди узнали ваши творения.

В душе Мусоргского все как-то опало, и он усталым голосом ответил:

– Спасибо вам…

Формальности длились недолго. Как только они были закончены, Тертий Иванович и нотариус уехали.

– Видите, Мусорянин, теперь ваши творения в надежных руках! – сказал с деланной бодростью Стасов.

– И «Бориса» опять поставят, думаете?

– Тертий Иванович добьется, он упорливый.

– Эх, кабы увидеть! – вырвалось у него.

Больше об этом не стали говорить.

Мусоргский лежал с закрытыми глазами. Лицо его мало изменилось, только печать страданий легла под глазами. Когда они были закрыты, лицо казалось суровым, словно он решал трудный, мучительно важный вопрос.

– Илья Ефимович больше не придет? – вспомнил Мусоргский и раскрыл глаза.

– Он уехал.

– И портрет мой бросил?

– Что вы, Моденька! – с неожиданной нежностью сказал Балакирев. – Портрет вышел на славу. Увидите и одобрите сами.

– Думаете, увижу? – с сомнением спросил он.

– Конечно.

Опять он закрыл глаза и некоторое время молчал.

– Кто еще сегодня придет ко мне?

– Наденька и Саша собирались.

Мусоргский оживился при этом:

– Тогда надо в кресло пересесть, нельзя так принимать дам. Я не так уж болен.

Он до конца играл нелегкую роль больного, старающегося казаться оживленным, но ни о чем важном больше не говорил, точно все самые важные мысли держал уже при себе, не желая поверять их никому.

Балакирев и Стасов вышли из палаты, полные тягостного чувства. Что-то сложное, противоречивое почудилось им в поведении друга – такое, перед чем даже близкие люди бессильны.

Он остался один. Больше в тот день никто к нему не заходил. Только врач наведался, затем фельдшер.

Мусоргский лежал с закрытыми глазами. То ли он был в забытьи, то ли сильно устал от разговоров.

В палате смерклось. Вошел санитар и поставил на стол лампу.

Мусоргский приоткрыл глаза и опять закрыл. Углы палаты ушли в темноту, на лицо больного падал кружок света от лампы.

Санитар зашел еще раз и, увидев, что больной дремлет, привернул огонь. Кружок света стал бледнее и почти слился с темнотой палаты.

Он очнулся и, увидев свет на столе, сделал его ярче, потом взял в руки Берлиоза и попробовал читать. Вскоре книга выпала из рук, и Мусоргский то ли снова заснул, то ли впал в забытье.

Через матовое стекло в коридор проник слишком яркий для ночного времени свет. Санитар, заметив это, собирался войти, чтобы погасить лампу.

Как раз за минуту до того Мусоргский проснулся. Во сне что-то стало его душить, и он с трудом вырвался из кошмара, овладевшего им. Он вздохнул шире, стараясь отогнать от себя кошмар, и с ужасом почувствовал, что ему нечем дышать и он сейчас задохнется.

Мусоргский хватал воздух руками; он делал отчаянные движения, чтобы спастись от удушья. Спасения не было.

– Все кончено! – вдруг крикнул он. – Ах я несчастный!

В это мгновение санитар и приоткрыл дверь. Услышав голос больного, он подошел; ему показалось, что тот говорит в забытьи.

Лоб и руки у него были еще теплые, но пульса не было. Мусоргский был мертв.

* * *

Мы подошли к концу. Повесть о жизни великого музыканта досказана.

Есть еще одна повесть, которую можно было бы написать: о посмертной жизни его творений. Вражда, ненависть, равнодушие не сумели убить ту правду, которую Модест Мусоргский принес с собой. Она в конце концов восторжествовала.

Тридцать лет «Хованщина» не могла проникнуть на казенную сцену, но еще до дней Октября возродилось для новой жизни имя гениального композитора. Россия и запад с изумлением открыли редчайшие сокровища его творчества.

Признание, однако, не было всенародным. Оно не могло стать всенародным до тех пор, пока сам народ не стал хозяином своей жизни.

Это был тот народ, которому Мусоргский отдал все свои силы. Вместе с часом его победы пришел час торжества идей великого музыканта.

Борясь и страдая, Мусоргский донес правду, которую защищал, до следующих поколений. Она перешагнула через его эпоху и дошла до эпохи нашей, найдя страстных поклонников, убежденных продолжателей и, что всего важнее, признание миллионов.

Признание стало всеобщим. Сегодня на карте мира нет такой страны, где не знали бы «Бориса Годунова», «Хованщины» и других творений Модеста Мусоргского.

Он пламенно верил в добро, в справедливость, в чистоту дружбы, в светлые силы жизни, и все, во что он верил и за что боролся, в конце концов победило.

В жизни побеждают светлые силы, читатель.

notes

[i] Попурри – музыкальная пьеса, представляющая собой смесь различных произведений или отрывков, внутренне не связанных и не доставляющих единого целого.

[ii] Фермата – знак над нотой, указывающий на необходимость некоторого продления звука. Выполнение ферматы предоставляется чувству художественной меры исполнителя.

[iii] Скерцо – музыкальное произведение, написанное в оживленном, быстром темпе, чаще всего с острым, четким ритмом.

[iv] Палестрина (род. ок. 1525 – ум. 1594) – итальянский композитор эпохи Возрождения.

[v] Орландо Лассо (1532–1594) – композитор эпохи Возрождения, крупнейший представитель нидерландской школы, работавший долгое время во Франции, Италии и Германии.

[vi] Пиццикато – извлечение звука из струны смычкового инструмента щипком или пальцем.

[vii] Гардемарин – выпускник морского кадетского корпуса.

[viii] Ноны и децимы – девятая и десятая ступени в гамме (в данном случае – интервалы между основным тоном и девятой и десятой ступенью).

[ix] Тремоло – быстрое многократное повторение одного и того же звука, интервала или же звуков аккорда.

[x] Подибрад Чешский – Георгий Подибрад, чешский король (XV век), возглавлявший победоносную борьбу чешского народа с немецкими угнетателями.

[xi] Дека – покрышка у корпуса музыкального инструмента (например, скрипки, альта, виолончели).

[xii] Форте – громкое звучание во время музыкального исполнения

[xiii] Тутти – «все», то есть когда в игре участвует весь состав оркестра.

[xiv] Жуир – человек, ищущий наслаждений, кутила.